

Барашево

Теньгушево

Суморьево

Такушево

Старый Город

Русское Тюевево

Темников

Дачный

Лесной

Озерный

Явас

Шалы

Кишалы

Парца

Ударный

Леплей

Сосновка

Виндрей

Молочница

Носакино

Дмитриев У

Варжелль

Татар

M-5

M-5

ИРИНА  
РАТУШИНСКАЯ

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ  
ПРОЗА, СТИХИ

СЕРЫЙ —  
ЦВЕТ НАДЕЖДЫ

МОСКВА, 2020





Музей  
истории  
ГУЛАГа

НЕЗАВИСИМЫЙ  
АЛЪЯНС

ФОНД  
ПАМЯТИ



ББК: 84(2)6

УДК: 882

Музей истории ГУЛАГа

Фонд Памяти

Авторская серия книг

Книга «Серый — цвет надежды» необычна не только потому, что это единственная книга о женском политическом лагере строгого режима постсталинской эпохи. Ирина Ратушинская смогла предельно точно описать атмосферу той жути, которая царила на зоне, а главное, она смогла показать, что можно вынести все испытания не сломавшись и сохранив себя, и даже выйти из этой борьбы победителем. Мертвым или живым, но победителем.

Книга «Серый — цвет надежды» была издана более чем в 20 странах. В России публикуется впервые.

Ирина Ратушинская  
Музей истории ГУЛАГа

ISBN 978-5-6043357-3-4

2-е изд.

На обложке — Ирина Ратушинская, 1966 г.  
Фото из семейного архива.



Музей истории ГУЛАГа благодарит всех,  
кто помог подготовить это издание:

Игоря Геращенко,  
мужа Ирины Ратушинской

Наталию Солженицыну,  
президента Русского благотворительного фонда  
Александра Солженицына

Андрея Когута,  
директора Отраслевого государственного архива  
Службы безопасности Украины

Галину Иванову,  
заместителя директора по научной работе  
Музея истории ГУЛАГа,  
доктора исторических наук

Варвару Усаневич,  
руководителя Социально-волонтерского центра  
Музея истории ГУЛАГа

Александрю Ювженко,  
сотрудника Социально-волонтерского центра  
Музея истории ГУЛАГа

Над расшифровкой материалов работали:

Ольга Бровкина  
Юлия Грачева  
Татьяна Дека  
Татьяна Орлова  
Екатерина Томилина



# СОДЕРЖАНИЕ

Пять стихотворений из приговора

РОДИНА

14

«А МЫ ОСТАЕМСЯ...»

15

ПИСЬМО В 21-Й ГОД

16

«НЕ БЕРИСЬ СОВЛАДАТЬ...»

17

«СЕМИДЕСЯТЫЕ — ТОСКА!...»

18

Серый — цвет надежды

20

Избранные стихотворения

«ПОД СОБОРНЫМИ СВОДАМИ ВЕЧНЫМИ...»

346

«БУДЕТ ВРЕМЯ — В ТЕМНОМ ПОКОЕ...»

347

«НЕТ, НЕ СПАСИ, НЕ СОХРАНИ...»

348

«МНЕ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ НЕ СУЖДЕНО...»

349

«ЭТОТ СТРАННЫЙ ЧЕТВЕРГ...»

350

«АХ, КАК ХОЛОДНО В НАШЕЙ ДОЛИНЕ...»

352

БАЛЛАДА О СТЕНКЕ

353

«АХ, КАКАЯ БЫЛА ВЕСНА!...»

354

«ГДЕ ВМЕСТО ВОЗДУХА — АВТОБУСНАЯ БРАНЬ...»

355

«ГДЕ ТЫ, КНЯЖЕ МОЙ?...»

356

«САМЫЙ ЛЁГКИЙ МНЕ ДАН СМЕХ...»

357

«ВОТ ОН НАД НАМИ — ИХ ЖЕРТВЕННЫЙ ПЛАТ...»

358

«МОЛОКО НА СТРОКЕ НЕ ОБСОХЛО...»  
359

«ГОСПОДИ, КАК ОН ТАМ? ПРИСМОТРИ ЗА НИМ...»  
360

«НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! ТЮРЕМНЫЙ ДОМОВОЙ...»  
361

«Я ПИСЬМО ПИШУ СЕГОДНЯ...»  
363

«СЛОЖНО ЖИТЬ ЛЕТУЧЕЙ КОШКЕ...»  
365

**ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН**  
367

«МОРОЗОМ ПАХНЕТ ОТ КОНЯ...»  
368

«МНЕ КАК-ТО СНИЛОСЬ: КОНИ И ПОПОНЫ...»  
369

«ДАЙ МНЕ КЛИЧКУ, ТЮРЬМА...»  
370

«ПОМНЮ БРОШЕННЫЙ ХРАМ ПОД МОСКВОЮ...»  
371

«ВОТ И КОНЧЕНА ПЛЯСКА ПО СИНИМ ОГНЯМ...»  
373

«КОГДА-НИБУДЬ, КОГДА-НИБУДЬ...»  
374

«НАС РОССИЕЙ КЛЕЙМИТ...»  
375

«НАУЧИЛИСЬ, НАВЕРНО, ЗАКАТЫВАТЬ ВРЕМЯ  
В КОНСЕРВЫ...»  
376

**ПРИЗВАНИЕ**  
377

«РОДИНА, ТЫ МНЕ ВРАСТАЕШЬ В РЕБРА!...»  
378

**СВИДАНИЕ**  
379

«ЦАРЬ ПРИАМ ПРОХОДИТ ПО СТЕНАМ...»  
380

- «ЗАСВЕТИ МНЕ ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЬ СРЕДИ НОЧИ...»  
381
- «У ВУЛКАНОВ ЗЛОВЕЩЕ ДЫМИЛИ КРАТЕРЫ...»  
382
- ГОВОРIT ВЕТЕР  
383
- ПОБЕДИТЕЛЬ ДРАКОНА  
384
- «РАДУЙСЯ, ДИКИЙ МОЙ СОКОЛ...»  
385
- «ПОШЛИ МЕНЯ, БОЖЕ, В МОРСКИЕ КОНЬКИ...»  
386
- «ВЗРОСЛЫМ АНГЕЛАМ НУЖНО ТЕРПЕНЬЕ...»  
387
- МОЛИТВА  
388
- «КОГО В СТЕПИ НАСТИГЛИ ВСКАЧЬ...»  
389
- «ВОЛК, СКУЛЯЩИЙ: «НЕ СТАЛО НА СВЕТЕ ВОЛКОВ»...»  
390
- АНГЛИЯ  
391
- ПЕСНЯ БОЙЦОВ СВЯТОСЛАВА  
392
- РЕДЬЯРДУ КИПЛИНГУ — С ЛЮБОВЬЮ  
393
- «КАК ВЫДАЁТ БОЯЗНЬ ПРОСТРАНСТВА...»  
394
- БЕЛЫЙ ОЛЕНЬ  
395
- «В МАЛЕНЬКИЙ ДОМИК С ЗЕЛЕНОЙ ТРУБОЙ...»  
396

**НАД ГРОХОТОМ СФЕР МЫ НЕ ВЛАСТНЫ**

397

**АННА**

398

**АНГЕЛЫ**

399

Биография Ирины Ратушинской,  
рассказанная ее мужем Игорем Геращенко

403

Фотографии

412

Приложение

(информация о союзницах Малой зоны,  
план Малой зоны, «ксивы»,

Приговор по Делу № I-C/83)

432

МЫ ДЫШАЛИ СТИХАМИ  
СВОБОДЫ,  
МЫ ДРУЗЬЯМ ОСТАВАЛИСЬ  
ВЕРНЫ,  
НАС КРЕСТИЛИ ХОЛОДНЫЕ ВОДЫ  
ОТВЕРГАЮЩЕЙ БОГА СТРАНЫ.  
А СУДЫ ГРОМЫХАЛИ СРОКАМИ,  
А ХОЛОПЫ ВЕРШИЛИ ПРИКАЗ —  
ПОСКОРЕЕ ПРИКРЫТЬ  
МЕДЯКАМИ  
ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПОДНЯТЫХ ГЛАЗ.  
1982, ТЮРЬМА КГБ, КИЕВ

# ПЯТЬ СТИХОТВОРЕНИЙ ИЗ ПРИГОВОРА

За создание и распространение этих и других текстов 4 марта 1983 г. Ирина Ратушинская приговорена к семи годам заключения в колонии строгого режима с последующей ссылкой на пять лет.



\* \* \*

А мы остаемся —  
На клетках чудовищных шахмат —  
Мы все арестанты.  
Наш кофе  
Сожженными письмами пахнет  
И вскрытыми письмами пахнут  
Почтамты.  
Оглохли кварталы —  
И некому крикнуть: «Не надо!»  
И лики лепные  
Закрыли глаза на фасадах.  
И каждую ночь  
Улетают из города птицы,  
И слепо  
Засвечены наши рассветы.  
Постойте!  
Быть может — нам все это снится?  
Но утром выходят газеты.  
1978, ОДЕССА

## ПИСЬМО В 21-Й ГОД

*Николаю Гумилёву*

Оставь по эту сторону земли  
Посмертный суд и приговор неправый.  
Тебя стократ корнями оплели  
Жестокой родины забывчивые травы.

Из той земли, которой больше нет,  
Которая с одной собой боролась,  
Из омута российских смут и бед —  
Я различаю твой спокойный голос.

Мне время — полночь — четко бьет в висок.  
Да, конквистадор! Да, упрямый зодчий!  
В твоей России больше нету строк —  
Но есть язык свинцовых многоточий.

Тебе ль не знать?  
Так научи меня  
В отчаянье последней баррикады,  
Когда уже хрипят:  
— Огня, огня! —  
Понять, простить — но не принять пощады!

И пусть обрядно кружится трава —  
Она привыкла, ей труда немного.  
Но может, мне тогда придут слова,  
С которыми я стану перед Богом.

1979, КИЕВ

\* \* \*

Не берись совладать,  
Если мальчик посмотрит мужчиной —  
Засчитай как потерю, примерная родина-мать!  
Как ты быстро отвыкла крестить уходящего  
сына,  
Как жестоко взамен научилась его проклинать!  
Чем ты солишь свой хлеб,  
Чтоб вовек не тянуло к чужому,  
Как пускаешь по следу своих деловитых собак.  
Про суму, про тюрьму,  
Про кошмар сумасшедшего дома —  
Не трудись повторять.  
Мы навек заучили и так.  
Кто был слишком крылат,  
Кто с рождения был неугоден —  
Не берись совладать, покупая, казня и грозя!  
Нас уже не достать.  
Мы уходим, уходим, уходим...  
Говорят, будто выстрела в спину услышать  
нельзя.

1980, КИЕВ



почти что невесом —

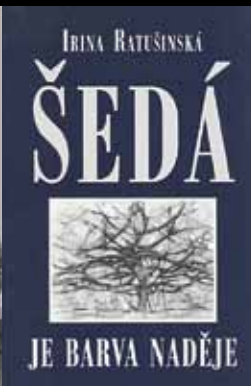
Иди!  
Уже не страшный сон:  
Иди!  
Как колетса трава...  
Иди!  
Закопанного рва  
Не зацепи босой ступней:  
А ну как встанет?  
Простыней —  
Накроет?  
Что там — впереди?  
Не спрашивай!  
Живой — иди!

1979, КИЕВ

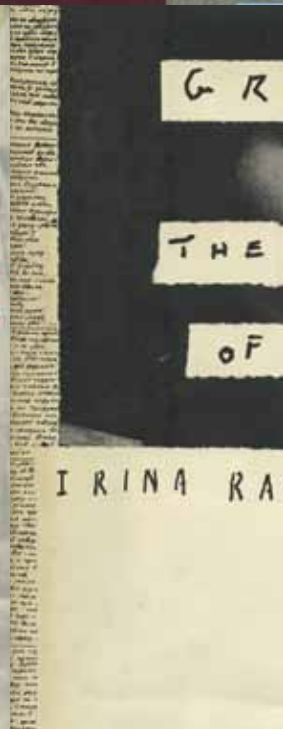
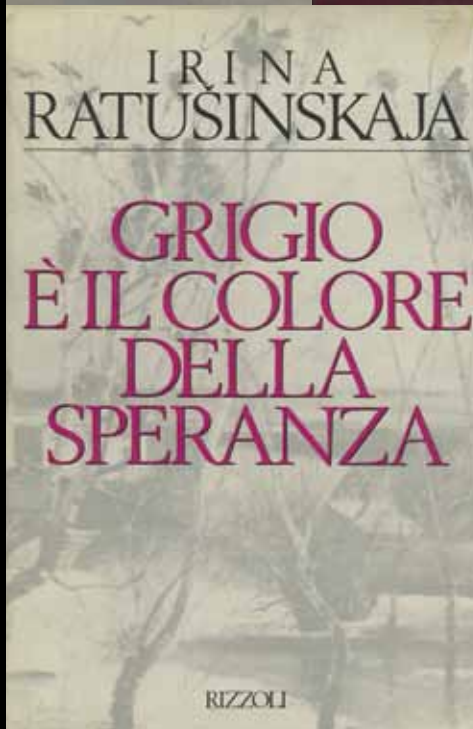
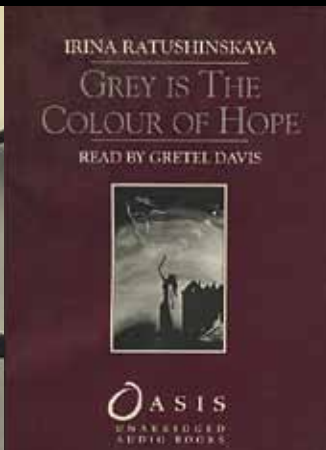
**КНИГА НАПИСАНА В 1987 ГОДУ,  
ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ  
ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ  
ИЗ ЗАКЛЮЧЕНИЯ**

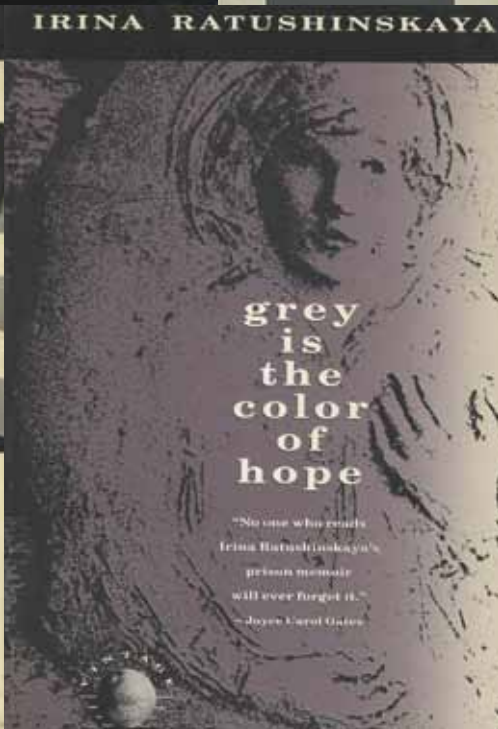
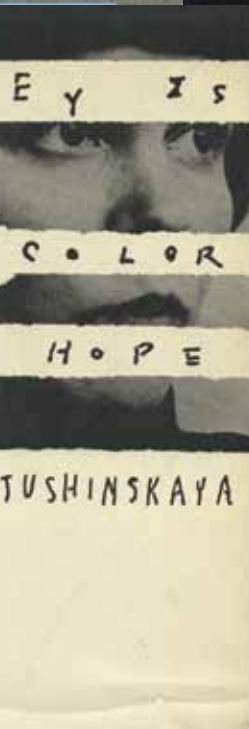
# ИРИНА РАТУШИНСКАЯ. СЕРЫЙ — ЦВЕТ НАДЕЖДЫ

Эта документальная книга о годах, проведенных в советской колонии строгого режима, была переведена на несколько языков и вышла в свет в десятках стран, но до сих пор еще ни разу не издавалась в России. «Серый — цвет надежды» — это не только документ эпохи, но и рассказ о том, как человек может противостоять злу и в этом противостоянии остаться самим собой.









## ОТ АВТОРА

Законный вопрос: что в этой книге — правда, а что — художественный вымысел? Отвечаю сразу: вымыслу в этой книге места нет. У меня бы просто не хватило фантазии. Изменены только некоторые имена — не моих соузниц и не наших палачей, но тех людей, что нам сочувствовали и потихоньку помогали: почти всех уголовников, надзирательниц, некоторых офицеров. Так надо, чтобы с ними не расправился КГБ<sup>1</sup>. По той же причине в нескольких местах изменена хронология событий: тогда невозможно понять, какими все-таки способами мы держали связь со свободой. Все эти изменения делались с таким расчетом, чтобы не исказить для читателя подлинную картину нашего бытия. Все описанные в книге эпизоды действительно имели место. Мне остается только принести извинения многотысячным жертвам женских лагерей за те эпизоды, которые я забыла или не успела упомянуть, ограниченная объемом книги. И принести благодарность тем не упомянутым в книге людям, что помогли мне выжить, выйти на свободу и тем самым — написать мое свидетельство.

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

И вот меня везут на черной «Волге». Сказали, что домой. Сказали, что насовсем, — освобождают вчистую. Даже вернули паспорт без отметки о судимости. И теперь любезно вызвались подвезти домой — в машине КГБ. Что это все значит? Я пытаюсь собрать свои мысли. Знаю, за мной наблюдают. Значит — никакой растерянности, никакого проявления эмоций. Сказывается четырехлетняя зэковская<sup>2</sup> шко-

<sup>1</sup> КГБ (Комитет государственной безопасности СССР) — центральный орган управления в сфере государственной безопасности, действовал в СССР с 1954 по 1991 г.

<sup>2</sup> Зэк, зэковский — «заключенный» и соответствующее прилагательное. Слово широко употреблялось в лагерном лексиконе, образовано от официально используемого сокращения з/к.

ла — не доверять! Не расслабляться! Сотрудник КГБ рядом со мной, ведет светскую беседу. Он-то знает, что сейчас происходит — действительное освобождение или очередной психологический этюд. Я пока не знаю. Мне еще полчаса этого не знать. А основной сомневаться вполне достаточно: ведь сказали же мне три месяца назад, отправляя меня из мордовско-  
<sup>3</sup> го лагеря<sup>3</sup>, что я еду домой. А приехала я под конвоем в тюрьму КГБ в Киеве. «Ну что, Ирина Борисовна, освобождаться приехали? Но ведь вам еще три года лагеря и пять лет ссылки... Пишите прошение о помиловании, тогда может быть...» Помню свою злость в этот момент — не на них, конечно, на себя! От них иного и ждать было бы странно, но я-то хороша — поверила! И двое суток спецэтапом из лагеря в тюрьму ехала — домой. К Игорю, к маме, к собачке Ладушке... Ну не дура ли? Хорошо хоть гебистам не показала, что верила, — не дернулась, ни лицо, ни голос не выдали (система Станиславского). И тот психологический этюд у них провалился: не писала я им прошения о помиловании. И этот провалится тоже, если это очередной фокус. А может, на этот раз не фокус?.. Уж больно нелепо — два раза повторять одно и то же.

А с другой стороны, мало ли они громоздят нелепостей?

Не думать об этом! Вон листья падают, желтые, красные...

Октябрь. Мой пятый зэковский октябрь — неужели последний? Не думать! Вон гебист с тобой разговаривает... о чем бишь? О перестройке системы образования — и прекрасно. Отреагируй адекватно — про иностранные языки, про физику и математику. Хорошо бы и вправду что-то поменять — куда годится прежняя система? Но в какую сторону — вот вопрос. Так, хорошо, теперь про погоду... зеленая травка, голубое небо. Черная «Волга». Где же мой

<sup>3</sup> Мордовский лагерь (бывший Дубравлаг) ранее входил в систему ГУЛАГа, после ликвидации ГУЛАГа реорганизован в исправительно-трудовую колонию ЖХ-385. Политические заключенные продолжали называть колонию «мордовским лагерем». В 1960—80-е гг. в колонии ЖХ-385/3 содержались «особо опасные государственные преступники».

привычный эковский серый цвет? А вот он — у меня под боком: арестантская моя одежда. Кстати, ее не отобрали, как обычно перед освобождением... Об этом — стоп. Поговорим о литературе. Не правда ли, Булгаков — великий писатель? Да, конечно, он жил в Киеве, и дом его на Андреевском спуске... Красивое место, Киев вообще красивое место. Нет, я не в восторге от современных ухищрений скульптора Бородая: большая статуя не значит талантливая. И вы тоже не в восторге? Какое поразительное единомыслие — между кем и кем? Посмеялись.

Окно в машине приоткрыто, и запахи, запахи... Неположенные, вольные. Вот — прелой травой. Вот чуть ли не грибами или просто влажной землей. Вот привычно — бензином. Очнись. Ты на этапе, пусть даже последнем. Шофер впереди — о чем думает? А, вот оживился, говорим об антиалкогольной политике Горбачева и о самогоне в связи с этой самой политикой.

Самогоне, самогоне,  
Хто тепер тебе не гоне?..

Шофер уточняет, оказывается, это не сегодняшний фольклор, это песенка хрущевских времен. Ну-ну, история повторяется... Посмеялись. Весело проходит наша поездка, не правда ли? А это что за здание? А это, Ирина Борисовна, построили недавно, вас тогда здесь не было. Помолчали. Вон парень с девушкой идут в обнимку. Проскочили — лиц не увидеть. Но, однако же, машина не зря петляет, вот и проспект Вернадского. Вот осталась пара кварталов до дома. Чтобы руки не дрожали — это ерунда... это все умеют. Ну, почти все. А вот с пульсом номер посложнее. Но необходимо — я теперь худая, как велосипед, и на шее видно, как каждая жилка бьется. Лучше всего вспоминать начало Первого концерта Чайковского, все сразу внутри замедляется. Вот так. Теперь мы в полном порядке. Так что там у вас, товарищи, за программа? Дверь открывают.

— Позвольте, Ирина Борисовна, я вам рюкзак помогу... У вас какой этаж?

Правда, какой этаж? Адрес помню, телефон помню — сколько раз разным людям давала. Но этаж... хоть убей...

— Пятый. — Это автоматически сработало, помимо сознания, и оказалось верно. Вот и дверь нужная, вот и звонок, и Ладушка уже лает. Вот будет номер, если никого нет дома — ключа-то у меня нет. Или у гебистов всегда есть чем открыть?

— Кто там?

Голос мамы. Это Игоря мама, но я ее тоже мамой зову — с тех пор, как сижу. С тех пор, как на суде, одна в зале, услышала ее крик из коридора: «Пустите, там моя дочь!» Не пустили. Никого ко мне на суд не пустили. Но с того самого крика я ей — дочь, а она мне — мама.

— Кто там?

Что ответить? «Ира»? А может, надо отвечать «обыск»? Ведь не знаю же я до сих пор, с чем меня сюда привезли.

— Ира...

Коридор. Те же глиняные миски на стенах. Запах дома. Ладушка скачет и лает. То ли меня забыла — за четыре-то с лишним года, — то ли чужой дядя ее смущает.

Мама, обмирая:

— Насовсем?

Говорю:

— Насовсем.

И только тогда она плачет. А тут и девчонки из комнаты высунулись, тоненькие, взрослые... Племянницы. Были совсем крохи, когда меня забирала. Младшая говорить еще не умела. Сейчас, впрочем, тоже молчат — смотрят круглыми глазами. Ну и без них неразберихи хватает: мама все плачет и обнимает меня, а я что-то ей бормочу... Самый бы момент чужому дяде откланяться, если он действительно собирается оставить меня дома. А с другой

стороны, как он может меня забрать — шофер-то внизу остался, а поодиночке они не конвоируют — как минимум должно быть двое. Да и не по чину ему меня из дома выволакивать, как-никак генерал КГБ. Ну-ну, предоставим событиям развиваться. Я (*светски*): «Спасибо, что довезли. Чашечку кофе?» Он (*так же светски*): «О, благодарю, вам сейчас не до меня».

И действительно, откланивается. За эту невыпитую чашку кофе, я надеюсь, ему на том свете отпустится сколько-то грехов.

Бестолковый телефонный разговор с Игорем. Сейчас он бросает работу и едет — с другого конца города. А я все сижу в чем-то мягком и держу у щеки пустую после его голоса телефонную трубку. Теперь уже можно быть бестолковой. Мать хлопочет на кухне. Надо выйти к ней, что-нибудь помочь. Глупости — помочь! — я же не помню даже, как это делается и где что в доме лежит. Просто крутиться у нее под руками и быть рядом. Вместо этого подхожу к зеркалу. Вот вы, значит, какая, сударыня! В тюрьме зеркало не положено, за последние три месяца я видела себя только один раз в случайно открытой зеркальной двери какого-то кабинета. Худенький стриженный мальчик. Глаза, оказывается, совсем темные.

И нечего удивляться, что я предложила гебисту кофе, — это я победитель, а не он! Сейчас приедет Игорь, ввалятся в дверь друзья, и мне хорошо будет смотреть им в глаза: все в порядке, за эти четыре с лишним года не стыдно. Я им все расскажу (я еще не знаю, как это, оказывается, трудно — рассказывать все, — так захочется страшное пропустить и говорить про одно смешное!). И сейчас, более полугода спустя, когда я берусь за эту книгу, кто-то тихонько скулит в закоулке моей души: ну не надо, не вспоминай, будет с тебя! Но я вспомню. Я знаю, что надо.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

Седьмой месяц я живу как королева. Передо мной забегают вперед и распахивают двери — камеры, следственного кабинета, зала суда... Закрывать их за собой мне тоже не приходится. Пешком я теперь не хожу — разве только по коридору, с соответствующей осанкой. А так меня возят. На меня одну приходится прорва обслуги, даже для того, чтобы очинить карандаш, вызывают прапорщика. В получении королевой пары носков из собственных вещей участвует уйма народу, включая начальника тюрьмы (он должен подписывать все бумаги, а на пару носков, конечно, составляется бумага). Тюрьма моя называется «Следственный изолятор КГБ», а во время войны она называлась тюрьмой гестапо. У меня тут первая в моей жизни собственная, отдельная комната, и даже с мебелировкой: железная койка, тумбочка, параша... Королевские бумаги ввиду их особой государственной важности регулярно пересматриваются «компетентными лицами». Поэтому мой первый тюремный сборник стихов у меня не на бумаге, а в голове, вызубренный наизусть. Головы в принципе тоже подлежат исследованию в этом учреждении, но здешним принципам пришлось отступить перед моим «вето». Это довольно дорогостоящая привилегия, но зато она дает право осанки. Уж извольте примириться с этим, господа, такова моя воля.

А сегодня я меняю резиденцию: киевскую на московскую. Сегодня мой первый этап, через час придет машина везти меня на вокзал. Бумаги мои, как мне сообщили, едут отдельно («Чтоб вам самой не таскаться»). Это копия приговора, моя кассация, заявление на суде, замечания на судебный протокол и переписанные из книг тюремной библиотеки стихи: Тютчева, Пушкина, Шевченко, Лермонтова, Жуковского. Ладно, в этапе все равно я их читать не буду.

Во мне уже восторженный озноб, как всегда перед дорогой. Нет, я, конечно, знаю, что этап — вовсе не обычная дорога: сторожевые собаки,

4 орущий конвой с автоматами, духота и мука стольпинского вагона<sup>4</sup>, вонь пересыльных тюрем... Но все равно веселось: первые семь месяцев прожиты неплохо. Ни слова под следствием, ни просьбы тюремщикам, заявление о незаконности суда и отказ участвовать в нем. Вполне приличное начало для зэка, можно теперь и на этап. Мои заслуги перед родиной высоко оценены: семь лет лагеря строгого режима и пять лет ссылки. Этот приговор мне подгадали ко дню рождения, к двадцати девяти годам. Но к тому же дню рождения еще один подарок: Игорь вызван на суд как свидетель по моему делу. И еще с порога:

— Держись, моя родная, я люблю тебя!

5 А потом судьям — все, что он думает о них и об их суде. И что я член Pen International<sup>5</sup> (это уже информация для меня). И пока спохватились выставить его из зала суда — еще один взгляд мне, последний. На вас когда-нибудь так смотрели, дорогие  
6 товарищи судьи? А на вас, прапорщица-шмоналка<sup>6</sup>? А на вас, начальник тюрьмы Петруня? То-то же, бедолаги. Где уж вам понять, почему на этап — с улыбкой.

7 Выдают дорожный паек: полбуханки черного хлеба и селедка. Я знаю по самиздату<sup>7</sup>, что это зна-

4 Стольпинский вагон назван по имени министра внутренних дел Российской империи П. А. Столыпина. В начале XX в. в таких переоборудованных товарных вагонах перевозили крестьян-переселенцев в малозаселенные районы Сибири. В вагонах были отсеки для семей переселенцев, а также для домашнего скота и инвентаря. В годы сталинской власти стольпинские вагоны использовали для перевозки осужденных. С тех пор название стало нарицательным для всех вагонов, предназначенных для заключенных.

5 Pen International (ПЕН-клуб (рус.)) — аббревиатура от английских слов «poet» (поэт), «essayist» (эссеист), «novelist» (романист), складывающаяся в слово «PEN» (перо, ручка) — международная правозащитная организация, объединяющая писателей, поэтов и журналистов. Цель организации — расширение общения между писателями.

6 Шмон (жарг.) — обыск.

7 Самиздат — способы неофициального и неподцензурного производства и распространения литературных произведений в СССР. Копии текстов изготавливались машинописным, рукописным, фотографическим способами и с помощью ЭВМ.

8 чит — сутки езды до ближайшей пересылки<sup>8</sup>. Селедку  
есть в дороге нельзя, потому что пить потом не дадут.  
2 Спасибо, Александр Исаевич<sup>9</sup>, Вы все предусмотрели!  
Как знать, хватило бы у нас самих ума, пока ломились  
с обыском, сжечь все письма и адреса, если бы не Ваши  
книжки? Или хватило бы у меня выдержки бровью не  
повести, когда меня догола раздевали в тюрьме? Догадалась  
бы я сама до великого зэковского принципа: «Не верь,  
не бойся, не проси!»? И даже мелочи, вроде той же селедки,  
известны мне наперед. Легкое зэковское тело, легкий зэковский  
10 мешок... Карета подана. Черный ворон<sup>10</sup>. Ну что же —  
апрель! И дорога.

Машину подгоняют так, чтобы из нее прямо перешагнуть в вагон. Где-то внизу беснуется овчарка — все как по писаному. Вот они, набитые столыпинские купе — за решеткой беспорядок женских тел и лиц. Сколько их тут, на трех квадратных метрах в два яруса? Человек пятнадцать? Следующая клетка мужская; увидели меня, загалдели:

— Глянь, молоденькая!

— Ласточка, куда едешь?

— Девонька, посмотри на меня!

Сквозь решетку суют конфетку. Конвойный бьет по протянутой руке. Конфетка летит на пол, а рука втягивается обратно за решетку. На ней не хватает двух пальцев, зато татуировка: «солнце садится за горы». Переглядываемся, улыбаемся.

— Не разговаривать!

Улыбаемся. Они зэки, и я тоже. Потом, когда поезд тронется, а конвойный будет другой, не такой осатанелый, они мне через него подгонят еще пару конфет, а я им — пачку сигарет (знала, что надо купить перед этапом, куришь не куришь). И первое мое

8 Пересылка — пересыльно-распределительный пункт для заключенных.

9 Александр Исаевич Солженицын (1918—2008) — русский писатель, узник сталинских лагерей, правозащитник, лауреат Нобелевской премии по литературе (1970). Автор художественно-исторического произведения «Архипелаг ГУЛАГ».

10 Черный ворон — закрытый грузовик, оборудованный для перевозки заключенных.

выученное эзковское слово будет «подогрев». Это вот такая неположенная передача. Первый смысл слова я ловлю сразу: согревает душу. Второй дойдет до меня полугодом позже: когда поешь, не так мерзнешь, как впроголодь. Так что — подогрев буквальный, калории...

Я еду одна в купе: особо опасные государственные преступники содержатся отдельно от прочих. Чтобы, значит, не оказывали дурного влияния: вдруг обычные урки бросят воровать и грабить и примутся писать стихи? Или, того хуже, выступать в защиту отщепенца Сахарова<sup>11</sup>? Но какая уж тут изоляция, когда у каждой клетки три стены, четвертая — решетка? При известной ловкости, просовывая руки сквозь решетку, можно передавать записки из купе в купе через весь вагон. Да и каждое слово слышно.

— Первая, первая, что одна едешь?

Первая — это я, по номеру клетки. Она в вагоне крайняя.

— Политическая.

<sup>12</sup> — Ну?! Это что, ты в Андропова<sup>12</sup> стреляла?

— А что, в него стреляли разве?

Ничего я об этом не знаю, в тюрьме КГБ газет не давали, да и вряд ли бы об этом было в газетах.

<sup>13</sup> Меня посадили еще при Брежнев<sup>13</sup>, а что теперь у нас «лично товарищ Андропов», я узнала уже на суде, из речи прокурора.

— Еще как стреляли, жаль, промазали.

— Не промазали, в колено попали (это уже следующая клетка включается в разговор).

— Нет, я за стихи.

— Это как же за стихи? Против власти, что ли?

— Независимо от власти, вот они и обиделись.

— Про Бога, небось?

— И про Бога тоже.

<sup>11</sup> Андрей Дмитриевич Сахаров (1921—1989) — ученый-физик, академик АН СССР, создатель водородной бомбы, общественный деятель, правозащитник, Лауреат Нобелевской премии мира (1975).

<sup>12</sup> Андропов Юрий Владимирович (1914—1984) — Генеральный секретарь ЦК КПСС, фактический руководитель СССР (1982—1984).

<sup>13</sup> Брежнев Леонид Ильич (1906—1982) — Генеральный секретарь ЦК КПСС, фактический руководитель СССР (1966—1982).



Подожду остановки. И что же им написать, чтобы все поняли? Вот это, пожалуй, про тюремного домового. И веселое что-нибудь, например, про летучую кошку. И это — про старушку, которая ждет. Остановка долгая, я исписываю двойной лист из тетрадки.

— Девочки, в шестую подгоните, пожалуйста!

— А нам?

— Вот они прочтут и пускай вам подгонят, не писать же мне десять раз.

— А мы перепишем, можно?

— Как хотите. В общем, найдут — по головке не погладят.

— Хрен они у нас найдут!

— Вот еще одно слово — и до завтра никого в туалет не выведу!

Это конвойный присоединился к беседе.

Угроза, кстати, серьезная: куда в клетке денешься, если в туалет не поведут? А вести в туалет — дело для конвоя хлопотное: один стой возле этого самого туалета, один «на коридоре», и еще один — открывай все купе по очереди и каждого сопровождай туда и обратно. Ясно, что чем реже, тем меньше мороки, и выводят редко, доводя людей до изнеможения. Мужчины иногда не выдерживают, мочатся в пластиковый пакет, а если нет — то в сапог. Женщины воют, но терпят. Впрочем, этот белобрысый явно беззлобен и пригрозил для порядка. Бабы из третьей это моментально улавливают.

— Ой же ты, солдатик мой белявенький!  
Что ж ты такой сердитый, а? Иди сюда,  
я тебя поцелую!

— Но-но, не озоруй!

— Да я ж разве озорую? Вот разочек поцелую —  
лучше усы расти будут. Ты какие усы хочешь —  
беленькие или рыженькие?

— Разговорчики!

— Ну не хочешь разговорчики — мы тебе песенку споем. Начинай, девочки!

Валентина Терешкова  
Захотела молока,  
Не попала под корову,  
А попала под быка...

15

- Ох, девки, добалуетесь вы у меня!
- Добалуемся — ляльку родим, по амнистии<sup>15</sup> пойдём. Бе-ля-я-венькую!
- Ну все, цыц, сейчас начальник конвоя проходить будет!

Это уже человеческий аргумент — взгреют парня, если заметят, что он болтает с заключёнными. Бабы затихают. Уже, наверное, и спать пора: погрузили нас вечером, а с тех пор столько событий. Интересно, который теперь час? Интерес, конечно, абстрактный: заключённым часов не положено. Когда надо — разбудят, когда надо — поведут куда надо. Как странно сужается реальность в тюрьме! Ничего-то я не знаю: ни где буду завтра, ни в какую сторону везут, ни что на свободе происходит. И про Игоря не знаю — арестован он или нет. Со времени суда прошел месяц, а писем-свиданий нам, конечно, не разрешили. Где ты сейчас? Тоже, наверное, засыпаешь на нашем раскладном диванчике или на тюремных нарах? Спи, мой родной. Дай тебе бог силы.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Утро. Поезд стоит уже несколько часов. Я уже знаю, что нас везут в Москву и что будем на месте в лучшем случае к вечеру. Нормальный пассажирский поезд идет из Киева в Москву двенадцать часов, но эковские вагоны цепляют к товарным поездкам, а потому дороги нам не меньше суток. Я почти все время в полусне: так меньше замечаешь время и окружающую маету. Но в вагоне нарастает шум.

- Начальник! Веди в туалет!

15

Амнистия — полное или частичное освобождение от наказания.

— На стоянке не положено!

— А когда тронемся?

— Как положено, так и тронемся!

Дальше следует безнадежный зэковский мат — кто их знает, когда положено. Проходит еще сколько-то времени, тронулись.

— Начальник!

«Начальник» молчит. Это уже не вчерашний мальчишка, смена поменялась. Этот, видимо, сверхсрочник, добровольно оставшийся на этой службе. Из каких соображений можно добровольно стать конвойным — для меня загадка. Глаз не видать — стоит спиной. Щеки видны с затылка, и сам затылок — сытый, красный. Интересно, слышит он зэковский стон или умеет отключаться? Женщина в третьей клетке плачет, не вмоготу.

— Начальник! Хоть беременную-то выведи!

Плевать этому начальнику на всех беременных, что он и дает понять выражением своего затылка. Сколько-то времени еще натикало? полчаса? час?

— Ребята! Качай!

— Кто сказал?! — это глухонемой наш мучитель немедленно среагировал. Ну уж где тут разберешь в общем галдеже, кто что сказал? Молодой мужской голос, но мужчин в нашем вагоне, наверное, человек семьдесят. Что означает это крамольное «качай», я узнаю на следующей же минуте: зэки начинают раскачивать вагон. Все вместе, в такт, отшатываясь от одной стены клетки к другой. Вагон так набит людьми, что это дает результат почти немедленно. Этак можно запросто свести вагон с рельс, а поезд, соответственно, под откос. Вбегает начальник конвоя.

— Кто зачинщик?

Фиг тебе зачинщика — качает весь вагон.

И я качаю — одна в своей клетке. Не угодно ли тебе вместе с нами на тот свет, отъезжая твоя рожа? Нет, явно не угодно — появляются двое с ключами. Первой открывают ту дверь, где беременная.

Ее проводят мимо меня; заплаканное маленькое личико, клочок волос из-под застиранной косынки. Бунт стихает. Громяхают ключи и решетки, и вот каждый проходит в полушаге от меня, туда и обратно.

Сколько же их, боже мой?! Следовало бы пересчитать, ведь дала же я себе слово, входя в самую мою первую камеру, ничего не пропустить! Наблюдать, запоминать — все до капли! Когда-нибудь это все пригодится — не одни голые эмоции, а факты и цифры. Однако мне сейчас не до цифр: серые лица, серые телогрейки. Только глаза разные. Ко мне заглядывают все: политическая — высокий титул!  
— Иринка, как дела?

Улыбаюсь. Глаза в глаза. И на обратном пути — глаза в глаза. Стою возле самой решетки. Какие у вас сроки, ребята? Кто выйдет живым из лагеря, кто выйдет калекой или психом? Кто у вас остался дома и дождутся ли? И у многих ли вообще есть дом? Какой родится ребеночек у той беременной? Какие слова начнет первые говорить — ему ведь тоже расти в лагере... Я еще не знаю, что каждый восьмой такой ребенок в том же лагере умрет. Так много я еще не знаю, хоть и читала книжки. Вот вы какие, зэки, мои современники. Поглядим друг на друга с неположенной улыбкой! Это тоже подогрев.

Мне в карман сквозь решетку виртуозно что-то пихают, я едва успеваю заметить. Конвой заметить не успевает. И еще. И еще. Летит на пол беленький квадратик, сложенный в несколько раз. Записка! Быстренько наступаю сапогом; у меня, как и у всех зэков, кирзовые солдатские сапоги. Только мои меньше, Игорь где-то ухитрился достать на мою ногу и передал в тюрьму. Порядок, кажется, никто не увидел. Роняю платок, поднимаю его вместе с запиской. Ох, не хватает мне еще зэковской ловкости рук! Ничего. Я научусь позже.

Когда все стихает и тот мордастый прапорщик по-прежнему застывает затылком к нам, разбираю свою добычу.

«Добрый день, Ирина! Меня зовут Володя. Выхожу через три года. Я люблю стихи, мой любимый поэт Омар Хайям. Я тебе списал его стихи, которые помню, тебе тоже понравится».

<sup>16</sup> И — рубаи<sup>16</sup>, на отдельной бумажке, муравьиными буквами (видно, писал на остановках). Почти без грамматических ошибок. Ну и ну! Чего угодно могла ждать на этапе, но только не этого. Их отберут, эти стихи, когда будут шмонать меня в Лефортовской тюрьме. И те переписанные мною стихи Тютчева и Пушкина, что «едут отдельно», — ко мне тоже не вернуться. Вместо них мне в лагере выдадут акт о конфискации: стихи, мол, признаны клеветническими и идейно вредными и уничтожены путем сожжения. И я даже пойму, в чем дело: сотрудники киевского КГБ, не обязанные разбираться в литературе, решили, что все эти стихи — мои собственные (не писала же я над ними, что — Тютчева, что — Пушкина! И так с малолетства знаю). И по гебистскому мнению — это я такой гений: и про холмы Грузии, и про глубину сибирских руд, и про грозу в начале мая... Что, впрочем, обязывает их бдеть еще строже. Бдите-бдите, мои умники: что будет, то будет. А пока развернем следующую записку.

«Иринка, нас зовут Вера и Люба. Едем с малолетки на взрослую зону. Нам обеим осталось по году, но вряд ли попадем так, чтоб вместе. Напиши, сколько осталось тебе, мы не расслышали. Вера говорит, что семь, но не может быть, чтоб семь. А правда, что политических меняют в Америку на наших шпионов? Напиши больше про свою политику и подгони в пяту, другие тоже просят».

«Ира, ты говорила, что есть политический лагерь. Это там, где был Солженицын, или нет? Я читал его «Один день Ивана Данилыча»<sup>17</sup>, когда был на свободе. А наши ребята говорят, что Солженицын

<sup>16</sup> Рубаи — четверостишия, форма поэзии, распространенная на Ближнем и Среднем Востоке.

<sup>17</sup> «Один день Ивана Данилыча» — здесь имеется в виду повесть А. И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича», в которой рассказывается об одном дне заключенного ГУЛАГа.

еврей и что вроде его снова посадили. Правда или нет? Подгони ответ в седьмую, напиши сверху — «Губе», это моя кличка».

Еще у меня в кармане оказывается карамелька в липкой бумаге. На ней отпечатались все анилиновые краски обертки: малиновые и фиолетовые ромбики. Про такие карамельки в Одессе шутили: «на чистом ацетоне». Долго-долго она тает у меня за щекой. Я никогда не узнаю, кто ее сунул — тот молодой синеглазый парень с лишаем на бритой голове, или та пожилая, какая-то очень домовитая низенькая женщина с улыбочивыми морщинками, или тот поджарый «полосатик» (так называют по цвету арестантской робы тех, кто сидит на особом режиме, — почти смертников). Кто б ни сунул — спасибо. Даже с карамельками детства это не может сравниться по сласти. Отвечаю на записки как можно понятнее. Уничтожаю полученные: скоро Москва и, значит, очередной обыск. Оставляю только рубаи — если отберут, пусть ищут среди эзков Омара Хайяма.

И вот меня везут по Москве — одну, в большой машине с брезентовым верхом. Со мной двое юнцов-конвойных с автоматами. Им, конечно, интересно, кого везут. Рассказываю. Не могут поверить: «Неужели семь плюс пять?!»

Приоткрывают окошко в двери, чтобы мне видеть Москву. Ночной ветер сдувает мне волосы со лба. Огни. Мест не узнаю. Помявшись, ребята выдают неожиданное предложение: я молодая, они тоже. Почему бы мне не трахнуть с одним из них — кто мне больше нравится? Дорога длинная, второй отвернется, а если я забеременею — почти наверняка отпустят досрочно — беременные и «мамки» чаще идут под амнистию. Амнистий же в ближайшее время ожидается две — в связи с революционными праздниками.

У меня хватает ума не обижаться на такое простодушие: в конце концов, ребята по-своему желают мне добра. Деликатно объясняю, что оба они — парни милые, но я замужняя женщина и мужу верна.

— Верующая, что ли?

— Верующая.

Это объяснение им понятно, и тема закрыта: нет так нет. Они, кстати, более тактичны, чем гебисты — от тех бы я наверняка услышала: «Какой это муж будет ждать семь лет!» Сколько я такого наслышалась за месяцы следствия! Бедный мой следователь Лукьяненко уж не знал, чем меня вывести из себя. Так и не вывел, и в конце концов отчаялся и отстал. После каждого своего вопроса сам автоматически писал в протокол: «Ответа не последовало». Этим я отвечаю обо всем, что им интересно, — и стихи читаю, и рассказываю, кто такой Сахаров. Вот и до Лефортова доехали. Ребята дают мне пачку сигарет. Беру, хоть некурящая: не мне, так другим пригодится. Я ведь теперь не одна. С кем-то мне теперь вместе баланду хлебать?

Обыск. Зэковское счастье — душ! Это преимущество этапа — заключенным положено мыться раз в неделю, и мне до очередного мытья, значит, еще пять дней. Но в Лефортове моют с дороги всех, так что мне повезло. Интересно, сколько меня тут будут мариновать? Спрашивать, конечно, бесполезно. В камере я одна. Слава богу. В глазах плывут лица, бритые головы, телогрейки... Я здорово одичала за эти семь месяцев без людей. Ведь нельзя же, в самом деле, считать человеческим обществом моих гебистов! А эти все же люди, хоть среди них наверняка и убийцы, и воры. Но наш народ всегда называл каторжных «несчастливыми». Несчастливые люди, я их жалю, а они, наверное, меня. Нет, я знаю о свирепых лагерных законах урок, о безжалостных расправах, об издевательствах над слабыми... Но что в них есть и что-то другое — это я уже никогда не забуду. Я буду апеллировать к этому другому, что есть и в урках, и в тех конвоирах, и, может быть, даже в том, что заглянул сейчас в глазок — сплю я или нет. Господи, спаси и помилуй мой несчастный народ!

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

18

Два дня в лефортовской одиночке<sup>18</sup> — и снова на этап. На этот раз, к моему удивлению, меня запикивают в одну клетку с еще десятью женщинами. То ли по недосмотру, то ли по нехватке мест. Я, разумеется, не протестую: новые люди, новые встречи. Все наскоро знакомятся, рассказывают свои истории. Кто — охотно, кто предпочитает говорить на другие темы. Старушку в углу клетки зовут баба Тоня. Она почти все время плачет. Потом, когда уже едем, рассказывает. Ей шестьдесят пять лет, и получила она четыре года за самогон.

- Не свисти, баба Тоня, — вставляет явно бывалая Лида с яркой помадой на неумытом лице. — За самогон по первому разу четыре не лепят.
- То-то и есть, что не лепят, — плачет старушка. Сморкается она не в носовой платок, а в беленькую тряпочку с необрубленным краем. — Всю жизнь всем селом гнали, и никому не лепили. Ну, Мише-участковому дашь под праздник красненькую — он никого и не трогает. А как Миша по пьяни в пруду утоп с мотоциклом вместе — такого лешего прислали, прости господи! Где и нашли... Сунулся он ко мне перед Октябрьским праздником — знает, окажись, что одна живу, никто не заступится... Ну и надыбал... Я ему туда-сюда, а он нет, говорит, акт писать буду. Ну, мне соседи говорят: дай ему четвертной, чтоб не писал-то. Я как раз картошку продала, у меня было. Несу, подаю. А он, леший, берет и новый акт пишет: теперь за взятку. И берут меня сразу по двум статьям, уж как я просила-молила... А пока сижу, до суда еще, на самогон амнистия выходит, а на взятки нет. Так мне судья

<sup>18</sup> Лефортовская тюрьма — одна из старейших тюрем Москвы, в которой в годы сталинской власти содержались обвиняемые по политическим мотивам, с 1954 по 1991 г. являлась следственным изолятором КГБ СССР. Одиночка — камера для одиночного содержания заключенного.

и сказала: за самогон тебе, гражданка, год, и шла бы ты по амнистии сейчас домой. А за взятку тебе четыре, и поедешь ты в лагерь общего режима<sup>19</sup>. — И снова плачет баба Тоня, утираясь тряпочкой. У нее дом остался с огородом, а на огороде капуста. Мыслимое ли дело ей прожить в лагере четыре года? Дали бы уже помереть в своей хате.

— Не плачь, баба Тоня, — утешают ее хором. — Общий режим — не строгий, не помрешь. Везде люди живут. Ты старая, тебя обижать не будут. И на швейку не пошлют, там здоровые нужны. Не реви!

Рассказывают про швейку: самое страшное там — тяжелый пошив. Это значит, телогрейки, ватные штаны и солдатские шинели. Из сукна летит ворс, вата летает клочьями, и всем этим дышишь. Кроме того, ткань обычно «с пропиткой» — от этой химии на руках появляются язвы — чем дальше, тем больше. Идешь с этими язвами к врачу, а она тебе: «Это от гомосекса» (от лесбийской любви, значит).

— Я этим не занимаюсь.

— Ну, тогда — от полового голодания.

Всего две причины на все случаи жизни, и в обоих случаях заключенные сами виноваты и нечего морочить врачу голову. Общая мечта — устроиться в хозобслужбу — на кухню, в уборщицы или как-нибудь еще. Хозобслужба живет отдельно, не в такой тесноте, и шансов уйти на свободу условно-досрочно гораздо больше. Мне эта премудрость ни к чему — у политзаключенных никаких амнистий и досрочных освобождений не бывает. Как и хозобслужбы и лесбийской любви. Но, конечно, интересно. По моим подсчетам, в лагерях страны сидит миллиона полтора женщин — и у всех у них такие проблемы.

<sup>19</sup> Лагерь общего режима — здесь исправительно-трудовая колония общего режима — место отбывания наказания для впервые осужденных, приговоренных к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, а также неосторожных и умышленных преступлений небольшой или средней тяжести. Колония с обычными условиями содержания.

Тетя Люба убила топором своего мужа. Рассказывает она об этом охотно и даже с некоторым вызовом:

— Двенадцать лет, пьянюга, все из дому пропи-вал и меня лупил по чем попало. А тут пришел и опять ко мне — бить. Я — за топор и ему показываю: не подходи, не дамся. Ну, он — на меня, а я его — обухом. Так и повалился. Я сначала думала, он пьяный просто, тюкнула-то несильно. А ему, видишь, хватило. Я, конечно, за доктором, тот пришел, говорит: все, убийца ты, Любовь Яковлевна. А вот не жалею, ни вот столечко не жалею. Три месяца в тюрьме просидела и только два раза конвой ударил. А то ведь — чуть не каждый день... И следователь не бил — я же сразу все как есть рассказала, ему легко было дело закрывать. Он меня жалел даже, чаем угощал... Руки у нее полные, с короткими пальцами.

На одном до сих пор след от кольца — глубокая вмятина. Говорит, обручалка так выросла, что в тюрьме не могли снять — распилили. Колец, хотя бы и обручальных, зэкам, конечно, не положено. Да и к чему оно ей теперь — обручальное кольцо?

Собираются есть, складываем вместе, что у кого. Я запаслась перед этапом: пока сидишь под следствием, можно покупать продуктов на десять рублей в месяц. Как раз для того запаслась, чтобы приехать в лагерь не с пустыми руками. Но до лагеря ничего не довезла, кроме нескольких головок чеснока. Все раздала на этапе: такие жалкие, такие замороженные были все эти женщины! Половине из них и передачи-то в тюрьму никто не носил. А ведь некоторые даже не из тюрьмы, а из лагеря в лагерь, то есть сидят уже несколько лет. Серые, отечные, с синими губами. Или, наоборот, ярко-красными от дешевой помады на том же сером лице. И рука сама тянулась — давать, и внутри меня кто-то истошно выл от жалости... Как выяснилось позже, это была ошибка — все они были все же заключен-

ные лагерей общего режима, а я ехала на строгий. Там и продуктов можно покупать только на пять рублей в месяц, и посылок почти не бывает (раз в год по истечении половины срока — пять килограммов), а администрация может лишить по своему усмотрению и того и другого. И, как правило, лишает. Так что наши, когда я до них добралась, оказались еще больше голодными и заморенными. Но более похожими на людей в моем понимании: другой взгляд и осанка другая. И этапную мою глупость, в которой я чистосердечно покаялась, мне сразу простили, посмеявшись, — оказывается, почти все делают то же самое на первом этапе. Нормальная человеческая реакция, если видишь все это в первый раз свежим взглядом. Привезенные же мною головки чеснока ели со страшной экономией два месяца, и все это время меня корежило от стыда, хотя все о моем легкомыслии и думать забыли.

20

То, что я — политическая<sup>20</sup>, вызывает законный интерес во всех клетках. И приходится мне рассказывать все сначала: и про права человека, и про стихи, и стихи читать — для всех, на весь вагон. Благо конвойный и сам явно заинтересован и разговору не мешает. Теперь мои европейские и американские аудитории удивляются, как это я все помню наизусть и как легко отвечаю на вопросы. А это потому, леди и джентльмены, что мои первые большие аудитории-залы не меньше, чем на сто человек, — были вот эти столыпинские вагоны, где большинство меня даже и не видело — только слышало голос. И стихи надо было читать как можно проще, и на вопросы отвечать — понятно, не умничая, выбирая простые слова, как делаю я сейчас по-английски. Потому что мой теперешний английский словарный запас равен их среднестатистическому русскому, хотя и сидят по лагерям люди, способные цитировать Омара Хайяма, но большинство все-таки полуграмотно. И все-таки читаю:

<sup>20</sup> Политический заключенный — заключенный, отбывающий наказание, в деле которого присутствует явная политическая составляющая, например, оппозиция действующей власти.

Моя тоска — домашняя зверюшка:  
Она тиха и знает слово «брысь».  
Ей мало надо — почесать за ушком,  
Скормить конфетку и шепнуть: «Держись!»  
Она меня за горло не хватает  
И никогда не лезет при чужих.  
Минутной стрелки песенка простая  
Ее утешит и заморозит.  
Она ко мне залезет на колени,  
По-детски ткнется носом и уснет.  
А на мою тетрадь отбросит тени  
Бессмысленный железный переплет.  
И только ночью, словно мышь в соломе,  
Она заводится — и в полусне  
Тихонько заскулит о теплом доме,  
Который ты еще построишь мне.

Читаю. Groш мне цена со всеми моими стихами, если вот эти меня не поймут: достаточно уже нас было — «страшно далеких от народа»! Читаю, уже не выбирая: и про недостижимое бархатное платье, и про примерную родину-мать, казнящую лучших своих детей, и про кошку, умеющую летать...

Баба Тоня опять плачет. Отсморкавшись, достает откуда-то из узла сморщенное яблоко.

— Покушай, доченька, ты молодая. Мне уж все равно в лагере помирать, а ты живи. Ты пиши!

Беру мой первый гонорар — еще теплый от ее руки. Напишу, баба Тоня! Если только выживу — обязательно напишу.

Сантименты, впрочем, справедливо наказуемы — как и все тенденции красить что бы то ни было одной краской. Тюремная администрация норовит окрасить всех зэков в серый цвет — хороша бы я была, если бы пыталась подцветить всех в розовый! Пока мы с бабой Тоней сентиментальничали, у меня из рюкзака утянули зубную щетку — самое глупое, что я могла сделать, — удивиться, это обнаружив. Поезд все гремел всеми суставами, а разбитная веселая Варюха учила меня жить в лагере:

- Ты, главное, не зевай. Первое дело, как приедешь и в карантине<sup>21</sup> отсидишь, иди получай, что тебе положено, и сразу в каптерку закрой, а то сопрут. И когда простыни и прочее будешь сушить — от веревки не отходи: трусы не обязательно сопрут, разве только заграничные, а простыни обязательно.
- А почему именно простыни?
- Ну, смотри сама! Тебе их положено три на все время. Дадут хорошо если две. Койки положено стелить «по-белому» — простыня сверху. И пока ты на работе — ходят рейдами, проверяют, чтобы она была чистая и немтая. Так эта простыня и называется — «рейдовая», на ней и не спит никто, это только для начальства. На все про все тебе остается одна простыня — и под низ, и наверх, и в стирку, а следующие дадут года через два. Как тут не пойдешь не сопрешь?
- Так если всем у всех тянуть, все равно на каждого останется по две?
- Не, это только на первое время. Есть долгосрочницы, они несколько раз получали. У них по пять, по шесть. Уходит она — оставляет кому-нибудь. Ты потом устроишься, ты грамотная. Будешь помиловки всем писать, тебе всего натащат.
- Это как — помиловки?
- Ну, прошения о помиловании, на Валентину Терешкову<sup>22</sup> или на правительство. Мол, раскаиваюсь, осознаю свое преступление, прошу сбавить срок. Все так пишут.
- И помогает?
- Ни хрена не помогает, особенно если на Валентину Терешкову. Она вообще стерва,

<sup>21</sup> Карантин — специальное отделение для заключенных, поступающих в стационарную тюрьму. Время содержания в карантине, как правило, составляло две недели.

<sup>22</sup> Терешкова Валентина Владимировна (1937) — первая в мире женщина-космонавт. В 1968—1987 годах возглавляла Комитет советских женщин.

это же она зэковскую форму ввела и нагрудные знаки.

— Как так?

Тут уже начинает галдеть все купе, да и соседи подают эмоциональные реплики. Потом я еще и еще буду убеждаться во всеобщей зэковской ненависти к председателю Комитета советских женщин Валентине Терешковой. Ну хоть бы раз за четыре с лишним года отсидки услышала я о ней что-то хорошее! Мне, конечно, поначалу совершенно непонятно — почему. Из объяснения, которое мне наперебой дают десять-двенадцать человек (все из разных тюрем и лагерей — сговор исключен), вырисовывается примерно такая история.

Раньше все зэки были в своей одежде — и при Сталине, и при Хрущеве. Хрущев даже отменил было нагрудные знаки. Женщины, к тому же наголо не бритые, в хрущевское время совсем были похожи на людей. В зонах даже мануфактура продавалась — шили себе что хотели. Пока Валентина Терешкова не посетила Харьковскую зону. Начальство, конечно, на полусогнутых, зэчек выстроили. И тут наша Валя развернулась:

— Как так, — говорит, — некоторые из них одеты лучше меня!

Нашла, кому позавидовать. И пошла возня — у всех зэчек все свое отобрали и ввели единую форму одежды, а уж какую одежду государство способно изобрести для заключенных — это ясно. Ввели нагрудные знаки, появиться без них — нарушение. Приказали повязываться косынками, без косынки нарушение. И в строю, и на работе, везде вообще, только на ночь снимаешь. Волосы, конечно, портятся, а что подделаешь? Сапоги эти дурацкие! На Украине еще разрешают женщинам хоть летом в тапочках ходить, а в РСФСР — нет. Теплового ничего не положено, кроме носков и телогрейки. Так и стоишь зимой на поверке в коротенькой хлопчатой юбочке «установленного образца», мерзнешь, как собака. Мужикам — тем легче, у них хоть брюки с кальсонами. Зато

теперь эстетические чувства Валентины Терешковой удовлетворены. Она может приезжать в Харьковскую зону (из нее, кстати, с перепугу сделали «показательную» и вконец замордовали там женщин всякими дисциплинарными ухищрениями). Она может приезжать в любую другую зону СССР с уверенностью, что никто не будет одет лучше нее. Все будут одеты одинаково плохо. Да здравствует коммунистическая законность! Примерно эту же историю я слышала потом от разных зэков в разных местах не менее тридцати раз.

Заклученные выражают ей свою благодарность частушками, из которых только одна не содержит впрямую нецензурных слов. Ее я процитировала выше, остальные придержу при себе, оберегая нравственность читателя.

<sup>23</sup> — Почему же на нее все-таки помиловки<sup>23</sup> пишут?

— А дуры, вот и пишут, — отвечает мне знающая жизнь Варюха. — Все на что-то надеются: то на амнистию, то на помилование. Бывает, что и милуют под какой-нибудь праздник — так одну на сто тысяч. Я этих помиловок сроду не писала, а других дур хватает.

Ну да, примерно о том же писал Солженицын.

<sup>24</sup> Цитирую по возможности близко к тексту. Вагон загорается интересом: а еще чего он писал? Весь «Архипелаг ГУЛАГ»<sup>24</sup>, конечно, не перескажешь, но кое-что излагаю по памяти. Конвойный (смена уже опять поменялась) говорит:

— Помолчи, сейчас начальник ходить будет.

И он же, когда начальник прошел:

— Ну давай, что там дальше?

Даю. Кому же это еще и давать, как не вам, ребята в форме — зэковской ли, солдатской... Ведь не все же вы пожизненные воры и бандиты! У всех у вас жизнь покалечена, но душа-то осталась. Каково

<sup>23</sup> Помиловка (жарг.) — прошение о помиловании.

<sup>24</sup> «Архипелаг ГУЛАГ» — художественно-историческое произведение А. И. Солженицына о политических репрессиях в СССР в период с 1918 по 1956 г. Книга состоит из трех томов и семи частей.

ей теперь, этой душе, с малолетства запущенной в машину лжи и насилия? Хорошо бы ей все-таки выстоять, а есть ли шансы? Я все-таки надеюсь, что есть.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

<sup>25</sup> Пересыльная тюрьма в Потьме<sup>25</sup> — препаршивое место, хотя, наверное, хороших пересылок не бывает. Меня, спохватившись, снова отделяют, и опять я одна в камере. Камера большая и гулкая. Коек нет — сплошные деревянные нары в два яруса. Наверху зарешеченное оконце. Стекло выбито. Отопительный сезон кончился в начале апреля, а сейчас середина. Кое-где еще лежит снег. Ох, и мерзнуть же мне в этой камере! Но я еще не представляю себе — как мерзнуть. В камере кран, что само по себе уже роскошь. Но у этой роскоши протекает труба, и на цементном полу непросыхающая лужа. Поперек я ее могу перепрыгнуть, а вдоль — нет. Это, конечно, гарантирует камере стопроцентную влажность: носовой платок, который я тут же стираю, так и не высыхает до моего следующего этапа. Вся моя одежда за пару часов пропитывается влагой. Доблестно стучу зубами, рифмуя «канализацию» с «цивилизацией». Но слышу и какой-то другой стук: это по отопительной трубе. Меня, стало быть, вызывают на связь. В поезде меня научили, как это делается: приставляешь дном пустую кружку к трубе, а сверху — ухо, и все слышишь. А чтоб говорить — орешь в эту же пустую кружку, приставленную к трубе.

— Шестнадцатая, шестнадцатая, упали на трубочку!

Ну да, это меня.

— Говори!

— Ты напиши домой письма, отсюда можно

<sup>25</sup> Потьма — поселок в Zubovo-Полянском районе Мордовии. В Потьме находился пересыльный пункт, куда доставлялись заключенные для дальнейшего распределения по колониям.

переправить. Держи при себе, нас на один поезд завтра будут грузить, ты нам сразу перекинь. Все будет как надо. И знаешь что, отдельно стихи запиши, девочки просят. Не бойся, нас по стихам не шмонают. У меня вон тетрадка со стихами уже два года, и ее даже не читал никто. Пиши давай. Конверты у тебя есть?

— Есть, спасибо.

— Не поняла?

— Спасибо!

— А-а... Ты, когда на трубочке, говори медленно, а то не понять. Ну все, пока.

Писать или не писать? Стихи — бог с ними, пускай идут как идут. Но вот письма... Насколько можно положиться на этих моих случайных попутчиц? Среди них всякие бывают: одна действительно как-то ухитрится переправить, из чистой эковской солидарности, другая в надежде на поблажки понесет в оперчасть... Разговор был «по трубочке», в глаза не заглянешь. Ну, допустим, передадут — какой адрес писать? Домашний, ясное дело, нельзя — КГБ просматривает всю почту. Надо, стало быть, на не очень заметных знакомых, чтоб они передали Игорю. Адреса у меня есть, зазубрила в свое время. А написать бы надо: процесс у меня был даже по советским понятиям неслыханный, с нарушением всех мыслимых юридических норм. И права на защиту меня лишили, и последнего слова. Никого, кроме гебистского «наполнителя», в зал не впустили, так что они не стеснялись. Была не была — рискну! Даже про холод забываю. Пишу, припоминая все: имена следователей, судьи, заседателей, кассационной комиссии... Ах, жаль, нет копии приговора — там есть места изумительной красоты!

Готово мое письмо, заклеен конверт, надписан адрес. В письме описание следствия и процесса и просьба передать это все Игорю. А дальше уж его доля риска: как он это все обнарудует? Если, конечно, он вообще до сих пор на свободе...

Это письмо ушло и попало по адресу. Игорь был на свободе и узнал о существовании письма от общих с адресатом знакомых, но самого письма так никогда и не получил. Не отдал его адресат и мне после моего освобождения. То ли держит его до сих пор у себя, то ли отнес в КГБ этот человек с высшим образованием, никогда не судимый и не сидевший. Если сравнивать его моральный уровень с теми «блатняшками», которые все-таки переправили письмо едва знакомой и малопонятной политички, — вывод печален. Но и достаточно типичен. Я не пишу имя этого человека — не потому, что он бывал у нас гостем и ел с нами хлеб, и не потому, что у него двое детей, которые носят его фамилию. Просто книга — не место для сведения счетов. Да и стоит ли выделять его одного? Мало ли у нас таких?

Теперь стихи. Переписать для девчонок десятка полтора мелким почерком — не номер, трудно другое: на каждой пересылке я восстанавливаю оглавление, а уходя на этап — сжигаю. И снова по памяти восстанавливаю на следующей пересылке. Мне удалось припомнить сто двадцать стихотворений, написанных до ареста, и под следствием я написала сорок четыре. И одно в Лефортовской тюрьме начала, сейчас надо бы кончить. Но каждый раз при восстановлении обоих списков одно какое-нибудь упорно не хочет вспоминаться — каждый раз другое. Это мучительнее, чем незалеченный зуб, — иногда полдня промаешься, пока все вспомнишь. А сейчас вот — полночи. Хотя что бы мне иначе делать этой ночью? Постели не дали, одежда сырая, а лужа на полу по краям берется ледком. Не поспишь! Каждые минут двадцать я начинаю скакать через эту лужу: для моциона и для обогрева. По очертаниям она похожа на Средиземное море, и даже рельеф вокруг нее, созданный бетонными неровностями, более или менее соответствует. А вот климат подкачал...

Нудно капает вода из трубы. Нары, железная дверь и стены. Как вы думаете, какие стены в камере

потьминской пересыльной тюрьмы? Белые? Серые? Казенного зеленого цвета? Ошибаетесь — серебряные! От пола до потолка алюминиевой краской... Это производит вначале совершенно дикое впечатление: сидишь в серебряной клетке. Почему в серебряной? Почему тогда не в золотой? Белят или мажут гнусно-гороховой краской не думая: такова палитра всех советских учреждений — от школы до тюрьмы. А ведь тут какой-то непостижимый полет мысли! Я ломала себе голову так и эдак, но никакого объяснения этому тюремному дизайну не нашла. Объяснение совершенно случайно я получила через полтора года: алюминиевая краска считается предохраняющей от клопов! Потьминским клопам, впрочем, на эти ухищрения наплевать — они там здоровые, активные и упитанные. Мне легче представить себе, что из этой тюрьмы можно извести всех зэков и всю охрану, чем клопов. Но когда я получила это, хотя совершенно идиотское, объяснение — мне стало как-то легче. Воистину мы живем в мире загадок. На стенах обычные тюремные надписи: «Танюша, жду тебя на 14 зоне», «Уезжаем на двойку. Катя Люба, 14.03.83». А вот непонятное: «Маша — змея», «Пион».

Почему «пион»? И почему «змея» — не очень обычное для зэков ругательство? Было бы что попроще и поглубже — я бы не обратила внимания. А так запомнила, и в награду следующим летом пришла разгадка. Оказывается, есть около сотни стандартных зэковских аббревиатур, непонятных постороннему читателю. И Машу эту никто не собирался ругать, и никакая она не змея, а Звездочка Моя Единственная Ясная. А надпись ПИОН означает вопль души: Проснись, Ильич, Они Наглеют! Той самой наивной зэковской души, которую учили в школе, что Ильич был «самый человечный человек» и, соответственно, никогда не наглед.

Не всегда аббревиатуры складываются в слова. И если вы, читатель (не дай бог, конечно),

когда-нибудь прочтете на тюремной стене рядом со своим именем ЛТБЖ — это будет означать просто-напросто: Люблю Тебя Больше Жизни. Это не труднее запомнить, чем КГБ.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

Ну, наконец, последний этапный шмон! Цивильные мои одежды отобрали, оставив, правда, колготки и шерстяной платок. Прапорщица, что шмонает, оказалась не вредная. Зовут ее Люба. Про платок она объясняет, что вообще-то не положено, потому что клетчатый. Так что она его пропустит, а я потом раздергаю его на нитки, а из ниток можно связать носки. Носки и цветные не отнимут. Дает мне два ситцевых платица — вот и вся моя эковская одежда. Телогрейка и сапоги у меня «установленного образца», так что их она пропускает. Потом, поколебавшись, сует в мои вещи трикотажные спортивные брюки, которые пять минут назад сама же конфисковала.

— Бери, только не показывай никому.

Она маленькая и полненькая, форменная юбка заминается на животе херувимскими складочками. Улыбается мне всеми своими стальными коронками:

— Ну пошли, ваши там уже ждут не дождутся.

Обедать без вас не садятся.

Странный переход между «ты» и «вы».

Оказывается, с политичками все выдрессированы на «вы» — они строгие и тыкать себе официально не позволяют. Но все ведь люди, и есть у зоны с дежурнячками и мелкие частные разговоры. Вот тогда можно и на «ты», если это не конфликт. Но это потом оказывается, а пока я делаю себе эту отметку в памяти и топаю за Любой к деревянному забору с воротами. Вот она, политическая зона! Кого-то я там встречу?

Люба тихо чертыхается над ключами и огромным замком, и наконец все ворота скрипят, сотряса-

ются и отворяются. Колючая проволока. Дорожка к деревянному домику. Вид у домика более чем неофициальный: этакая дачная развалюха. Зато по ту сторону колючей проволоки — вполне официальная будка с автоматчиком. Вокруг домика несколько берез, и кое-где уже пробилась трава. Вот и все. Здесь мне и быть еще шесть лет и пять месяцев — по эту сторону ворот, на этом пятачке. По дорожке ко мне уже идет худенькая женщина с седыми волосами. Что-то есть в ее лице покоряющее сразу и навсегда. Как ее могли судить, глядя ей в глаза? Что они чувствовали?

— Здравствуйте. Давайте ваши вещи.

Почти без улыбки смотрим друг на друга, но «почти» это тает, тает... Вот растаяло совсем: сложная вещь — первый зэковский взгляд!

Она несет к дому мой тощий узелок, хоть и вдвое старше меня. Так здесь принято встречать гостей, а я сегодня гостя. Люба с нами в дом не идет, поворачивает обратно. Это надо почувствовать: все, никакой охраны! Охрана за колючей проволокой, а здесь только мы — в нашем доме. С большим напряжением сознания закрываю за собой свою дверь: разучилась...

<sup>26</sup> Темноволосая, страшно истощенная девушка с горящими глазами — Таня Осипова<sup>26</sup>. Она только-только вернулась после четырехмесячной голодовки.

Маленькая улыбчивая Рая Руденко. Такое лицо можно встретить в любом украинском селе — так и хочется повязать ей платок с перевитыми на голове концами!

Тоненькая до прозрачности Наташа Лазарева, с клоком волос, спадающим на лоб.

<sup>26</sup> Осипова Татьяна Семеновна (1949) — участник правозащитного движения в СССР, диссидент. В 1981 г. была приговорена по ст. 70 УК РСФСР (антисоветская агитация) к 5 годам заключения и 5 годам ссылки. Наказание отбывала в колонии строгого режима в Мордовской АССР. Находясь в заключении, участвовала в десятках голодовок и забастовок, подвергалась за это наказаниям. Была освобождена в сентябре 1986 г. и отправлена в ссылку в Костромскую область, где отбывал ссылку ее муж. В 1987 году Осипова и ее муж были освобождены из ссылки.

27

А та, что меня ввела в дом, женщина с удивительным лицом, — Татьяна Великанова<sup>27</sup>. Вот они — те, о которых я столько раз слышала по радио! Мое имя им ничего не говорит: и сидят они не первый год, и по радио меня не так-то часто упоминали. Мой срок говорит им одно: раз столько дали — значит, судили на Украине. Подтверждаю. Рассказываю о своем деле. Это уже какая-то информация. А бог с ней, с информацией — все станет ясно само собой, в свое время. Сидеть нам вместе годы, и за эти годы мы все будем знать друг о друге — даже больше, чем следовало бы. А пока рассказываю, что там, на «свободе», хотя самые важные из моих новостей семимесячной давности. Мне рассказывают историю зоны: это ведь теперь и моя история. Знакомят с исторической личностью, кошкой Нюркой. Она тоже член семьи, живет тут чуть не дольше всех и кормится из нашего пайка. Вообще-то заключенным кошек не положено, как и других животных. Но другие животные, а именно крысы — об этом ничего знать не хотят и объявили Малую зону своей резиденцией. Они доходили до такой степени наглости, что замучили не только наших женщин, но и охрану: попробуй обыщи тумбочку, если там сидит крыса. Хорошо, если выскочит и шмыгнет между ног под твой же испуганный визг, а ну как тяпнет из темноты за палец? И потому, когда наши раздобыли котеночка из уголовной больницы, администрация сочла за благо этого не заметить. Котеночек вырос в кошку Нюрку, даму солидную и к крысам строгую, не говоря уже о мышах. Подполье зоны моментально присмирело, а Нюркиных котят за милую душу разбирали наши же дежурнячки, надзирательницы: у котят была хорошая наследственность плюс Нюркино воспитание, и все они были крысоло-

27

Великанова Татьяна Михайловна (1932—2002) — участник правозащитного движения в СССР, диссидент. В 1969 г. стала одним из основателей первой в стране правозащитной организации «Инициативная группа по защите прав человека в СССР». 1 ноября 1979 г. Татьяну Великанову арестовали по обвинению в «антисоветской пропаганде». В августе 1980 г. приговорена к 4 годам лишения свободы и 5 годам ссылки. Заключение отбывала в Мордовии, ссылку — в Западном Казахстане. Освобождена из ссылки в 1987 г.

вы. Жму Нюркину вежливую лапу. Глаза у нее желтые и, как положено, загадочные.

Мы пытаемся определить ее породу, хотя беспороднее кошку трудно себе представить. «Мордовская сторожевая», — предлагает Наташа, и так оно и остается. И опять разговоры, смех, счастливая путаница. Я действительно счастлива: это мой дом. Это мои друзья. Все они заморены, одеты в какую-то рвань, но как держатся! Все между собой на «вы», хотя и давно знакомы. Эта дистанция необходима, когда живешь в такой тесноте. Подчеркнутая вежливость обязывает не раздражаться по мелочам, не лезть друг другу в душу, не делать тех ежеминутных зэковских ошибок, которые обращают в ад уголовные лагеря.

— Не так страшна тюрьма, страшны люди, — говорила мне на этапе пожилая тетя Вера.

Здесь, в нашей зоне, люди не страшны — именно потому, что люди. Пусть мы все сбиты в один барак, пусть нищенски одеты, пусть приходят с обысками и погромами — мы люди. Нас не заставят стать на четвереньки. У нас не принято выполнять издевательские или бессмысленные требования администрации, потому что мы не отрекаемся от своей свободы. Да, мы живем за проволокой, у нас отобрали все, что хотели, отгородили от друзей и родных, но пока мы не соучаствуем в этом всем сами — мы свободны. А потому каждое лагерное предписание подвергается нашей проверке на разумность. Вставать в шесть утра? Почему бы нет. Работать? Да, если не больны и не бастуем, почему бы не шить рукавицы для рабочих — дело чистое и честное. Выполнять норму? Это уж зависит от того, до какого состояния вы нас доведете: будут силы — пожалуйста, нет — не обессудьте... Носить зэковскую одежду? Все равно у нас другой нет, а прикрываться чем-то надо. Но вот расчищать для вас запретную зону мы не пойдем: ни прямое, ни косвенное строительство тюрем и лагерей для нас неприемлемо. На тюрьму не работаем — это уже ваше сторожевое

дело. Запрет дарить или отдавать что-нибудь друг другу? Это не ваше дело, надсмотрщики и кагебисты, — и дарить будем, и на время давать, а надо — так последнюю рубашку снимем и отдадим, вас не спросясь. Вставать по стойке «смирно», когда входит начальство? Во-первых, вы нам не начальство, а ваша тюремная иерархия нас не интересует — мы не ваши сотрудники. А во-вторых, это мужчинам по правилам хорошего поведения следует вставать перед женщинами, а не наоборот. У вас другие нормы поведения? Да, мы уже заметили, трудно было бы не заметить. Но мы уж останемся при своих: с вашего разрешения или без такового. Конечно, за это будут расправы, мы знаем. Но так мы не потеряем своего человеческого достоинства и не превратимся в дрессированных животных.

Когда собака прыгает через палку, палку поднимают все выше и выше постепенно... Когда собака лижет руку, ее заставляют лизать еще и сапоги, вот такие, как вы, и заставляют... Но мы не собаки, и вы нам не указ. Извольте знать.

Извольте обращаться с нами вежливо и на «вы», иначе мы не ответим, и вы будете до хрипоты вещать что вам угодно в пустоту — мы вас даже не будем замечать. Не приставайте к нам с вашими политчасами, докладами и прочей пропагандой — мы просто выйдем из дому и не будем вас слушать. И скажет безнадежно молодой офицер Шишокин:

— Лучше иметь дело с двумя сотнями урок, чем с вашей Малой зоной.

А собственно, почему? Мы всегда вежливы — и с вами, и между собой. Драк и воровства у нас нет, в побеги не уходим. Рукавицы — и те шьем добросовестно, ноль процентов брака. Короче, живем как люди — охране никакой работы.

— А потому, — объяснит нам откровенный Шишокин, — что, когдаходишь в уголовную зону, власть чувствуешь.

28

Это верно, золотые слова. Вот что им дороже всего — власть! Пусть дерутся, матерятся, насилуют друг друга, исподтишка ломают станки, опускаются до последней степени. Зато он, Шишочкин, всем им начальник, и когда он входит — все навывтяжку. А мы от него независимы, хоть он может лишить нас на месяц ларька или добиться, чтоб любую из нас отправили в карцер<sup>28</sup>, по-здешнему — ШИЗО. И это прямо-таки развивает у него комплекс неполноценности, да и не у него одного. Но мы-то тут чем можем ему помочь! Мы не психиатры, да и комплекс этот, по всему видно, был у него и раньше. Что другое может заставить человека добровольно пойти в тюремщики, кроме желания самоутвердиться за счет бесправных людей? Нет, дорогие, тут вы не посамодержавствуете! Не зря никто из вас не выдерживает нашего взгляда.

Эти принципы зоны я принимала как законное наследство: они пришлись как раз по мне. Я все их соблюдала и раньше, в том страшном одиночестве в тюрьме КГБ — частью инстинктивно, частью по здравом размышлении. Не для того я сижу, чтобы кому-то удалось выбить из меня свободу вести себя по-человечески. Высокие слова? Грош им цена, если они не подтверждаются поступками. А если бы мы дорожили больше всего на свете своей шкурой — то и вообще не оказались бы в политзаключенных: покорно лизали бы по месту прописки положенный сапог и называли бы это «быть на свободе»... Теперь-то я уже не одна, а среди своих. Какое счастье!

Однако зона ставит передо мной проблему, с которой я раньше не сталкивалась, — нагрудный

<sup>28</sup> Карцер, или штрафной изолятор (ШИЗО), — отделение исправительного учреждения (тюрьмы, колонии), где находились камеры для нарушителей режима. Перед отправкой в ШИЗО заключенному зачитывался приказ, в котором указывались совершенные им нарушения. В ШИЗО запрещались свидания, телефонные разговоры, получение посылок и передач, приобретение каких-либо продуктов, курение, запрещалось приносить с собой еду и личные вещи, за исключением предметов первой необходимости. Вплоть до 1988 г. существовала пониженная норма питания. Питание осужденным предоставлялось через день.

знак. На этапе, конечно, видела — но на других. Что это такое? На первый взгляд невинная штучка — прямоугольник из черной ткани, а на нем — фамилия, инициалы и номер отряда. Какого отряда? Я вроде бы ни в каких отрядах и организациях не состою — вот разве только член международного ПЕН-клуба, с моего ведома и согласия. Организации и отряды дело добровольное для свободных людей. Ну тут моего согласия никто не спрашивает: лагерная администрация растасовывает всех заключенных по отрядам, а у отрядов — номера... Нагрудный знак этот положеношивать на одежду и всегда носить на себе. Якобы для того, чтоб легче распознать, кто есть кто. Что за чушь! В зоне — четыре человека, я пятая. Бывали и будут времена, когда в нашей зоне больше десяти — но немногим больше. Каждая собака в Барашеве (так называется наш лагерный поселок) знает нас в лицо и со спины. Отряда мы никакого не составляем, нам это ни к чему. Так зачем же? А по закону положено! Что же, нашью я на себя это нагрудный знак или не нашью?

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Этот вопрос задают мне союзицы на второй же день, выйдя со мной предварительно из дому. В доме вмонтирована подслушивающая аппаратура, и все серьезные разговоры, не предназначенные для ушей администрации, мы ведем снаружи. А в доме, если срочно нужно, пишем на бумажке. Бумажку потом сжигаем. Но сейчас погода хорошая, а разговор долгий — так что сидим на земле, на расстеленных телогрейках. Мне не навязывают решения, меня просто предупреждают заранее: завтра понедельник, придет начальница того самого несуществующего отряда, старший лейтенант Подуст, и приступит ко мне с нагрудным знаком. Так что лучше мне заранее все обдумать и решить, чтобы потом ни о чем не жалеть. Я-то знаю, что Малая зона

нагрудных знаков не носит: это одно из тех самых издевательских и бессмысленных требований. Но мы ведь не отряд, и лично меня традиции зоны ни к чему не обязывают — это дело моей совести. Никто из моих новых друзей не потребует, чтоб я вела себя так, как они, — мы свободные люди. Что говорит моя совесть? Понятно, что она говорит, я уже знаю ответ, но от меня никто не ждет ответа сию секунду. Сейчас говорит Татьяна Михайловна: мне, как и всем на строгом режиме, положено три свидания с родными в год. Одно — длинное, от суток до трех, на усмотрение администрации. Два других — обязательно с интервалом в полгода — короткие, по два часа. Эти свидания — через стол (нельзя даже поцеловаться), а между нами сидит кто-то из охраны, и если мы говорим «неположенное» — свидание прерывается. Длинное свидание я могу получить прямо сейчас. Какое это будет блаженство — хотя бы сутки в крохотной «комнате свиданий» — вдвоем с Игорем, и без посторонних! И как мне нужно это свидание, ведь в голове у меня целый новый сборник стихов — передать бы его на свободу... И как нужно зоне это свидание, очередную информацию давно пора передать. Ведь за это время что только не произошло: и четырехмесячная голодовка Тани Осиповой, и в ШИЗО почти все перебивали, и забастовка была... Об этом Татьяна Михайловна, впрочем, молчит, для таких разговоров со мной еще не время. Она объясняет мне следующее: любого из свиданий администрация может меня лишить — «за нарушение режима». Пока я еще ни в каких «нарушениях» не замечена, и приедь Игорь сегодня — по закону нам свидание должны дать. Но приедет он не раньше чем через неделю — пока получит мое письмо с адресом зоны, пока доберется... А с нагрудным знаком решится завтра, и если я его не надену, то свидания вполне могут лишить, ведь налицо «нарушение»... Раньше от Малой зоны нагрудных знаков не требовали, всем было ясно, что ни к чему. Ходили на свидания безо всяких знаков. Потом стали постепенно

закручивать гайки. Осенью назначили эту самую Подуст, а у нее эти знаки прямо пунктик: чем бессмысленнее требование, тем еще слаще. И вот уже полгода она воюет с зоной — лишает свиданий, ларька, грозит отправить в ШИЗО... Так что это мое свидание под ощутимой угрозой. А следующих, скорее всего, так и не будет — уж за год найдут, за что лишить. Вот мне и выбирать: нагрудный знак и свидание с Игорем — может быть, единственное за семь лет, или отказ от нагрудного знака со всеми возможными последствиями, да и дальние перспективы не сахар: ШИЗО есть ШИЗО. Что это такое, я прочувствую позже, а пока знаю, что это — холод, голод, грязь и никаких занятий: ничего в ШИЗО не положено. Дальние перспективы, впрочем, мало меня волнуют, а вот свидание... Родной мой, любимый, простишь ли ты меня, что я ставлю нашу с тобой встречу под угрозу? Но ты же знаешь, что мне иначе нельзя, что не должна я даже один раз прыгнуть через эту тюремную палочку... Как бы ты повел себя на моем месте? Мы ведь дали друг другу слово когда-то: в случае ареста не позволим шантажировать себя друг другом! Говорю:

— Нет, конечно, знак я не надену.

Как это все-таки иногда трудно — поступать как надо. И как это все-таки легко — разве легче мне было бы, если бы нацепила я на себя эту бирку, порадовала Подуст, получила бы свое свидание, получила бы ларек, а потом, сгорая от стыда, провожала бы в ШИЗО ту же Татьяну Михайловну, потому что у меня есть нагрудный знак, а у нее нет... Да мне бы этот нагрудный знак всю душу прожег! Таня и Татьяна Михайловна улыбаются мне. Таня:

— Ну и правильно!

Татьяна Михайловна:

— Ирочка, но вы хорошо подумали?

Дорогие мои, обо всем я подумала, и Игорь меня поймет, если что. Будем гнить в ШИЗО вместе, если уж до этого дойдет. На то и лагерь — испытание на прочность. Кошка Нюрка пробирается к нам и уса-

живается у Тани на коленях. Нюрка у нас тоже без нагрудного знака. Мурлычет у Тани под рукой и блаженно вытягивается брюхом кверху. Солнышко берется всерьез за свою весеннюю работу. Рая Руденко копается в земле, растыкивает семена — положенных нам по закону цветов и неположенных овощей. Мы, городские создания, к этой ответственной работе не допускаемся, наше дело будет потом поливать. А пока мы с Наташей Лазаревой получаем от Раечки задание — сделать деревянные колышки для будущих цветочных кустов. Их нужно много — несколько десятков. Инструментов заключенным, разумеется, не положено — кроме тех, что связаны со швейным производством. Стало быть — ни ножа, ни топора. Однако в швейном цеху есть молоток. Уж каким образом он связан со швейным производством, бог его знает, но и то хорошо. Роемся в земле, находим несколько клиновидных кремней — почва здесь каменистая. В дровяном сарае лежит пара досок. Откалываем от них колышки, загоняя в доску молотком каменный клин. Из трех попыток одна удачная, остальное идет в щепки, на растопку. Хохочем обе: неолит так неолит!

Наташа из Ленинграда, сидит за издание женского журнала «Мария», самиздатского, разумеется. Проблемы двойного женского рабочего дня — восемь часов на работе, а потом еще часов пять-шесть по очередям за продуктами, на коммунальной кухне за приготовлением обеда, над тазом со стиркой на всю семью — потом, году в 86-м, появятся в официальных советских газетах. Но в 82-м, когда Наташу арестовали, это считалось антисоветской агитацией и пропагандой. У Наташи измученные глаза и веселый рот. Шутим с ней шуточки, обдирая руки о доски. Завтра Наташа ложится в больницу: что-то у нее с кишечником от зэковской пищи. Из больницы ее выгонят за общение с хозобслужгой, лечения она никакого не получит, и до начала 84-го года ее будут объявлять симулянткой и отправят в ШИЗО. К 84-му мы коллективными голодовками добьемся для нее лече-

ния. Ее обследуют и обнаружат запущенный язвенный колит, который в лагерных условиях вылечить уже невозможно. Но пока у нас мирный, веселый день. Один из немногих спокойных дней, что нам остались. Приносят ужин — это значит, пять часов. В соленой воде плавают кусочки нечищенной, с потрохами и чешуей, рыбы и несколько картошин. Раечка берется за дело: отлавливает рыбу и картошку из бачка, чистит (лучше поздно, чем никогда), крошит все это с чесноком и экономно поливает подсолнечным маслом из пузырька: этого масла нам положено по пятнадцать граммов в день, а о сливочном на ближайшие годы лучше забыть. Салат «Малая зона» готов. Ужин легкий. «Настоящие леди после шести часов не едят», — смеемся мы. Да и нечего больше есть, так что лучше смеяться.

Таня Осипова включает телевизор. Он у нас старенький, черно-белый, конечно, и все время ломается. Его приходят чинить, и он работает еще пару дней — до следующей сгоревшей лампы. Будут потом попытки администрации вывести выключатель телевизора на вахту, с тем чтобы отключать его по своему усмотрению. Но мы с Таней замкнем нужные проводки, а администрация сделает вид, что этого не заметила, — не все тут такие, как Подуст, и плевать им в конечном счете, что и когда мы смотрим — лишь бы не после отбоя. Меры приняты — и точка, можно отчитаться перед комиссией. Но сегодня вечером нам никто голову не морочит, и смотрим мы спектакль по Ростану — добрый старый Сирано де Бержерак. Сирано умирает, и Таня плачет. Она такая, наша Таня, может плакать над фильмом или книгой, а может четверо суток отказываться от воды или пищи, одна в камере, безо всякой поддержки — пока ей не вернут отнятую Библию. И Библию как бобики приносят обратно: пятые сутки «сухой голодовки»<sup>29</sup> — верная смерть, а допустить смерть политзаключенной

29

<sup>29</sup> Сухая голодовка — отказ от принятия не только пищи, но и воды.

из-за Библии — это для них «нежелательная огласка»... Правда, поддержка Тани в тот раз была с весьма неожиданной стороны: в соседних камерах сидели уголовницы, и все они провели однодневную голодовку в поддержку Тани. Собирались голодать и дольше, но сама Таня отговорила — с уголовницами расправа проще, чем с политическими, и они были бы не в равном положении.

Мы с Татьяной Михайловной выходим посмотреть на звезды, и Нюрка увязывается с нами. Говорят, кошки не различают цветов, и я никогда не узнаю, красная Бетельгейзе и желтая Капелла для Нюрки одного цвета или нет? Мы говорим и об этом, и о биополе, и о странной неприязни Татьяны Михайловны к мультфильмам, и о тех, кто на свободе: им сейчас труднее, чем нам. У нас-то сегодня все спокойно, а они там за нас переживают. А пока напишешь письмо, пока оно пройдет цензуру и дойдет — ситуация, может быть, поменяется. Они будут думать, что все в порядке, а нас распахнут по камерам штрафного изолятора — ШИЗО. Письма про ШИЗО, впрочем, цензура не пропускает: «Никаких упоминаний про наказания!» Они такие застенчивые, наши гебисты: мордовать нас они готовы до бесконечности, но так, чтоб об этом никто не знал и чтоб мы сами скрывали, а то письма не пропустят. Нет уж, дорогие, мы сделаем так, чтобы все знали, что происходит в нашей зоне. Лишайте нас свиданий, перекрывайте переписку — информация все равно дойдет куда надо и когда надо. Как? Это уже наши зэковские секреты. Я бы написала о них для порядочных людей, но, как знать, может быть, эту мою книгу будут читать и гебисты... Не обижайтесь на меня, порядочные люди: меньше знаешь — крепче спишь.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Наутро Раечка Руденко начинает хлопотать, чтобы как-нибудь меня приодеть — выданные мне два ситцевых платья явно не по сезону. Сейчас апрель, а последние заморозки будут в июне. Это сколько еще стучать зубами? Но оказывается, с политичками всегда недоразумения: наша зона «аппендицит» при больнице, а в больнице никого не одевают. Так что для нас законное зэковское обмундирование не предусмотрено: одно дело, когда надо одеть две-три тысячи человек, а другое — когда пятерых. Пихают, что завалилось на складе, и вечно чего-нибудь не хватает. В этом и минусы: все твое отобрали, а казенное — где взять? В этом и плюсы: прикрываться все же чем-то надо, и администрация иногда смотрит сквозь пальцы на одежду «неустановленного образца». Можно состряпать себе что попало из того, что найдешь в зоне (вплоть до ткани, из которой шьют матрацы), и — куда администрация денется, где она тебе найдет взамен то, что положено? Поневоле терпят, а мы пользуемся: неудобнее и уродливее «установленного образца» трудно что-нибудь сочинить. Так что в итоге мы одеты приличнее обычных зэчек.

Года за полтора до моего приезда нашим почему-то выдали «железнодорожные» платья-костюмы из плотной хлопчатки. На них металлические пуговицы с перекрещенными винтовками. Чья это форма попалась зоне, остается только гадать. Запасливая Раечка (она у нас дневальная) прибежала одну такую робу, когда кто-то уезжал в ссылку, — «для тех, кто приедет». Я могу два раза в нее завернуться, значит, полная свобода фасона: материала хватит. Смешно, казалось бы, где уж тут думать о фасоне! Кто нас увидит? Да и я сама себя не увижу: самое большое зеркало в зоне — по размеру с десертную тарелку. А вот поди ж ты, женщина — везде женщина. И я обдумываю свою будущую юбку — четырехклинки или шестиклинки? — со всей

серьезностью. Ну, может быть, не со всей серьезностью: ведь сама же смеюсь. Но тем не менее...

<sup>30</sup> С большой охотой берусь переделать такую же робу<sup>30</sup> для Раечки. На свободе я немножко шила (поди найди что-нибудь приличное за мои копейки!), и сейчас пальцы истосковались по иголке.

В тюрьме КГБ с иголками-нитками были сложности: то их давали только на пятнадцать минут, отмеривая нитку по полтора метра, то вообще запретили. Протерся у тебя носок (а конечно, протрется, когда шнурки из обуви конфисковали) — сдавай тюремщикам, хозобслуга зашьет. Уж как они зашивают — понятно, бери после этого и выбрасывай. А чтоб не беспокоилишний раз со своими дырками! Так и ходила, светя прорехами во всех местах. Здесь я наконец дорываюсь: в лагере на иголки запрета нет, и даже стоят электрические машинки. Как-никак швейное производство.

Раечка, видя такой мой энтузиазм, тащит меня «в кинобудку». Когда-то раньше в зону привозили фильмы и крутили их раз в неделю. Была крохотная пристройка к дому для всего этого оборудования. Потом фильмам пришел конец, оборудование увезли, а в кинобудке валяются старые телогрейки и «бабушкины тряпки». Почему бабушкины?

А оказывается, в зоне были женщины, отсидевшие раньше по 20—30 лет, а некоторые и побольше, в других лагерях. Они из секты «истинно православных христиан» — тех еще, которые после мученической смерти патриарха Тихона официальную советскую Церковь православной не признали и новому патриарху, посаженному большевиками, не подчинились. Ушли в катакомбы, как первые христиане — христиане последние, верные убиенному патриарху и расстрелянной Церкви. Жить они жили в миру (кто б им позволил монастыри?), но с рядом ограничений: ни в каких официальных советских учреждениях не работали, советских денег и документов в руки не брали —

<sup>30</sup>

Роба — грубая рабочая одежда.

мол, это все от сатаны. Подрабатывали частным порядком у добрых людей, а те платили им хлебом и одеждой, которая самим не нужна. Для государства они, конечно, были злостными нарушителями паспортного режима, уклоняющимися от трудовой повинности, да еще к тому же незарегистрированными верующими. Ясно при этом, что получали срок за сроком. А в лагерях, опять же, на работу не выходили.

Значит — не вылезали из карцеров. Сколько их умерло по лагерям, никто, кроме КГБ, не знает. А некоторые выжили, вот из них-то и были наши «бабушки». Так их называли в зоне — в большинстве они были уже старые и больные. Для прочего зэковского населения и для охраны — на всех этапах и пересылках — были они «монашки». И нас потом по инерции так называли:

- Откуда едешь?
- С «тройки», с политической зоны.
- А-а, монашка, значит...

Запомнились им, видно, эти тихие, но упорные, вежливые женщины. Да и как не запомнить: нормальная зэчка, если что не так, изматерила бы с ног до головы, а эта:

- Прости тебя Бог, сынок!

Но даже освобождаясь после очередного срока, справку об освобождении в руки не возьмет. Так и уйдет без единой бумажки, на новый верный срок. И с ее точки зрения, это нормально: а как же, она за Господа страдает. А ненормальные как раз мы все — сатане покоряемся и власти сатанинской, только чтобы отстали и не мучили. А где ж это видано, чтоб сатана отстал? Он только пуще возьмется, дальше в душу влезет... Такая была и остается их логика. Некоторые из них еще живы, сидят по ссылкам. У наших «бабушек» некоторых уже и ссылка кончилась, но снова в зону они не приехали: таки отстал сатана, отчаялся. А другие еще сидят по лагерям — с ясными лицами, готовые умереть за Господа — нет чести выше.

31 — Сколько их, Международный Красный Крест<sup>31</sup>?  
Молчат. Не знают, да и откуда же знать.

32 — Сколько их, Amnesty International<sup>32</sup>?  
Молчат. Тоже не знают.

— Сколько их, официальный советский Патриарх всея Руси Пимен?  
Молчит. Но вполне может и не знать: «истинно православные» — не по его ведомству, так стоит ли беспокоиться?

— Сколько их, КГБ СССР?

Молчат. Эти-то знают, да не скажут.

А у нас в зоне они были, человек восемь, и последними из них досиживали баба Маня и баба Шура, потом и их отправили в ссылку. Баба Маня, по рассказам, была кроткая и ласковая. Увидит на листке букашку и радуется, как это Господь все подробно устроил и до чего же всякое Божье творение красиво. Баба Шура была посуровее и время от времени «обличала». Выходила и говорила обитательницам зоны, что в грех они впадают регулярно — и телевизор смотрят, и некоторые курят, и о молитве забывают, безобразия! Обличала она, впрочем, не от склочности характера, а по обязанности, и не чаще чем раз в два-три месяца. Объясняла это так:

— А вот спросит меня Господь: «Грешила ли?» Я, допустим, скажу: «Почти нет». «А вокруг тебя грешили?» Я, значит, отвечу: «Да, грешили». «А куда же ты смотрела? — спросит Господь. — Что ж не обличала?» Вот и обличаю, мне иначе никак нельзя, уж простите Христа ради.

31 Международный Красный Крест (Международный комитет Красного Креста) — международная гуманитарная организация, осуществляет свою деятельность, исходя из принципа нейтральности и беспристрастности, предоставляет защиту и оказывает помощь пострадавшим в вооруженных конфликтах и внутренних беспорядках.

32 Amnesty International (Международная амнистия) — всемирная неправительственная организация, основанная в Великобритании в 1961 г. Цель организации — предпринимать действия к сохранению прав человека на физическую и психологическую неприкосновенность, на свободу совести и самовыражения.

В зоне эти бабушки с бесконечным терпением всем все зашивали и штопали — работа потяжелее им была под старость не по силам. Самих их уже по карцерам старались не посылать: дунь — умрет. А других сажали, и бабушки, до слез их жалея, старались облегчить чем могли. В карцере, как известно, раздевают до нижнего белья, а сверху дают специальный балахон, с бальным декольте и широкими рукавами «три четверти» — чтобы мерзли. На то и карцер. Официально он называется ШИЗО — штрафной изолятор, и без холода там воспитательная работа никак не идет. С нашей зоной, впрочем, не идет она и в холоде. Но бабушки, опытные зэчки, с этим холодом боролись: сшили нижнее белье из байковых портянок, которые выдавались на зиму. Да еще и ватой изнутри подстегивали. Вместо лифчиков сооружали что-то вроде коротких жилеток. Все было многослойное, чтоб теплее; сшитое из кусочков — где же взять большие куски ткани. Так и остался нам ящик с «бабушкиным приданым». Смотрю на рубашки, сшитые из разноцветных обрезков: один — трикотажный, другой — полотняный, а вот и шерстяной квадратик где-то раздобыли и вшили. Смотрю на «нижнее белье», которому и названия-то человеческого нет, — с первого взгляда непонятно даже, какая это часть одежды. Все ношеное, много раз стираное, аккуратно залатанное и заштопанное. Иногда уж и латка протерта, и на ней — еще одна заплатка или штопка, все так же бережно и любовно: для ближнего — как для самого себя. Мало отдать последнюю рубашку — ей еще надо и жизнь продлить почти до бесконечности. И не знаю, почему подошло вдруг под горло — чувствую слезы на глазах, впервые за все время моей зэковской жизни. Родные мои, сколько ж это раз вы надевали на себя все это тряпье и отправлялись в ШИЗО? Сколько калорий тепла сберегли эти нищенские бабушкины хитрости? Какой музей XX века может выставить такие

<sup>33</sup> экспонаты? Есть лагеря-мемориалы — Освенцим<sup>33</sup>,  
<sup>34</sup> Треблинка<sup>34</sup>... Но каждой такой тряпке больше лет,  
чем проработали эти лагеря. Они прекратили свое  
существование и стали музеями. А наша зона тогда  
все стояла, и лежали в ящике бабушкины лифчики,  
ждали очередного ШИЗО. А ШИЗО ждало нас,  
и ждать ему было недолго.

Начальство, впрочем, к концу следующей  
зимы спохватилось: какое такое нижнее белье неуста-  
новленного образца? Нижнее белье женщине поло-  
жено одно — хлопчатый мешок на лямках, из той же  
ткани, из какой простыни. А все остальное — изъять  
и сжечь. А то и вправду не замерзнут. Как же тогда  
воспитательная работа? И изъяли, и сожгли. Хорошо  
хоть бабушки не знают, их к тому времени в лагере  
уже не было. Верят, наверное, до сих пор (кто жив),  
что хоть немного нас обогрели, радуются.

И пусть не знают. Может, и вам, читатель,  
знать бы этого не следовало. Все равно не осталось  
уже на свете бабушкиного ящика, и не прошибет вас  
над ним слеза. Зона наша теперь закрыта, но мемо-  
риал там будет нескоро.

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

А между тем наша зона доживала последние  
спокойные дни. Все мы это понимали, и тем слаще  
было майским вечером копаться на грядках, которые  
тогда еще не запрещали, втихаря загорать, пользуясь  
тем, что автоматчик с вышки не просматривал части  
зоны (наш дом заслонял ему обзор), писать письма  
(два в месяц!), которые тогда еще доходили, а не кон-  
<sup>35</sup> фисковывались<sup>35</sup> все подряд. Прошло уже мое двух-  
суточное свидание — дали все-таки, несмотря на от-

<sup>33</sup> Освенцим — комплекс немецких концлагерей и «лагерей  
смерти» в Польше в годы Второй мировой войны. В 1947 г. на территории  
бывшего концлагеря Освенцим был создан музей.

<sup>34</sup> Треблинка — немецкий концентрационный «лагерь смерти»  
в Польше в годы Второй мировой войны. На месте концлагеря был соору-  
жен памятник-мавзолей и символическое кладбище.

каз от нагрудного знака! Провез Игорь через все обыски с этого свидания хронику зоны за последнее время да мой первый тюремный сборник стихов, и блаженное чувство оправданности моей жизни в тюрьме КГБ и первых недель в лагере носило меня над землей. Но уже ощутимо сгущалось: начальница отряда Подуст вилась вокруг нас осой, приходила каждый раз с придирами.

- Почему белье висит в рабочем цеху?
- Третий день дождь, где же его еще сушить? Снаружи не развесишь.
- Не мое дело, где сушить, а в помещении не положено. Хоть не стирайте, а режим соблюдайте!
- По правилам внутреннего распорядка заключенные должны быть всегда чисты и опрятны (это вступает наша законница Таня Осипова).
- А вы, Осипова, и вы, Великанова, вообще готовьтесь к ПКТ<sup>36</sup> за то, что дурно влияете на других!

36

ПКТ — это помещение камерного типа, иначе говоря — внутрилагерная тюрьма. Засадить туда по нашим гуманным законам можно на полгода, питание там «по ограниченной норме» — то есть хроническое недоедание, письма — раз в два месяца, свидания отодвигаются на все время ШИЗО и ПКТ. Дали тебе полгода — на полгода в неопределенное будущее и уедет твое свидание — то, которое и без того раз в год. Ну и конечно, холод и грязь, та же камера, что и ШИЗО, с той только разницей, что спецбалахона нет. Можно в своей зэковской одежде, и то десять раз обыщут, не поддела ли под блузу что-то теплое? Короче, милая перспектива.

<sup>35</sup> Конфискация — принудительное, безвозмездное изъятие в собственность государства всего или части имущества в качестве санкции за преступление либо за административное или гражданское правонарушение.

<sup>36</sup> ПКТ — помещение камерного типа. Помещение предназначено для содержания заключенных, на которых наложено взыскание за нарушения установленного порядка отбывания наказания в исправительных колониях общего, усиленного и строгого режимов.

А Подуст усердствует:

— Лазарева! Опять у вас носки в постели?

И не лень ей, едва войдя в зону, устремиться к Наташиной постели и всю ее перевероршить, охотясь за злополучными носками. И знает же, бестия, что Наташа всегда мерзнет и температурит, оттого и спит в шерстяных носках (одеяла-то у нас символические), и эти носки держит вместе с ночной рубашкой в постели, чтоб не смешивать с остальным барахлом. Потому что на двоих заключенных положена одна тумбочка — о двух полках и одном ящике. Туда — и письма, и зубной порошок, и одежду, и прочее. И хотя у нас пока по тумбочке на человека (бабушки уехали в ссылку, а «лишнюю» мебель спохватятся отобрать только через год) — все равно тесно. Ну, прикиньте сами: отберите из своих шкафов и гардеробов самое-самое необходимое, без чего никак не обойтись в ближайшие семь лет. Не забудьте пять книг (больше-то при себе держать нельзя!), письма и фотографии родных и друзей (ведь на годы), марки, конверты, пресловутое нижнее белье, пару полотенец... Э-э, многовато набрали! Записная книжка с адресами — ни к чему, все равно отберут при первом шмоне. Заучите-ка лучше наизусть! Зубную пасту — в сторону, она по режиму не положена, а вот коробочку зубного порошка — так и быть, разрешат. А чего это носки у вас красного цвета? Вот напишут на вас рапорт, как на Лагле Парек в 85-м году, и полетит ваше свидание. Нет уж, не рискуйте. Спортивный костюм? Это еще зачем? Зарядку делать? Ну, зарядка по режиму не возбраняется, хотя времени на нее специально не отведено, а костюм лучше в тумбочке не держите — вышмонают. Лучше припрячьте где-нибудь подальше. Да и с бельем не перебирайте: положено вам один комплект на себя, один на смену. Ну, припрячьте еще что-нибудь на свой страх и риск, но вообще-то могут отобрать. Ладно, кончаю придираяться. Вон у вас сколько барахла — в руках не удержите. Ну и попробуйте теперь разложить это все аккуратненько в тум-

бочку полезным объемом 30×30×70 см. Да так, чтобы Подуст не цеплялась. И не сомневайтесь: через годик вас уплотнят, и довольствуйтесь тогда половиной объема. Конечно, можете держать свои вещи и в каптерке, да только она будет на замке, и открывать ее смогут только начальствующие офицеры, которые по неделе не будут появляться в зоне. Да еще и обыщут вас на выходе из каптерки: что такое вы волочете? Не много ли? А крысы, между прочим, в этой запертой каптерке прогрызут все ваши вещи, потому как вы не сразу догадаетесь выпилить нижний угол двери для кошки Нюрки, а окна в каптерке забьют стальными листами — чтоб не было доступа...

Тут-то я и посмотрю, где будут ваши носки. Но может быть, Подуст к вам не придерется — она наметила себе в жертвы худенькую издерганную Наташу Лазареву, и не зря. Под следствием (у Наташи это был уже второй арест, а второй переживается всего тяжелей) она дрогнула. Написала покаяние, дала сделать телепрограмму со своим участием, получила тем не менее свои четыре года — но, правда, без ссылки, и КГБ готовил ее уже в стукачки на нашу зону. А тут-то резьба и сорвалась. И нагрудный знак Наташа сначала надела (потом сорвала с себя и кинула в печку), но доносить на людей, с которыми вместе баланду хлебала, отказалась наотрез. Да и кроме того, была она от природы человек непокорный и чуткий к несправедливости, а тут уже очень наглядно — кто люди, кто нелюди. Так с кем же ей быть? Все она нам честно рассказала, и мы ее прошлым не шпыняли, хотя на свободе нашлись умники, что «не простили измены». Что ж, это Христос учил прощать, а в моральном кодексе строителя коммунизма наоборот: нетерпимость и непримиримость. Широкий выбор. Но строители коммунизма из КГБ, конечно, никаких христианских чувств к Наташе не питали — так хорошо запугали, и вдруг она буксует! А ну еще пугнуть! Такую жизнь ей устроить, чтобы пятый угол искала! Вот и рвалась Подуст, как гончий пес, к Наташе, игнорируя попутно остальных.

На меня она вначале не кидалась. Конечно, приговор мой говорил сам за себя, но уж очень детский был у меня вид, и казалось ей, что внушить мне можно все что угодно. Даже попробовала у меня наедине расспросить, какие разговоры ведутся в зоне, хотя никаких оснований для таких расспросов моя биография не давала. И даже то, что я ей сразу объяснила, что думаю об этих расспросах, и отказалась с ней беседовать с глазу на глаз, не вдохновило ее на подобную травлю. Личное чувство ко мне у нее появилось уже после первых наших голодовок. А пока она упражнялась на Наташе, попутно лягая Таню и Татьяну Михайловну.

И эту ее логику можно понять. Татьяна Михайловна Великанова — член инициативной группы по защите прав человека, в правозащитном движении с 68-го года, человек всемирно известный и, стало быть, общественно вредный. А потому как ни КГБ, ни Подуст не могут и в мыслях допустить, чтобы кто-то сам до чего-то додумался (бытие ведь, по их разумению, определяет сознание), то ищут дурных влияний. Ну, на свободе, понятно — западные радиопередачи, больше советскому человеку неоткуда почерпнуть идеи о собственном достоинстве и правах. А в зоне-то приемник передает только московское радио! Значит, откуда? А это она, злобная Великанова, нас портит! Тем более что и старше всех и, безусловно, для нас — второго диссидентского<sup>37</sup> поколения — авторитет в спорных вопросах.

Таня Осипова считается «из молодых», ей в то лето только тридцать четыре года. Так зато

<sup>37</sup> Диссидент (инакомыслящий, несогласный — лат.) — лицо, активно не признающее официальную государственную доктрину или идеологию. Диссидентское движение в СССР — антисоветское, антикоммунистическое движение граждан СССР с середины 1970-х до середины 1980-х гг. Диссиденты называли себя также правозащитниками, инакомыслящими. В середине 80-х гг. диссидентское движение исчерпало себя, так как пришедшие с перестройкой плюрализм мнений и легализация многих идей диссидентства устранили общую основу их движения. Диссиденты придерживались различных политических взглядов (от марксистских до православно-националистических), но их объединяло стремление утвердить в обществе самоценность человеческой личности, обеспечить защиту ее прав.

посадили ее в 80-м году, а она до этого времени сколько успела наворотить! В одном ее обвинительном заключении — защита прав пятнадцати национальностей, это не считая прав общечеловеческих.

<sup>38</sup> И в «Хронике»<sup>38</sup> участвовала, и в Хельсинкской группе<sup>39</sup> работала, и к изучению законов имеет такую же нездоровую склонность, как Великанова. Это, пожалуй, поопаснее моих стихов. Или стихов Миколы Руденко<sup>40</sup>, за которые села его жена Раечка. Хотя, конечно, и это безобразие: ну дали ему 7+3 — поэт и к тому же член Хельсинкской группы. А она, вместо того чтобы отречься от такого отщепенца, моталась к нему на все свидания, да еще и стихи его невесть каким образом получала — и нет того чтобы отнести в КГБ! Хранила, распространяла, наизусть учила — и все сберегла, даже то, чего сам Микола не помнил.

Повезло украинской словесности — как, может быть, никогда в ее истории — ну и посадили Раечку на 5+5.

Сами видите, читатель, что за народ собрался в зоне — ну как же без строгости? И поймите солдатскую откровенность старшего лейтенанта Подуст, когда она нам заявила:

— Мое дело — не доказывать вам вашу неправоту. У меня на это и образования не хватает, и язык не так подвешен. А моя задача гораздо проще — устроить вам здесь такую жизнь, чтоб вам больше сюда не хотелось.

И устраивала по мере сил и возможностей — с той мелочностью, до которой только может дойти

<sup>38</sup> «Хроника текущих событий» — первый в СССР неподцензурный правозащитный информационный бюллетень. Распространялся через самиздат. Выпускался регулярно, в среднем раз в два месяца с 1968 по 1983 г. Всего вышло 63 выпуска. Редакторы «Хроники» подвергались гонениям со стороны государственной власти.

<sup>39</sup> Московская Хельсинкская группа — правозащитная организация, созданная 12 мая 1976 г. Члены МХГ подвергались давлению со стороны КГБ, к концу 1981 г. большинство членов было арестовано.

<sup>40</sup> Руденко Николай Данилович (1920—2004) — украинский писатель, правозащитник, руководитель Украинской Хельсинкской группы. Член совета группы Международной амнистии. В 1977 году был осужден на 7 лет колонии строгого режима и 3 года ссылки.

сытая, дорвавшаяся до власти и истомленная скукой баба. И звали мы ее за это «белокурой бестией» — других, нефашистских ассоциаций у нас почему-то не возникало. А потому мы даже не очень удивились, когда списались тайком с мужской политзоной и узнали, что ее, красивую, молодую, действительно белокурую и с большим вкусом одетую, сотня лишенных общения с прекрасным полом мужчин называют Эльза Кох<sup>41</sup>! На ту самую Эльзу Кох она показалась им похожа, которая, дрожа ноздрями от удовольствия, собственноручно порола и расстреливала в концлагере Равенсбрюк. А мой Игорь, который связи с мужской зоной почти не имел, параллельно и независимо от них назвал ее так же с первой встречи. Но, правда, она ему в первое же его посещение заявила:

— А чего вы хотите? Я же их не заставляю, как уголовниц, мне сапоги лизать...

А наверное, именно эту картину — как Малая зона лижет ей сапоги — видела в самых сладких, несбыточных снах.

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

В шесть утра — подъем. Это значит — придут дежурнячки нас пересчитывать (не сбежал ли кто?) и заодно посмотреть, не лежит ли кто в постели. У обычных зэков пересчет происходит на построении: выстраивают всех, независимо от погоды, и не спеша считают — пока не пересчитают все две или три тысячи. Иногда уже выстроенные заключенные полчаса ждут, пока пересчет начнется. Да их еще и обыскать могут прямо в строю. Со мной потом в ШИЗО, в соседней камере, будет сидеть Юля Н., которая отказалась в строю задрать блузку. Потому что начальница Кравченко заподозрила — вдруг она

<sup>41</sup> Кох Эльза (1906—1967) — немка, член НСДАП (Национал-социалистическая немецкая рабочая партия), служила в немецких концлагерях. Жена Карла Коха, коменданта концлагерей Бухенвальд и Майданек. Эльза Кох получила известность своим жестоким отношением к узникам лагерей. В 1951 году была приговорена к пожизненному заключению.

под форменную блузку надела свитер «гражданского образца»? Ноябрь-то был холодный, с морозом.

Так не вздумала ли она незаконно погреться?

Ну, неисправимая преступница и не стала на морозе раздеваться и получила девять суток (раздели ее, впрочем, все равно — силой).

У нас таких построений не бывает: и смысла нет (по пальцам можно сосчитать), и вопрос еще — согласимся ли мы строиться. А ведь каждый наш отказ исполнить очередную глупость администрация воспринимает как личное свое унижение — вот и не нарывается. Предлогов же для репрессий и без того хватает, один нагрудный знак чего стоит!

Итак, утро начинается с поблажки. Дежурнячки прогрохотали сапогами (и почему их никогда не научишь вытирать в дверях ноги?) и ушли. В следующий раз они придут часов в восемь — принесут завтрак. Это обычно каша в котелке: пшено или овес, или «анютины глазки». Так называется перловка, которая почему-то синееет, как только остынет. За синеву и название. Так ее, впрочем, зовут только в тюрьмах.

Солдаты, которые ненавидят перловку так же, как мы, называют ее «шрапнель». Овес тоже имеет свое эковское название — «и-го-го». А пшено «курочка ряба». От завтрака зависит многое: останемся до обеда голодными или нет? Казалось бы, что можно испортить в блюде, где только три ингредиента: главный — вода, потом крупа и соль? А солью-то и можно, и очень даже просто. Достаточно от души бухнуть туда соли — и мы все будем в отеках, а Раечка Руденко и вовсе сляжет (у нее большие почки). Почему мы все так легко отекаем? А это обычная реакция полуголодного человека на соленую пищу. Потом, осенью, когда порции зверски урежут, и мы будем уже не полуголодные, а просто голодные — не спасет нас и отсутствие соли — все распухнем, кто больше, кто меньше. Наша лагерная докторица Вера Александровна деликатно назовет это «безбелковый отек».

Мы, впрочем, не удивимся: что с голоду пухнут — это наш народ знал испокон веку. А где же нам взять белки? Нам положено в день 50 граммов мяса (это сырого, а вареного 33 грамма) и 75 граммов рыбы — опять же в пересчете на сырую. Но сырых продуктов нам категорически не дают, мы не имеем права себе готовить. Готовит хозобслуга при больнице, а потом приносят нам. Значит, идет наша эковская норма через двойное воровство: раньше тянет охрана, а потом еще хозобслуга. Что осталось — идет к нам в вареном виде, и это уже не 33 грамма мяса и не 45 граммов рыбы, а гораздо меньше. Насколько — мы даже не можем проконтролировать: весов и прочих приборов заключенным не положено. Вот и все белки...

Зато соль мы проверить можем — элементарной пробой. Это делает «золушка», а золушкой бывает каждая из нас по неделе, одна за другой. Главное дело золушки — воевать с кухней, не принимать испорченную еду. Каша пересолена? Возвращаем обратно. Будем сидеть голодные и писать заявления в прокуратуру. И не беда, что заявлений наших никто не читает. Иной раз до смешного доходит: пишем им, что положенные тапочки не выдают, а они отвечают: «Осуждена справедливо, приговор пересмотру не подлежит». Зато наши заявления там — считают! У них тоже отчетность.

— Как это так — за месяц на ИТК-3 поступило сорок жалоб? Многовато, товарищи! Что ж это вы среди заключенных воспитательную работу не проводите?

А как ее с нами проведешь? Ну усилишь репрессии — так и вовсе несчастную прокуратуру засыплем заявлениями протеста. Да еще, того гляди, забастовку объявим. За забастовку, конечно, расправы свирепые, да только и начальнику лагеря нагорит, забастовка — это в лагере ЧП, и полетят всей нашей администрации вместо премий — выговоры. Так что в ряде случаев они плюют и уступают:

— Ладно, ешьте несоленое!

Это главная черта нашего лагерного быта — за каждое, пусть даже маленькое право — постоянная изматывающая борьба. И все наши завоевания — суп без червей, норма хлеба на зону (которую золошка получает под расписку, потому что иначе и тут обжуют), 15 граммов подсолнечного масла на человека, право летом ходить не в сапогах, а в тапочках (мелочь — а попробуйте в 35 градусов Цельсия в кирзовых сапогах! А ведь так и заставляют ходить женщин в других лагерях в Мордовии), право отправлять и получать заказные письма — все это держится на нашей упрямой готовности за каждую такую «мелочь» бороться всей зоной. А если мы в этой войне что-то теряем — то теряем навеки. Так, весной 86-го года потеряли эти самые 15 граммов постного масла.

Нам нагло заявили, что положенное масло нам подмешивают в пищу (поди проверь!), а отдельно больше выдавать не будут. Что делать в этой ситуации, мы прекрасно знали, ведь выиграла же «солевую войну», три недели подряд возвращая всю сваренную на кухне пищу. Отощали, но додержались до победного конца. Хоть и говорил нам начальник лагеря Поршин:

— Прикажут кормить вас ананасами — буду кормить. А если положено 25 граммов соли на человека — то и всыпят вам всю эту соль, сам прослежу.

А пришлось-таки ему обойтись хоть без ананасов, но зато и без соли. Скандал дошел до Управления ИТУ, те приехали, посмотрели на нас (а мы к тому времени были уже хороши!) и сообразили, что лучше уступить и историю замять.

Но вот с маслом проиграли — просто сил не хватило тогда у зоны голодать неизвестно сколько. Ведь это надо всем вместе, если половина зоны ест — а половина нет, начинается:

— Что же это вы? Вот ведь ваши же едят, на пайку не жалуются.

И уже ничего не докажешь. Посовещались мы между собой, взвесили свои силенки — нет, поняли,

не потянем. И проглотили «нововведение», остались без масла. Хорошо хоть время той весной было уже более сытое, а то неизвестно, во что бы нам эта слабость обошлась. А уж как обидно было это трезвое понимание: сейчас не можем, а потом уже поздно. Но лучше все же понимать, чем браться за что-то, не взвесив свои силы. Этому нас к тому времени уже научила лагерная жизнь.

Но пока у нас только лето 83-го, Раечка получила кашу на всех (сегодня она съедобная), заварила чай на всю команду, и вот мы уже за столом, планируем сегодняшней день. Теоретически нам с семи утра до четырех дня положено сидеть за машинками и шить рабочие рукавицы. Норма — 70 пар в день на человека. Их нам привозят раскроенные, на телеге. Возит эту телегу кобыла Звездочка, вид у нее ласковый и усталый. Вечно она, бедолага, в порезах от колючей проволоки: «колючка» в Барашеве повсюду, и то тут, то там Звездочка за нее задевает, маневрируя с телегой. Нам надо эти пачки кроя разгрузить, оттащить в цех (комнатка в том же доме, где живем), сшить это все хозяйство, вывернуть на лицевую сторону, упаковать по двадцать пар и погрузить на телегу, когда она придет в следующий раз. Этот труд мог бы стать для нас истинным наказанием, когда бы не три обстоятельства. Во-первых, уследить за нами — когда шьем, когда нет — физически невозможно. Никто из администрации — ни дежурнячки, ни офицеры — постоянно в зоне не сидят. Они приходят нас пересчитать, или обыскать зону, или принести обед, или просто так — проверить, что мы поделываем и все ли живы. Войти в зону неожиданно им невозможно: от ворот до дома — дорожка, и ворота просматриваются из наших окон. Мы всегда заранее видим, кто идет, и приблизительно можем вычислить — зачем. Тем более что ворота открываются с характерным грохотом. Машинок — меньше, чем нас, значит, шьем в две-три смены. Тем более не проверишь, вторая смена — до часу ночи. Не легче ли ограничиться проверкой

результата? Поэтому мы сами выбираем себе время для шитья.

Во-вторых, мастер по производству Василий Петрович — порядочный человек. Его забота — чтобы две политзоны, мужская и наша, дали план, а он прекрасно знает, что с политическими лучше по-хорошему. Да по-плохому он, наверное, и не умеет. Нет в нем злости — ни внешней, ни затаенной. Поэтому он предпочитает не давить на нас, а комбинировать: ну не может Наташа Лазарева сшить норму, и не надо. Шей, сколько можешь. А зато он на мужской зоне подкинет возможность заработать какому-нибудь инвалиду, который норму шить не обязан, но хочет заработать себе на ларек. В итоге план все равно будет выполнен, все — от администрации (у них от плана премия зависит) до ээков — будут Василию Петровичу благодарны, а ээки зато, в случае необходимости, пойдут Василию Петровичу навстречу. Например, придет он, хромая, в нашу зону, поморгает светлыми ресницами и скажет:

— Девочки, у меня мужиков пятнадцать человек в Саранск увезли, а конец квартала. План — на год стандартный, его никто не урежет. Вы уж сшейте три тысячи до конца месяца, а я вам потом отдых организую.

И сошьем, и организует. В производстве то и дело все равно простои: то электричества нет, то материал для рукавиц не завезли, то машинки портятся. Все они устаревшие, списанные и держатся в работе только молитвами Василия Петровича. Что он с нами либеральничает, администрация знает. И ворчит, но бессильна: в этом круговороте перебоев только он умеет наладить работу и выдать план. И поэтому, когда он неделю не завозит нам крой и мы сладостно бездельничаем, — никто пикнуть не смеет: только Василий Петрович может нас уговорить вытянуть план в авральной ситуации, приходится его терпеть таким, каков он есть, — добряком, хитрецом и великим комбинатором, единственным изо всей барашевской своры

умеющим работать. В-третьих, к работе мы относимся честно: когда бастуем — бастуем, и тут даже Василий Петрович нас не уговорит (он, впрочем, к нашим забастовкам фаталистичен: политические, что ж тут поделаешь), когда работаем — работаем. Варезки шьем качественные, халтурить считаем недостойным, машинки умышленно не ломаем и ничего плохого в такой работе не видим — рукавицы эти носить рабочим на стройке, а никак не нашим угнетателям. Ну на что офицеру КГБ или партийному боссу рабочие рукавицы? Шьем, сколько можем, но Василий Петрович всегда нами доволен и всегда докажет, что сшили весь крой, что он привезет (он-то знает наши возможности и лишнего не завезет). А кроме того, поди придерись к Наташе Лазаревой или к кому другому. Сколько каждая сшила за день — не уследишь, сколько каждая сшила за месяц — мы даем отчет Василию Петровичу (для зарплатной ведомости), но у нас свои сложные соображения — на кого сколько записать. И уж если мы видим, что намечена жертва, — кто нам мешает записать на нее побольше, а на себя поменьше? Нет, в работу нашу администрация предпочитает не вмешиваться — только себя посмешищем сделаешь и план сорвешь. Тут уж они от нас зависят, а не мы от них. А потому шитье для нас не мука — когда хотим и сколько можем. Конечно, бывает, что и 12 часов в день просидишь за машинкой (когда Василий Петрович попросит выручить), но это — добровольно и в боевом азарте. Но если сегодня плохо себя чувствуешь или не в духе — можно к машинке вообще не подходить. Потом наверстаешь, а нет — тебе помогут, ведь все свои.

Нет-нет, за завтраком мы обсуждаем не производственные проблемы, а свои, зоновские. Что сеять, а что не сеять, например. Овощи-фрукты нам выращивать не положено, но мы это делаем под видом лютиков-цветочков. К примеру, пишу я мужу: «Пришли нам, дорогой, семена астры, матиолы, ониона и кьюкамбера».

И где уж цензорше сообразить, что таинственные онион и кьюкамбер просто лук и огурец по-английски, но записанные кириллицей. Потом просто отобрали у нас все семена (кроме тех, что мы успели припрятать) и запретили посылку семян по почте. Но тогда еще было золотое время: семена присылали в заказных письмах, наклеенными для сохранности на пластырь. А вот капризы мордовской погоды... Цитата из моего письма домой (мы исхитрились вывезти за границу всю нашу переписку):

«Спасибо за семена, все очень кстати.

К счастью, посеять не успели. И хорошо, что не успели, — тут у нас началась полоса стихийных бедствий: заморозки, потом дождь, потом град — потом все сначала». Дата — 26 июня 83-го года. В общем, так: Раечка с утра слушала мордовское радио и обещали мороз. Значит, вечером мы поставим немислимые деревянные распорки (и табуретки тоже пойдут в ход), на них накинем одеяла и полиэтиленовые покрывала — и тем убережем от холода наши насаждения. А сеять новое пока не будем. И значит, Татьяна Михайловна садится сострачивать друг с другом полиэтиленовые пакеты (тащим все, что у нас есть), чтобы получилось искомое покрывало. Мы с Таней — на поливку: таскаем ведрами воду из импровизированного колодца. Какая-то водопроводная труба, идущая под нашим участком, протекает. Мы выкопали ямку, обложили ее бревнами — получился колодец с ледяной водой. Администрация на него косилась поначалу, но смирилась — тут как раз больничный водопровод прорвало, и неделю наша зона была бы без капли воды, если б не этот колодец. Так чем организовывать нам доставку воды в аварийной ситуации, не лучше ли пустить на самотек? И был у нас самотек — в полном смысле этого слова, и черпали мы из него и поливали.

Наташа возится с ямой для пищевых отходов, ладит к ней крышку. А как же: у нас в Малой зоне ничего зря не пропадает. Принесли несъедобный суп, а золушка зазевалась и не отправила его назад

на кухню. Куда его? А в специальную яму! И туда же — воду из-под мытья посуды. Канализации у нас нет, и всю израсходованную воду мы выносим ведрами: от стирки в одну яму (там мыльная вода), от прочего — в пищевую. Туда же — срезанная трава, очистки от наших огородных овощей. На тот год это все перегниет, и мы будем удобрять свои грядки. Ведь почва здесь — песок, а в нашей зоне земля облагораживается десятилетиями. И бедная наша Подуст сдуру нам пожалуется, что ее муж шпыняет: вон, мол, у политичек какие огурцы, а у тебя на огороде — заморыши. И не с этого ли шпыняния затаит неудачливая Подуст ярость на наш крохотный огород?

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

День идет своим чередом: Раечка хлопочет где-то в доме, Таня читает журнал «Вопросы литературы», а я ехидничаю: есть ли на свете журнал «Ответы литературы»? А если нет ответов — что толку в вопросах? Наташа сосредоточенно пытит над перегоревшим уютгом: разобрала и плоскогубцами скручивает сгоревшие концы.

Мы с Татьяной Михайловной направляемся пилить дрова. Нам дали уволочь в зону бревна от разобранного забора, и это будет наше отопление на осень. Да и сейчас могут быть холодные дни. Печки в нашей зоне старые-престарые, с вывалившимися кирпичами — а все же лучше, чем ничего. Только час назад Таня превратила печку в столовой в камин, хлопнув на ней муху самодельной мухобойкой. От этого хлопка вылетели два дышащие на ладан кирпича и печная дверца, чудом на них державшаяся. Теперь печка зияет черным провалом, а мы смеемся: муха-то улетела!

Распилка дров — дело нудное и долгое, бревна толстые и, наверное, держали забор со дня осно-

<sup>42</sup> вания мордовского Дубровлага<sup>42</sup>. Но мы приловчились (хотя обе — городские жительницы), и работа у нас идет отлично. К тому же под разговор. О чем? Да обо всем, как всегда. Татьяне Михайловне к осени в ссылку, общаться нам осталось недолго, и мы обе это понимаем.

Неумелая пила,  
Пышные опилки,  
Предосенние дела.  
Доживем до ссылки!  
Скоро, скоро на этап —  
В теплый свитер скоро,  
А свобода — по пятам,  
С матерщиной пополам,  
Сыском да надзором!  
Восемьдесят третий год —  
Солью, не хлебами —  
Вхруст по косточкам пройдет,  
Переломится вот-вот!  
Недорасхлебами.  
За ворота, за предел —  
С каждой нотой выше!  
Тихий ангел отлетел.  
Нам судьба накрутит дел —  
Дайте только выжить!  
Ну, до встречи — где-нибудь.  
Зэковское счастье,  
Улыбнись! Счастливым путь!  
Нету сил прощаться.

Это единственное, что я написала Татьяне Михайловне, пока она была с нами. Да и потом посвятила ей не столько стихов, сколько бы следовало. А ведь она была для меня в зоне всем: и самым близким человеком, и самым мудрым советчиком, и примером, с какой бесконечной терпимостью к чужим слабостям и недостаткам следует жить в зоне.

<sup>42</sup> Дубравлаг (Дубравный лагерь) — Особый лагерь № 3 для политических заключенных, был образован в 1948 году на основе Темниковского ИТЛ.

И — живой энциклопедией правозащитного движения и его традиций. Сколько раз после ее отъезда я с благодарностью вспоминала тот благородный обычай достоинства и заботы о других, который она оставила после себя в зоне.

Но Раечка зовет обедать. Она накрошила тминных листьев и укропу в принесенную с кухни баланду, как-то над ней поколдовала — и баланду уже можно есть без отвращения. Сделала салат: мелко порезанная молодая крапива с диким луком и каплей масла. Семена этой крапивы она специально выписывала с Украины: в зоне она раньше не росла.

Да и сейчас ее мало: несколько кустиков, и мы экономно срезаем ножницами молодые листки — далеко не каждый день. Дикий лук разводим, маскируя под травку (он очень похож) и тоже стрижем ножницами. Под конец Раечка с лукавым видом выносит алюминиевую миску, а в ней — ого! — горстка земляничин. Есть у нас и земляничные грядки, замаскированные с двух сторон высокими цветами. А это — первый урожай. Татьяна Михайловна вдумчиво и внимательно делит эту горсточку на пять равных частей — каждой по целых четыре земляничины!

У нас этот процесс называется по-тюремному: дерибан<sup>43</sup>. А Татьяна Михайловна, соответственно, дерибанщик. После ее отъезда дерибанщиком буду я (у меня тоже глазомер хороший), а когда меня вконец затаскают по ШИЗО и ПКТ и я буду там проводить больше времени, чем в зоне, — меня сменит Лагле Парек.

Однако процесс дележки дерибаном не ограничивается, теперь еще решить — какая кучка кому?

— Наташа! Вон летит птичка!

По правилам нашей игры, Наташа отворачивается к окну — смотреть на птичку. И Татьяна Михайловна показывает ей в спину:

— Это кому?

— Рае.

<sup>43</sup> Дерибан — процесс деления и распределения ценных вещей среди «своих».

— А это?

— Ире.

— А это?

— Ну, Осиповой я еще подумаю давать или не давать!

Мы хохочем, дележка идет своим чередом, и четыре эти земляничины создают у всех впечатление роскошного праздника. Никто к нам сегодня в зону не пришел, кроме дежурнячек: Подуст в отпуске, остальному офицерью тем более не до нас. Заметно холодает, и мы стараемся найти в этом свой плюс: будет заморозок — так хоть комары сдохнут! Мордовские комары — звери свирепые, не говоря уже о мошке. Таня клянется, что они прокусывают сквозь подметку, и завидует кошке Нюрке — ее-то не кусают, и заморозки Нюрке нипочем. Что значит шерсть!

— И свидания у Нюрки не регламентированы, — вступает Наташа Лазарева в обсуждение преимуществ кошачьей жизни.

— Вон Антошка опять под окнами ходит!

Антошка — типичный кошачий уголовник, живет он, судя по всему, на территории больнички в бродячем состоянии. Спит он, похоже, на куче шлака возле кочегарки, потому что натуральный его белый цвет навеки погребен под угольной пылью. Мы его иногда подкармливаем: как-никак он официальный Нюркин ухажер и других котов к нашей зоне не допускает. Когда этот лохматый грязнуля на поленице любезничает с нашей чистенькой, ухоженной Нюркой — мы покатываемся со смеху, до того это странная парочка. Вот и сейчас Нюрка с достоинством выплывает из дому в сторону поленицы.

А я сажусь работать. Раскладываю на столе письма из дому и свое недоконченное письмо, но занимаюсь отнюдь не этим. На узенькой (четыре сантиметра) полоске папиросной бумаги муравьиными буквами я записываю свои последние стихи. Это один из способов передачи информации на свободу; полоски эти мы сворачиваем в компактный пакет размером меньше мизинца и при удобном случае

передаем крошечную, наглухо загерметизированную от влаги по нашей специальной технологии, вещичку. Я упоминаю этот способ, потому что КГБ его давно уже знает — один такой контейнер был перехвачен, и потом офицер Новиков с торжеством показывал мне эти полосочки, намекая на возможность нового срока. Но тогда, летом 83-го, этот способ еще работал. Я настолько увлеклась ювелирной своей работой, что не слышу стука сапог в коридоре и не успеваю припрятать свое писание. Когда дежурная Киселева уже в дверях, спохватываюсь и использую последнюю возможность — прикрываю полоски хаосом своих писем. Киселева нависает надо мной (и черт ее принес в неурочное время!).

— Что? Письмо пишете?

И — хватить недописанное письмо, а под ним — совсем на виду — лежат мои беззащитные полосочки. Понимаю, что тут мой последний шанс сконцентрировать ее внимание на письме.

44 — Отдайте! Вы не цензор<sup>44</sup>, чтоб читать мои письма!

Ключнула, моя птичка. Отдергивает руку с листком.

— А вдруг это и не письмо вовсе! Я должна проверить.

— Ну вот видите, первая строчка: здравствуйте, родные. Что, неясно, что письмо?

— Неясно, — упорствует Киселева, а под толстыми складками ее лба идет работа: она, действительно, не цензор, но как проверить — письмо это или нет, не читая? Задала ей задачу.

Тут входит Татьяна Михайловна и, мгновенно оценив обстановку, включается:

— Нечего, нечего чужие письма читать! Как вам не стыдно! У вас что, своих семейных дел нет, что вы в чужие лезете?

44 Цензор — сотрудник, служащий системы государственного надзора за содержанием и распространением информации с целью ограничения либо недопущения распространения идей и сведений, признаваемых властями нежелательными.

— Да неинтересно мне про ее дела, — сдает Киселева. — А мое дело проверить — письмо или не письмо.

— На это тут офицеров хватает — проверять. Видите — обращение как в письме, и будет с вас. Что вы чужую работу делаете?

Скандалить Киселева явно не настроена, да и в столовую она вошла просто так, а письмо мое цапнула из любопытства, в котором неловко сознаться: что такое пишут эти политички своим мужьям? Отдает письмо и уточкой выходит из дома.

Ох, и разнос же мне учиняет Татьяна Михайловна после этого! Мало ли что хорошо сошло — но какая неосторожность! Ведь я чуть не попалась, чуть не завалила способ! Пошли бы обыски один за другим, усилили бы слежку — кому и что тогда передашь? Что, я не могла попросить, чтоб кто-то покараулил? Оправдываться мне нечем, и я покорно принимаю на себя все громы и молнии; конечно, «разбор полетов» идет на дворе, не при подслушке. В конце концов Татьяна Михайловна смягчается: все же я не растерялась и Киселеву от опасного объекта отвлекла.

Разнос этот, как показали последующие события, пошел мне на пользу. Наверное, в этот день я избавилась от остатков вольняшечьего легкомысленного «авось». И больше ни разу по моей вине наши секретные труды не были достигаемы для охраны — я уже не попадалась. Но на сложной нашей цепочке передачи информации было кому попадаться и без меня, были у нас и неудачи, а все же — не тем, так другим способом на свободе все становилось известно! И бесились наши кагебешники, но нам же признавались: бессильны.

Впрочем, сегодня писать уже больше нельзя — вдруг медленный мозг Киселевой через час выработает все-таки подозрение? И тогда она вернется уже не одна. Нет уж, пронесло — слава тебе господи! — выждем, пока все уляжется. Идем «шить варежку». Наташа сидит на специальном «козле» для выво-

ротки: скамья, а у нее на конце — гладенький штырек. На этом штырьке и выворачиваются готовые варежки на лицевую сторону. Выворачивать Наташа любит, а шить — терпеть не может. Поэтому мы обычно помогаем ей с шитьем, а она нам — с вывороткой. Нюрка тут же, смотрит янтарными глазами, как мелькают Наташины руки.

Таня примостила перед своей машинкой список французских слов с переводом и зубрит в такт работе. Шитье никакого умственного напряжения не требует (пока не забарахлит машинка). После первой сшитой тысячи пар руки навсегда запоминают весь сложный танец движений и с ритма уже не сбиваются. Новенькие же, как правило, начинают с того, что прошивают себе палец на самом болезненном месте — сквозь ноготь.

Мой палец уже зажил, и я с места в карьер беру темп. Машинки грохочут, как пулеметы, и мы обычно затыкаем уши, когда усаживаемся за них надолго. Я иностранных слов не зубрю, а пишу стихи. Отшлифовываю пять-шесть строчек в уме, потом записываю их на клочке бумаги (он тут же, под кипой кроя) — и так, пока не довожу до конца. Потом заучиваю наизусть, и листок сжигаю, предварительно показав нашим. Наши радуются, а в цеху, заваленном стопками материала, рабочий листок в безопасности: перерыть все эти груды — дело немыслимое.

45 Главное — записывать за раз немного, тогда дежурничка, идущая по запретке<sup>45</sup> в полушаге от окна цеха, ничего не заподозрит; они привыкли, что мы ведем расчет — сколько сшито за час, да сколько часов надо, чтобы сшить всю привезенную телегу.

Ах, что такое запретка? Как же, как же! Это специальная дорожка вокруг нашей зоны — для дежурного обхода. По идее, они эти обходы должны совершать каждый час. И участок просматривается, и в окна можно заглянуть, не входя в зону. Дорожка эта обнесена с двух сторон колючей проволокой,

45 Запретка, или запретная зона, — расчищенная полоса, с каждой стороны ограждения территории колонии.

и для нас «запретная зона». То есть тут кончается наша зона — начинается их.

Шьем мы, впрочем, недолго. В цех вбегают мокрая Раечка:

— Град!

Ой, батюшки! А мы-то за грохотом, с заткнутыми ушами, не слышали даже грома! Бежим спасать нашу растительность, но где там. Градины огромные, сыплются, как орехи из мешка, ветер рвет у нас из рук одеяла. Часть, конечно, прикрыли, но пока возились с земляникой да флоксами, град выбил дочиста драгоценные наши кустики крапивы. И только через два года мы исхитрились снова ее достать и развести.

Вымокшие до нитки, возвращаемся в дом, и Рая, поколебавшись, решается устроить внеочередное чаепитие. Чайная заварка для эзков лимитирована: грамм в день на человека. И еще спасибо, что удалось отвоевать, чтобы выдавали ее нам на руки: норовили одно время установить такой порядок, что они сами будут на кухне заваривать и приносить нам в чайнике. Ага, как же! Сколько бы чайнок нам тогда перепало? По идее, можно чай еще покупать в ларьке, но не больше чем по пятьдесят граммов в месяц. Но ларька нас то и дело лишают («чтобы нам больше сюда не хотелось»). Кофе — абсолютно запрещенный для эзков напиток. Поэтому мы каждую горсточку чая завариваем трижды. Первый раз — с утра, потом размокшую заварку вывариваем в кастрюльке (это называется у нас «вторяк», и пьем мы его в обед). Третий раз заварка эта чисто символическая, но мы добавляем к ней иногда земляничные листья, а иногда стебли дикой малины (она растет прямо за колючей проволокой, и можно рукой дотянуться). Получается «цветочный чай».

Вот и оцените Раечкину душевную борьбу: она в эту неделю золушка и должна растянуть нашу заварку так, чтоб на неделю хватило. Но ведь у нас (да и у нее самой) зуб на зуб не попадает после нашей спасательной экспедиции! А, была не была — пируем! Сипит на столе электрический чайник,

и отражаются в нем вытянуто наши лица. Скоро и чайника у нас не будет, и лица вытянутся безо всякого кривого отражения. Но смех все равно будет звучать так же, как теперь, и в самые черные дни озадаченные кагебешники будут слушать по подслушке — смех Малой зоны!

Мурлычет чайник, мурлычет Нюрка (она любит быть со всеми). Совсем темно за окнами, только ограждение освещено да шарят прожекторы. На Мордовию медленно, полосами, наползает июньский заморозок. Перед сном дописываю к письму пару строк: «Мой родной, мой любимый! Я чувствую тебя, как будто ты близко-близко. И какое мне дело, что будет завтра, если сейчас мне так хорошо, и ты со мной — аж голова кружится! Целую тебя. Храни тебя Господь. Твоя И.».

## ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Приходит Подуст из отпуска, и начинается. Почему мы называем ее Лидия Николаевна, а не «гражданка начальница»? Объясняем, что нам она не начальница. Не нравится имя-отчество — будем звать по фамилии. Почему без косынок? Напоминаем, что косынки никому из нас не выдавали, да и вообще половина форменной одежды нам не выдана.

— Захотели бы — достали бы! — безапелляционно заявляет Подуст.

Где это достали бы, спрашивается? Мы что, в магазин можем пойти? Или простыни на косынки резать? И почему, собственно, мы должны «хотеть и доставать»? Положено — пусть сначала выдадут, а потом спрашивают. Но ясно уже, что придирам не будет конца.

Почему мы не сидим за машинками положенные часы? Вот новости! Норму-то выполняем — чего еще? А это уже не производственный интерес — это желание Подуста превратить-таки нам работу в каторгу. Бедный Василий Петрович, выслушав наши

по этому поводу комментарии, только молча берется за голову: он-то понимает, что перегнут с нами палку, так и до забастовки недалеко. И куда тогда полетит его план?

Ну угрозы для нашей милейшей «начальницы» стали прямо-таки «несущей частотой».

— Давно пора устроить вам настоящий строгий режим! А то пьете из эмалированных кружек, кастрюлю имеете, электроплитку... И белье пора позабирать — больше двух пар не положено.

И опять, и опять надалбливает: не наденете нагрудные знаки — готовьтесь в ШИЗО! Знаки мы, конечно, не наденем, но дело даже не в них, мы-то знаем. Вон Наташа Лазарева надела поначалу эту бирку — и что же? Поехала в ШИЗО под другим предлогом. Приезжает начальник оперотдела Управления Горкушов. И начинает с того, что тоже страшит ШИЗО: как там холодно, да как там плохо, да как там здоровые калеками становятся. Бьет по самому уязвимому месту женской души:

— Как же вы рожать будете после ШИЗО?

Теперь, более четырех лет спустя, отсидев в этом самом ШИЗО в общей сложности сто двадцать суток, я знаю — Горкушов говорил со знанием дела. Бьются теперь надо мной врачи, а помогут ли — бог весть. Но они-то, еще тогда обещавшие искалечить, теперь с ясными глазами будут утверждать (и утверждают!), что никто нас не мучил, что ущерб для здоровья «исполнение наказания» не наносит и что в ШИЗО — нормальные условия, только скучно. А потому, сидя по застенкам, не могли мы даже тем их извинять, что «не ведают, что творят». Кто-кто, а уж они-то ведали!

Начинаются разговоры про наш огород — не положен! Но потому наша администрация его всегда и терпела, что не могла обеспечить нам предусмотренную законом норму: 200 граммов овощей и 400 граммов картофеля в сутки. Просто негде им было взять — и теперь негде. Но отнять —

это еще не обязательно дать. Очень просто могут и огород разорить, и норму не выдать. Взвоем тогда с голоду! Ясно, что все это неспроста: идет психатака. Зачем? А затем, что сломить заключенного можно, только заставив его бояться. Чтоб места себе не находил, чтоб не знал, что над ним вытворят завтра, сегодня, через полчаса... Тогда, обезумев, может быть, и начнет искать компромиссов с КГБ. Может, начнет. А может, и нет.

Приехали новенькие: Ядвига Беляускене и Татьяна Владимирова. Ядвига из Литвы, ровесница моей матери. Это у нее второй срок, первый она получила еще школьницей, когда советские войска «освободили» Литву. Тогда по всей Прибалтике шли повальные аресты. Сажали не только тех, кто оказывал сопротивление (пусть даже моральное), но и тех, кто в принципе мог бы его оказать. И угораздило же Ядвигу занять на школьных спортивных соревнованиях второе место с конца по стрельбе! Это, воля ваша, подозрительно: зачем она стрелять учиться? Спорт? Знаем мы такой спорт! И Ядвига получила ни много ни мало — двадцать пять лет. Я часто думала: а что ж было с тем пареньком или той девчонкой, кто занял первое место? По логике того времени — приговор должен был быть еще круче. Но по кодексу того же времени — большего срока не было: за «четвертаком» шел сразу расстрел...

Ядвига наша, однако, все двадцать пять не отсидела — только восемь. Прошла и через побои в тюрьме, и через Сибирь, и туберкулез заработала. Потом на свободе лечили антибиотиками — испортили ей печень. К нам она приехала уже с вырезанным желчным пузырем. Батюшки! А чем же мы ее кормить будем? Ведь нужна диета, а где ее возьмешь? От «комбижира», которым нам заправляют баланду, и здоровая-то заболевает! Вот Раечке нужна диета — так она только огородными овощами и живет. Да много ли Ядвиге сидеть? Оказывается, порядочно: 4+3. За что? А оказывается, мало ей было тех восьми лет, и что Сталин ее своей смертью освободил — вовсе

не наставило ее на путь строителя коммунизма. Она в Бога уверовала! И, ревностная католичка, помогала мятежным литовским священникам воспитывать в вере детей и молодежь! У них и театр был самодеятельный, и совместные чтения... А тут до власти дорвался старый чекист Андропов, и полетели разнарядки на новые аресты. Докатилось и до Прибалтики — вот наша пани Ядвига и здесь.

46 Высокая, худая, очень прямо держащаяся. По-русски говорит, хотя и с трудом поначалу подбирает слова. Она не первая в зоне из Литвы, до нее сидела Нийоле Садунайте<sup>46</sup>, но уже ушла на свободу. У Ядвиги хорошая улыбка и, как потом оказалось, все умеющие руки. Главная ее боль — те школьники шестнадцати-семнадцати лет, которых запугали кагебешники и принудили давать на нее показания. Говорит, некоторые плакали на суде, просили у нее прощения. Как они теперь — с таким надломом в душе? Выстоят ли эти дети (она их называет детьми!) в советской мясорубке или навек потеряют все, что дала им юношеская вера? И молитвы ее за них — пусть Господь им простит малолетнюю оплошность, пусть поможет подняться! Еще переживает за сына: он студент, как на нем отразится ее арест?

Сразу включается в жизнь зоны: и в огородных делах она понимает, и сочиняет на всю ораву нарукавники (чтоб не протирали локти за машинкой), и шить умеет, и не боится никакой работы. Вопрос веры для нее важный, но разница религиозных воззрений ее не смущает: религий много, а Бог один, все к Нему придем. А кто и не верует — уверуют потом, Господь вразумит. Характер у нее твердый, но при этом она так о нас всех заботится, так хлопочет, что иногда даже неловко — ведь в матери годится!

46 Нийоле Садунайте (1938) — монахиня подпольного женского монастыря в Паневежисе. С 1972 г. активная сотрудница издаваемой подпольно «Хроники Литовской католической церкви». Арестована 27 августа 1974 г. Отправлена в колонию строгого режима ЖХ-385 в Барашевское отделение (пос. Явас Зубово-Полянского района Мордовской АССР). Освобождена 24 августа 1977 г.

Хорошо писать о хороших людях, но ведь не мы себе выбирали союзниц, и кого еще посадить к нам в зону — решал КГБ. И не обо всех я смогу писать так подробно, как о тех, кого навсегда полюбила: недостатки-то были у всех нас, но бывало и похуже, чем недостатки. А перечислять это все с немилосердной точностью — да про живых людей, да про женщин, даже и случайно попавших в «политические», но измученных тюрьмой и лагерем, простите, читатель, честно сознаюсь — не смогу. Заранее предупреждаю: кое-что обойду молчанием и внутренние наши сложности изложу далеко не все. Скажу одно: они были, хоть большинство из нас старалось всегда поддерживать в зоне мирный и веселый дух. Ох, какому крутому испытанию подверглось это наше гордое: «Мы люди!», когда нас было все на том же пятачке уже не пять, а одиннадцать! Ведь космонавтов, когда на полгода запускают — и то подбирают на психологическую совместимость, а тут самый малый срок был у нашей Наташи — четыре года! Да к космонавтам никто из космоса не вламывается, чтобы их снова и снова мордовать! И связь с Землей у них свободная, и контакты с родными — пожалуйста, никто не прервет за «подозрительное по содержанию» слово! И сыты они, и одеты, а и то — герои! Полгода оторваны от Земли!

Читала я, сидя в зоне, дневники космонавта Лебедева (их публиковали в «Науке и жизни»). Так и у них были свои внутренние трения — просто от усталости и тесноты, а не потому, что плохие люди. А как подумаю я, сколько мы все вместе вынесли — и хорошего и плохого, — и чувствую: все они мне родные — кроме тех, кто встал на сторону КГБ. А родных не выбирают, их просто жалеют и любят, со всеми их грехами. И стояла наша Малая зона, и разбивалась об нее вся волна, которую гнали советские органы с одной целью: сломить! И выстояли мы до конца: ни одна помилровка не была написана из нашего лагеря. Не удалось им нас поставить ни на колени, ни на четвереньки —

мы не желали оскотиниваться! Мы были не звери. Но и не ангелы. Просто люди.

А потому не буду я писать о том, что не определяло жизни зоны, с полным правом зачисляя это в мелочи. Принципы же нашей жизни, о которых я уже писала, мы сохранили до последнего дня.

Это не значит, что я изображу вам бесконфликтную, лакированную жизнь. Были и такие конфликты, которые затрагивали эти наши принципы — на радость КГБ, и о них я расскажу все как есть.

Татьяна Владимировна сразу поразила нас явственным отпечатком уголовного лагеря. Первый ее вопрос в зоне прозвучал так:

47 — А почему здесь теофедрин<sup>47</sup>?

В самом этом вопросе — целая энциклопедия блатной лагерной жизни. Заключение вообще никаких денег иметь при себе не положено, даже в ларьке они покупают продукты (если им разрешают) по бухгалтерской зарплатной ведомости. Что же значит «почем»? А дело в том, что уголовные лагеря насквозь пронизаны спекуляцией и взятками. Сидят же там и настоящие преступники, не только случайно захваченные люди. А у настоящих преступников остались на воле свои приятели-виртуозы. Я много на этапе слышала восторженных рассказов о сторублевках, запихнутых в стержень шариковой ручки, и тому подобное. Зачем блатному в лагере деньги, раз на них ничего не купишь? Как же, а на взятки охране, а начальнику отряда, а оперативнику? Потому деньги по бытовым зонам в большом ходу, а раз уж все равно в ходу, внутризэковская спекуляция тоже идет на деньги. Теофедрин же — это таблетки, предназначенные для лечебных целей, но имеющие побочный наркотический эффект, если проглотить несколько штук. Вот и глотают, и «балдеют» — лекарственная наркомания очень распространена. Откуда берут? Ну, есть у какой-нибудь воровки деньги — сунет она, сколько надо, начальнице медчасти

47 Теофедрин — комбинированный лекарственный препарат, оказывающий бронхорасширяющее и спазмолитическое действие.

или медсестре, та и выдаст ей пропорционально «хабарю». Может, она сама и не будет этот теофедрин глотать (дело вкуса) — так продаст тут же, в лагере, интересующимся. На упаковку теофедрина — в каждом лагере своя цена, так что вопрос для блатной зоны, в общем, законный. Но в политической? Это что, она собирается сама здесь наркоманствовать — или нам его продавать? Ну и ну. Впрочем, подождем развития событий.

События не заставили себя ждать. Первым делом Владимирова сплела нам замечательную историю о том, как она попала к нам. По ее версии, в 1981 году она прорвалась в британское посольство в Москве и попросила там политического убежища, которое корректные английские дипломаты сразу же ей и предоставили. Оттуда она выступила по Би-би-си<sup>48</sup> и в выступлении этом разнесла советскую власть в пух и прах. (Эта деталь была особенно пикантна, потому что новое наше приобретение абсолютно не различало, где цензурные слова, а где — нецензурные, и выкрикивало те и другие с одинаковой непосредственностью.) Потом ее похитили оттуда сотрудники КГБ, которые для этой цели ворвались на территорию британского посольства, прямо на глазах у консула! После чего ее полгода продержали на психэкспертизе, признали вменяемой, дали шесть лет и направили к нам. Приговора у нее с собой только часть — и как раз та, где обо всех этих роскошных деяниях ни слова. Она сама — старый борец с советской властью, сидела по тюрьмам, и вообще правозащитник всей душой. «Правозащитница» эта имеет на свободе организацию; они покупают японское оружие (разумеется, это их секрет с японцами), с тем чтобы ворваться в Кремль, всех там поубивать

<sup>48</sup> Би-би-си (BBC) — британская общенациональная общественная телерадиовещательная организация. Радио Би-би-си вещало на территорию СССР более шестидесяти лет: первая радиотрансляция состоялась 23 июня 1941 года — это была переведенная на русский язык речь премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, который объявил о нападении Германии на СССР. В годы противостояния СССР и западных держав передачи Би-би-си, начиная с 24 апреля 1949 года, подвергались глушению.

и перерезать, узурпировать власть и посадить Сахарова диктатором.

Тут, смотрю, наши члены правозащитных групп аж закачались! Особенно когда Андрей Дмитриевич оказался в заговоре. Впрочем, наводящий вопрос прояснил, что Андрей Дмитриевич сам еще не знает, какая участь ему уготована.

— Он у нас будет как Ленин у большевиков.

Эта фраза нас добила. Больше всего нам хотелось упасть на травку и валяться в судорогах смеха. Но смех тут, пожалуй, был бы неуместен. Ясно было, что легенда Владимировой — ложь от начала до конца. Да я, кроме того, еще была на воле в период описанной ею передачи по Би-би-си и дерзкого похищения — и, конечно, знала бы, если хотя бы один процент рассказанного был бы правдой. А чего стоила история, как Владимирова в 80-м году организовала двухтысячную демонстрацию на Красной площади, и они вошли в Кремль — прямо в приемную Президиума Верховного Совета (кстати, и приемная эта находится не в Кремле — уж мы-то знали!) и заставили удовлетворить все их требования!

Двухтысячная демонстрация? Да ни один бы и до Красной площади не дошел, всех бы перехватывали еще по дороге — при такой-то массовости обязательно была бы утечка информации в КГБ!

А сама Владимирова, оказывается, училась три года в Московском институте международных отношений! Какого бы мнения мы ни были об этом институте — нам было ясно, что с ее интеллектуальным уровнем ее бы не допустили даже ко второму вступительному экзамену.

Что это все вместе значит? Встретить я такую Владимирову на пересылке, я бы даже не очень удивилась, разве что безграмотности ее лжи. Блатные иногда любят изображать из себя «политических»; по их мнению, это придает им героический ореол. Они сами же сочинили анекдот на эту тему.

Сидят в камере заяц, волк и лиса. Заяц — за уклонение от военного призыва, лиса — за воров-

ство, волк — за хищение крупного рогатого скота. Тут дверь открывается, и вталкивают петуха, а тот сразу хорохорится:

— Я политический!

Звери аж рты разинули. Говорят:

— Ух ты, не то что мы — преступники серые.

А что же ты делал, расскажи!

А петух в гордую позу встал и отвечает:

— Пионера в попку клюнул!

Смех смехом, а только такие ввали-романтики в политические никак не попадают. Ведь наша женская зона для особо опасных государственных преступниц — одна на всю страну! Сидят, конечно, политзаключенные женщины и по другим лагерям — но сюда-то на одном хвостовстве уж точно не попадешь! А в КГБ ведь тоже не все дураки: зачем-то с ложной версией ее к нам запихнули! А зачем?

Ну вот, начинает проясняться: Владимирова в заключении, конечно, намерена продолжать борьбу! И у нее есть конкретный план: прежде всего установить связь с мужской политзоной (она тут недалеко, через шоссе). Всего-то дел — перейти на глазах у двух автоматчиков через запретную полосу, перелезть через забор, перейти шоссе, еще забор, еще запретная полоса (со своей охраной), ну а проволочные ограждения и вовсе не в счет. Перейти, конечно, зимой — по снегу, замаскировавшись простынями (и, само собой разумеется, оставляя на контрольно-следовых полосах следы). И вломиться ночью к нашим союзникам: здравствуйте, я ваша тетя! А ведь их зона — не наша, маленькая — у них и стукачи водятся.

Так чего же ждет от нас наша инициативная героиня? Что мы все как одна вдохновимся этой обреченной на провал, прямо придуманной для провала затеей? А уж она нас «на слабо» берет:

— Ну если вы боитесь, так я одна. Мне за наше дело жизни не жалко!

Тут бы, конечно, нам ее сорокасемилетнюю жизнь пожалеть и сказать: «Да что вы, Татьяна! Стоит

ли так всем утруждаться, да еще и автоматчиков со стукачами по ночам тревожить? У нас и так переписка с мужской зоной налажена!»

И рассказать — как, чтобы человек не беспокоился.

Но черствые и жестокие сердца оказались у Малой зоны, не расположенные к откровенности, — и про переписку свою мы смолчали, и на аферу эту не согласились. Пожали плечами:

— Дело ваше!

И разошлись от нее подальше, обдумать: что это? Провокация? Но неужели КГБ думает, что мы клюнем на такую дешевку? Свихнувшаяся от наркотиков блатняжка? Но почему ее все-таки посадили к нам? Может, получила большой уголовный срок и теперь, чтоб раньше отпустили, пошла к нам подсадной уткой? Ведь всех подсадных из таких и набирают. Но здесь не следственная тюрьма, а лагерь...

Дальше — больше. Стала она нас по одной уволакивать в сторону и таинственно шептать, что пани Ядвига (с которой их везли с потьминской переделки вместе) — «черная душа» и ненавидит русских, да и все они, прибалты, подонки, так и смотрят, чем напакостить. Каждая ее урезонивала как могла, но когда мы через несколько дней сошлись поговорить без подслушки и без Владимировой — выяснили, что она успела за это время каждой сказать гадость про каждую другую. Нас кроме нее в зоне было шестеро — это надо было, значит, провести тридцать интриганских попыток! Что они все не удались — тому лучшее доказательство был этот наш разговор, но (оцените терпение!) мы и тут не поспешили ставить диагноз, который у вас, читатель, уже на языке. Решили выждать, а тем временем не доверять ни на каплю, откровенных бесед не вести, гадостей не слушать (отбивать такие разговоры) и стараться не подавать повода для конфликта.

## ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Но конфликта, конечно, ждать долго не пришлось. Помыкалась-потыкалась наша Владимирова и поняла, что ей не доверяют. Попробовала взять обычный в уголовном лагере командный тон — опять осечка: командиров у нас нет, все важные вопросы мы решаем вместе. Уж кто там для кого больший авторитет — это другой вопрос, из области личных дел, но если есть предмет разногласий, мы ищем такой вариант, который бы устраивал всех (в самом крайнем случае всех, кроме одной). Тут не покомандуешь!

Страдания бедной Владимировой усугубило и довело до критической точки смешное недоразумение. У нас не было мусорного ящика! Пищевые отходы шли отдельно — в яму, битое стекло, консервные банки и все такое раз в неделю уносилось за зону, на свалку, а все, что могло гореть, — мы сжигали в печках. При этом, разумеется, жгли кучу бумаг: то неудачный черновик письма, то черновик заявления в прокуратуру, да мои бесконечные варианты стихов, да старые конверты, в которых приходили нам письма... Владимирова же, не разобравшись в нашем сложном жизненном цикле, решила, что все бумаги, которые мы жжем, исписаны нашими секретами, причем не только от КГБ, а и от нее! Ого! При такой версии смело можно было делать вывод, что эта таинственная деятельность занимает у нас чуть не круглые сутки: как войдешь в столовую — какие-то бумажки корчатся в «камине», а все с невинным видом говорят о чем-то другом!

Взрыв произошел неожиданно. Сидели, мирно шили варежки. Даже не болтали между собой — машинки тарахтят так громко, что перекиривать их неохота. Вдруг Владимирова выскочила из-за машинки и закричала, что не может она больше находиться в этой гнусной зоне, добавила к этому несколько эпитетов, которые мы услышали даже сквозь грохот моторов, вылетела из цеха и понеслась к будке автоматчика. К автоматчику вплотную подойти

нельзя: будка не в самой зоне, а по ту сторону запретки и контрольно-следовой полосы. Поэтому если что-то срочно нужно (вызвать врача, например), то надо бежать к запретке и орать во весь голос, чтоб охранник тебя услышал. Тогда, если он поймет, в чем проблема (ставят туда в основном солдат из Азии, они русского языка почти не знают) и сочтет ее достаточно важной, то позвонит по телефону начальству и те кого-нибудь пришлют.

Но Владимирова наша звала отнюдь не врача. Ей нужен был начальник оперчасти! Как раз оперчасть в лагерях занимается цензурой писем, слезкой, подслушиванием и вербовкой стукачей. Надо ли писать, что наш «опер» Шлепанов явился незамедлительно — это, пожалуй, был первый случай, чтоб его вызывали из Малой зоны!

Содержание их беседы не осталось для нас секретом. Владимирова кричала так, что слышно было с любого места нашего пятачка — хотели мы того или нет.

— Хватит с меня этой зоны, так ее и растак! Я тут больше не хочу! Я уже поняла, что за люди тут сидят, — тра-та-та-та... Вот такие, с ихним Сахаровым во главе, втягивают порядочных советских людей в свои темные делишки, а потом кровь пьют! Растак и разэтак! Я уже все поняла! Я и по телевизору выступлю, и по радио, и все про них расскажу как есть! Только уберите меня отсюда!

Чего уж отвечал ей Шлепанов, не знаем (он-то не орал), но только желание Владимировой убраться отсюда удовлетворено не было, к великому нашему сожалению. Ловушка захлопнулась: изъявить готовность стать провокатором — одно, а выйти из лагеря — совсем другое. И Шлепанов ушел, а бедолага осталась в зоне — разумеется, в условиях полного бойкота, всякое общение с ней мы прекратили. А она-то надеялась, что стоит ей заявить «хочу выступить по телевизору!», и КГБ тут же отпустит ее на свободу. На кого ж ей теперь было

выплескивать свое отчаяние и ярость? Разумеется, на нас!

Мы невозмутимо занимались своими делами, а она металась по зоне от одной к другой и выкрикивала всю брань, что приходила в ее воспаленную голову. Красная, трясущаяся, с выкаченными глазами... Да нормальна ли она? Слезы текут, слюна брызжет... Истерика, или нам-таки подсадили невменяемую? По счастью, буйство ее было ограничено: руками она хоть размахивала, но в ход их не пускала. Максимум что она себе позволяла, это хлопать дверями так, что летела со стен штукатурка. А потому нам не приходилось заботиться об отпоре: ну, ори себе и хлопай, мы просто не будем обращать внимания.

Легко, впрочем, сказать. Попробуйте усидеть за столом, обдумывая ласковые слова, что вы хотите написать любимому человеку, когда на ваше письмо летят брызги слюны, а Владимирова орет весь знакомый мат в вашу склоненную голову! Только не вздумайте встать и уйти — она потащится за вами, и спокойного места вы все равно не найдете. Нет, уж лучше пишите, ухом не ведя, и утешайтесь мыслью, что другим зато сейчас спокойнее. И не волнуйтесь, она скоро выдохнется, самое большее через полтора часа.

Через неделю таких истерик ее забрали в больницу, и мы облегченно вздохнули. Даже понадеялись — может быть, навсегда? Может, и вправду сделают с ее участием телепрограмму — и тем ее функция в нашей зоне будет выполнена? Но нет, у КГБ были свои резоны и соображения, и никуда ее от нас не убрали. Когда она доходила до полного иступления (у нее была астма, она иногда задышалась) — забирали в больницу и подлечивали, а потом — опять в зону. Кончилась наша идиллия, но самым несчастным человеком в Малой зоне, конечно, была она. Теперь, когда она поняла, что отсюда не так-то просто выйти, и, что она ни делай, — не она решает свою судьбу, когда ощутила, что такое одиночество среди людей, с которыми,

хочешь не хочешь, живешь в одном доме, — что за черный ад должен был твориться в ее слабенькой, полуживой душе? Да еще и на воле у нее никого не было (все ее рассказы первых дней про папу-генерала да про сына-капитана были типичной уголовной «подливой»). Никто ей писем не писал, бандеролей не слал, на свидания не ездил. Не было на свете ни одного человека, который бы относился к ней хотя бы с симпатией! Даже добрейший Василий Петрович взъярился, когда она сдала ему триста пар бракованных варежек (она-то, по блатному обычаю, вовсе не следовала нашей традиции — не халтурить!). Но и полная ее безнаказанность не приносила ей удовлетворения. Василий Петрович не посмел вычестить у нее стоимость испорченных варежек из заработка, дежурнячки, которым она хамила напропалую, очень быстро поняли, что администрация тут мер никаких не примет, ее никто не будил при подъеме и не гнал в кровать в десять вечера, она делала, что хотела, но все-таки оставалась заключенной. Дежурнячки, осатаневшие от ее наглости, только ахали:

— Вы-то как ее терпите? Да в уголовной зоне ее бы давно в порошок стерли!

Это они верно говорили: там такую либо зарезали бы, либо общей травлей довели бы до самоубийства. Ну подумать только — вся зона начинает над тобой изощряться, а тебе некуда деться! Но для нас, конечно, такие методы были неприемлемы. Что доставляло нам много неудобств, но зато сохраняло человеческий облик. Нет уж, Владимирова сама выбрала себе наказание, пусть его и несет. Наше дело — игнорировать ее выходки и жить так, будто ее здесь нет. Хотя, конечно, приходилось от нее прятаться с тем, о чем ей знать не следовало. Но нам было позволено шить в три смены, а она не могла же не спать все двадцать четыре часа в сутки, чтобы уследить за всеми!

## ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Андроповский поток между тем только начинался: аресты шли по всей стране и докатились, конечно, до нашей зоны. Привезли Галю Барац. Они с мужем оба родом из Закарпатья, родились, собственно, в Австро-Венгрии. Потом это стало частью Украины, а они — соответственно — украинцами и подданными СССР. Были оба коммунистами, жили в последние годы в Москве, имели машину и вообще были обеспечены. Но вот взяли и уверовали в Бога, да еще пошли к самым преследуемым верующим — пятидесятникам! Отказались от партбилетов (представляете скандал?) и даже написали письмо западным коммунистам: мы, мол, не хотим ни строить коммунизм, ни нести за него ответственность. А вы, наоборот, хотите. Так не поменяться ли нам местами? Вы — добровольно — в нашу московскую квартиру, а мы — на Запад, прочь из СССР.

Конечно, одного такого заявления хватило бы, чтоб посадили. А они еще и в молениях участвовали, и с иностранными корреспондентами встречались. Весной 83-го взяли обоих: Васю — пораньше, Галю — попозже. Судили не в Москве, а в Ростове-на-Дону — чтоб огласки поменьше. Привезла Галя срок: 6+3. Высокая, крупная, с сильной проседью. Спортивный костюм, в котором она приехала, с нее тут же содрали, а принесенные взамен казенные платишки на нее не налезают! А других нет! Думаете — общее волнение, конфуз, вернули ей тут же ее одежду? Как бы не так! Повернулись себе и ушли, оставив Галю в трусах и лифчике. Только мы успели ее хоть чем-то прикрыть из нашего барахла — Подуст тут как тут:

- Надевайте нагрудный знак!
  - Куда? К лифчику цеплять? Вы бы хоть раньше одежду дали, а потом про бирку говорили.
  - Не моя забота — куда цеплять, а только чтоб нагрудный знак был!
- Тут Галя ей цитатой из Писания:

- «Вы куплены дорогою ценою, и да не будете рабами человеков!»
- Так не наденете?
- Не надену!
- Ну, пеняйте на себя!
- Счастье, что у нас был фонд «для тех, кто придет», и мы приодели Галю из своих ресурсов (заодно пани Ядвига научила меня, как вставлять рукава и щегольски обметывать петли).

Не успела обжиться на новом месте Галя — привезли Эдиту Абрутене. Они с мужем — литовцы, и даже правозащитниками, строго говоря, не были. Просто хотели эмигрировать. А с чего бы это литовцам позволять эмигрировать? Отказали им в отъезде, они — добиваться, активничать. Посадили ее мужа на три года по 190-й статье (клеветнические измышления на советский строй). Эдита, оставшись с маленьким сыном, промышляла случайными заработками, в том числе и спекуляцией. Но отъезда продолжала добиваться. Отсидел свой срок Витас Абрутис, вернулся домой — и через три недели взяли Эдиту, лягнули ей 4+2! В зону она приехала в голодовке, которую объявила еще в тюрьме КГБ, добивалась пересмотра дела. У нее уже и голоса не было — еле прошелестела она нам свою историю (хотя, как потом оказалось, от природы обладала богатыми голосовыми данными). Через день ее увезли: голодающих положено изолировать. Неделю спустя она вернулась — сняла голодовку. Что-то там ей наобещали (и ничего, конечно, не выполнили). Но ведь у них такой подход: ты сними голодовку, а тогда мы сделаем все, что требуешь. Что верить этим басням нельзя, Эдита не знала, вот и попалась, а возобновлять голодовку потом у нее уже не было сил. Отлеживалась она, приходила в себя, и к работе ее поначалу не привлекали — она еле на ногах держалась. Это еще было время, когда лагерная докторша Волкова после длительной голодовки давала с неделю «освобождения от работы». Но потом оказалась у нас проблема: Эдита не желает работать вообще!

— Я на них ни дня за свою жизнь не работала!  
Мы, честно говоря, испугались: ведь затаскают по карцерам нашу Эдиту до смерти! И уж как мы за нее ни заступайся — вряд ли от нее отцепятся. Не хватит ли с нее общих бед за нагрудный знак (она его тоже не надела)? Но с другой стороны, у человека — свой принцип, и что мы тут можем сделать? Думали-думали — исхитрились на компромиссный вариант — пусть она у нас будет дневальной. Дневальная, в конце концов, работает не «на них», а на своих же союзниц. Тем более что Рачка быть дневальной устала, у нее суставы на руках болят от постоянной возни с водой, да еще врач Волкова пошла придирааться — тут паутина, там занавеска не идеально белая, санитарное состояние зоны неудовлетворительное. Попытки же Подуст навязать нам в дневальные Владимирову — мы отменили категорически: если она при вас грозит нас всех отравить, то как же вы требуете, чтоб она получала нашу пайку и наши медикаменты? Да она и неряха, то и дело за ней самой нужно убирать. В общем, должность дневальной оказалась вакантной, и туда мы Эдиту в конце концов и пристроили. Неожиданно для нас идею эту невольно подала нам сама Подуст, да таким образом, что сама положила конец своей карьере.

Мирным августовским вечером мы сидели на травке всей компанией. Только что принесли ужин, Владимирову затихла где-то в недрах дома (она питалась отдельно), а мы, пользуясь хорошей погодой, вытащили из дома стол и расставили на нем алюминиевые миски с баландой. Для красоты посередине была банка с цветами, над нами нежно шелестели пока еще не срубленные тополь с рябиной, солнце не спеша уходило за забор.

Ну как было стерпеть такую идиллию неожиданно пришедшей Подуст? Да к тому же она была не одна, а с майором из Управления. Такой ли она хотела видеть нашу зону? Это ведь она на прямой вопрос Тани: «Чего вы, собственно, от нас добиваетесь?» — так же прямо ответила:

- А чтоб, когда я войду, вы все подхватились, а Лазарева отрапортовала: «Начальница, у нас все в порядке».
- Никто из нас, конечно, не «подхватился» и тем более рапортовать не стал. Вежливо сказали: — Добрый вечер! — и продолжили свой ужин, даже не полюбопытствовав, зачем те двое пришли. Тем более что Наташа рассказывала очередной анекдот, а в исполнении Наташи это был настоящий театр одного актера. Подуст скорчила самую злобную из своих гримас, и они протопали по крыльцу в дом. Ну-ну, пускай пообщаются с Владимировой. Однако через несколько минут Подуст высунулась в окошко и вполне вежливо попросила Татьяну Михайловну зайти на минуточку внутрь. Еще через несколько минут Татьяна Михайловна молча вышла из дома, явно сдерживая ярость. Она даже побледнела от напряжения. Посетители наши давно уже убралась, больше никого не беспокоив, а Татьяна Михайловна все так ни слова и не сказала. Вопросов ей не задавали — обычно мы рассказывали друг другу свои разговоры с администрацией, но не по обязанности, а по желанию. Никто ни с кого не требовал отчета. Доужинали, убрали посуду, и тут Татьяна Михайловна отозвала меня на единственную нашу дорожку. Мы иногда по часу выхаживали по этой дорожке — и моцион во время разговора, и подслушка не слышит. По неписаной традиции к говорящим на дорожке старались не подходить: значит, людям надо говорить только между собой.
- Вот тут-то Татьяна Михайловна и выложила мне, что сказала ей Подуст.
- Удивляюсь я, Великанова, как это вы все с Эдитой Абрутене не боитесь сидеть за одним столом и есть из одной посуды. Она же

сифилитичка, вы что, не знаете? У нее и в медкарточке запись, что болела сифилисом!

Тут мне понятна стала ярость Татьяны Михайловны: я сама так и взвилась! Это была не первая попытка Подуст посеять между нами раздор и недоверие. То в общем разговоре подпустит:

— Осипова, все заключенные про вас очень плохо отзываються!

То скажет в отсутствие Гали:

— Беляускене, а вот Барац про ваших родных говорила то-то и то-то!

А когда мы зовем Галю и начинаем хором уличать нашу «белокурую бестию» — она покрывается красными пятнами и кричит:

— Не смейте устраивать мне очную ставку!  
Я начальница!

Но ляпнуть такое про Эдиту, которая всего несколько дней в зоне, — не слишком ли? И не мы ли виноваты, что Подуст позволяет себе все больше и больше? Ну да, мы знаем, что КГБ любит приписывать диссидентам венерические заболевания: как можно проще опорочить человека? Ну, конечно, этим рассказням никто не верит, но ведь клевету на человека нельзя спускать клеветнику. Да надо сейчас всю зону собрать и рассказать, кого нам поставили в начальницы! Татьяна Михайловна колеблется.

— Но ведь при этом придется всем передать эту сплетню? Не этого ли добивается Подуст?  
Я горячусь:

— Она добивается прежде всего недоверия между нами! Чтоб мы все отшатнулись от Эдиты, а она даже не знала, в чем дело!  
Но этой сплетне никто из нас не поверит, а Подуст мы выведем на чистую воду!

— Но Эдита — новый человек в зоне. Не будет ли она переживать — ведь такая гадость?

— Наоборот! Она в первые же дни увидит, что вся зона за нее!

Прекрасно понимаем резонность доводов друг друга, но надо что-то решать, а слово — не воробей, потом уже ничего не исправишь, если ошибемся. Зовем Таню. Она, вникнув в проблему, убежденно:

— За такие штучки на Подуст следует в суд подать — клевета в чистом виде!

В общем, Татьяна Михайловна вызывает на двор всю компанию и преподносит новость. Ого, как взъяряются все! Эдите достаточно взглянуть на наши лица, чтобы понять — интрига не сработала! Что Подуст врет — никто под сомнение не ставит, но что мы теперь будем делать с самой Подуст? И сходка постановляет:

— С этого дня мы не признаем права Подуст быть в нашей зоне в каком бы то ни было качестве. Мы пишем об этом коллективное заявление в прокуратуру и объясняем — почему. А пока ее не уволят — мы с ней вообще не общаемся, ее для нас не существует. Эдита подает на Подуст в суд за клевету, Татьяна Михайловна идет свидетелем. Правда, чтобы доказать факт клеветы, — нужна медицинская карточка Эдиты, а ее нам никто не покажет.

Тут Таня выдает простую идею:

— Ходатайствуем, чтоб Эдита была у нас дневальной! Кандидатуру дневальной утверждает медчасть, сверяясь с медицинской карточкой, — заразных на эту должность не ставят. Факт дневальства — уже опровержение.

Правильно! А врачи, конечно, утвердят, у них выбора нет: дневальство работа добровольная, требуется письменное согласие заключенного. Никто из нас, кроме Эдиты, в сложившейся ситуации своего согласия не даст, а ставка дневальной в зоне положена. Поддерживать же версию Подуст насчет сифилиса врач Волкова не рискнет: для нее это еще и фальсификация документов, а заодно ей пришлось бы лгать, будто разгласила медицинскую тайну. Кому охота такое клепать на себя ради бабьей глупости Подуст?

И все выходит как по писаному. Эдита становится дневальной, врач Волкова, перепугавшись, что Подуст и ее втянет в историю, божится, что никакой такой записи про сифилис у Эдиты в карточке нет, заявление в суд отправляется сразу же, а Подуст, придя в зону, попадает в полный бойкот. Ее даже не удостоивают объяснением — почему. Все изложено в нашем коллективном заявлении. Начинается затяжная война: судебное дело, разумеется, открывать никто из администрации не хочет. Да вряд ли они и отправили исковое заявление Эдиты — им надо замазать историю. Поодиночке и косяками ходят к нам представители администрации, уговаривая: все равно Подуст с должности не сместят, так не лучше ли нам «помириться»? Но мы стоим на своем. Хотите платить ей зарплату ни за что — дело ваше. Но представлять администрацию она в нашей зоне не будет.

И приходится нашим офицерам как бобикам выполнять всю работу Подуст: мы даже постановления о взысканиях у нее из рук не берем. Если что-то нужно нам объявить или просто задать вопрос — извольте приходите сами, и без нее! Подуст, конечно, лютует: мечется по зоне, пристаёт к нам всем вместе и поодиночке то с угрозами, то с давно неслыханными ласковыми речами. Даже от Наташи отстала, даже про нагрудный знак не поминает. Но мы непреклонны: хватит! Попила нашей кровушки!

Скоро Подуст сдает, у нее не хватает нервов терпеть каждодневное унижение. Легко ли приставать к людям, которые тебя не замечают? Появляется она не чаще раза в неделю, а потом и реже. Случайно, сам того не желая, ее уличает капитан Шалин. Он, придя к нам зачем-то, между делом упоминает Подуст:

- Она же у вас сегодня была!
- Нет, мы ее в последний раз видели дней десять назад.
- Может, не заметили?
- Не могли не заметить, с утра возились над клумбой у самых ворот.

— Как же так? Она же при мне взяла ключ от зоны, и я видел, как она открывала ворота запретки, а потом вернулась через полчаса!

Мы уже хохочем. Это значит, что Подуст простояла между двумя заборами, невидимая ни нам, ни администрации, все эти полчаса! А открыть вторые ворота и войти к нам — духу не хватило! Сделала вид, что была в зоне, а сама, бедолага, ковыряла песок босоножкой между двух огней!

Шалин, сообразив все это, вначале краснеет от сдерживаемого смеха, но в конце концов не выдерживает и тоже заходится.

И все-таки эта война шла с августа 83-го по июнь 84-го, пока Подуст наконец не убрали. Теперь она, по слухам, работает в детской комнате милиции. Воспитывает малолетних правонарушителей. Бедные ребятки!

## ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

События того августа, впрочем, только начинаются. Еще в период нашего с ней общения Подуст пришла в зону с предложением неожиданной сделки: если мы надеваем нагрудные знаки — администрация смотрит сквозь пальцы на наш огород. Если нет — его сровняют с землей.

— И смотрите сами, женщины, что вам выгоднее, — заключила она свой ультиматум.

Татьяна Михайловна аж со стула привстала от возмущения, а Подуст напирала:

— Ну что, выгодно вам терять огород?

— Да невыгодно! — с сердцем сказала обычно спокойная Татьяна Михайловна. — Вы что, думаете, мы выгоды ищем, когда занимаемся правами человека? Нам ведь и сидеть здесь невыгодно!

— Вот и думали бы меньше о правах, — заявила нам Подуст.

Ну мы посмеялись тогда, подивились цинизму: это надо же — они открыто идут на нарушение закона (огород все-таки не положен) ради этих бирок! Ешьте, мол, что хотите — только унижайтесь!

Ну а теперь наступило время расправы. Пришла ликующая Подуст во главе небольшого отряда дежурнячек и уголовниц из больничной зоны. Уголовницы несли тямки, мешки и лопаты — и мы поняли: все, конец нашему огороду! Как мы будем себя вести — мы договорились заранее: не просить, не кричать, физически не препятствовать. Просто выйдем все вместе, встанем у них над душой — и будем молча смотреть. Только Раечке лучше остаться в доме, ей это зрелище всего тяжелей, огород — ее детище, мы же только помогали копать-носить-поливать. Но не прочувствовали все же так, как она, каждую былинку, каждую морковочку! И так, Раечка остается внутри, а мы все слышим приподнятый голос Подуст:

— Ну что, женщины, в последний раз: наденете нагрудные знаки?

И потом:

— Копайте!

Уголовницы берутся за работу. Обдирают овощи в мешки, крошат тямками растения (только зеленые брызги летят), перекапывают грядки, чтоб — ни корешка! Подуст суетится и командует. Все остальные молчат. Уголовницам неловко, а попробуй не послушайся Подуст — она в больничке личность всемогущая. Дежурнячки не копают, стоят столбами и только головами качают. Им тоже жалко нашего огорода: они-то сами заядлые огородницы и понимают, что это значит — растить на песке. Они ко всей нашей возне относились с огромным уважением, да и к Раечке сколько раз обращались — то за консультацией, то за невиданными в Мордовии семенами. И сами нам семена тайком таскали: то репку, то морковку. Особенно их восхищала наша тыква, она выросла такая огромная, что побеги и листья лезли прямо в запретку. И как же они заботливо, проходя по за-

претке, заворачивали эти побеги обратно! А казалось бы, что стоило садануть по мятежному листку ногой. Но нет, только смеялись:

— Тыква у вас зна-атная! Ишь какая, на свободу просится! Смотрите, убежит!

Выдрали нашу тыкву со всеми корнями, запихнули в мешок, и Подуст имела наглость еще скомандовать:

— Лазарева! Помогите нести!

Наташа вспыльчивая, может и взорваться, но тут молчит. Только подбородок заостряется. Уголовницы переглядываются с восторгом: надо же, политички эту Подуст ни во что не ставят! У дежурнячки Сони уже глаза на мокром месте — уж очень впечатляющая эта картина погрома! И нас ей жалко, и растений; такое было все пышное, а теперь что? В общем, все проходит не так, как хотела Подуст. Молчаливое осуждение приведенного ею отряда нарастает, и вот уже одна из уголовниц бросила тяпку.

— Хоть в ШИЗО сажайте, а я пошла, не могу!

А упиться видом наших страданий не удастся. Мы демонстративно бесстрастны, только жжем ее глазами. Наконец они уходят, оставив разоренный участок. Грядки Владимировой (ей мы выделили отдельные) остаются, впрочем, нетронутыми.

Раечка уходит плакать в дровяной сарай: сердце — не камень.

Мы переживаем уже не так за огород, как за нее. Но у каждой из нас раньше или позже был в зоне свой звездный час — Раечкин наступил в тот день. Отплакавшись, еще с красными пятнами на щеках, она достает припрятанные про запас семена — и по изуродованной, разоренной земле засевет снова! Не все, конечно, только то, что может взойти до заморозков: дикий лук, укроп... Мы молчим в немом восхищении. Вот это характер! Потом кидаемся помогать. К вечеру нет уже голых безобразных ям: свежие, ровненькие грядки, рассаженные на них уцелевшие побеги... Соня, пришедшая поохать и посочувствовать, только крикает:

— Ну, Руденко, ты даешь!

А как же! Не будет в Малой зоне голой земли! Наперебой утешаем Раечку: она особенно убивается, что не позволила вчера надергать морковки — хотела, чтоб еще подросла. Да бог с ней, с той морковкой! Не пропадем!

Владимирова, кстати, чувствует себя тоже нехорошо. К вечеру она приходит с заявлением: все семена и рассаду она получила от нас — так вот, как бы мы к ней ни относились, а обязаны теперь взять у нее семена и рассаду, которые она нам выделит. Она не виновата, что ее грядки не тронули! Молчаливо признаем ее правоту и берем. Что это? В нашей Птичке (так мы ее зовем между собой) проснулось что-то человеческое? Но есть ли на свете хоть одна безнадежно исковерканная душа, в которой бы ничего человеческого напрочь не было? Время покажет.

Но не надо забывать о наших «воспитателях». Зря, что ли, Подуст трудилась — собственноручно дергала нашу зелень? Мы долго вспоминали, как она, войдя в раж, подавала пример уголовникам: выдирала из вазона декоративные перцы. Ведь должна же воспитательная работа с нами давать какие-то результаты! И в конце концов, что мы всё — Подуст да Подуст! Не она же изобрела нагрудные знаки! А кто? Вот они пусть и знают наше к этому изобретению отношение и не изображают, что они тут ни при чем! А то уж очень легко свалить потом все на мелкую офицерскую сошку. И мы отправляем коллективное заявление.

В Президиум Верховного Совета СССР  
от женщин-политзаключенных,  
находящихся в Мордовском лагере  
ЖХ-385/3-4 (Малая зона)

#### ЗАЯВЛЕНИЕ

Мы, женщины-политзаключенные Малой зоны, отказывались и отказываемся носить на одеж-

де бирки (нагрудные знаки). 10 августа от лица администрации лагеря нам было сказано, что либо мы наденем эти бирки, либо до конца срока будем лишены права покупать еду, а также лишены всех свиданий.

Принудительное ношение опознавательных знаков унижает человеческое достоинство, что признано всей мировой общественностью, в частности на Нюрнбергском процессе. Советское законодательство утверждает, что «исполнение наказания не имеет целью причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства» (ст. 1-я ИТК РСФСР).

В связи с этим мы считаем нужным поставить советские власти в известность о том, что мы не намерены выполнять те требования режима, которые носят издевательский или аморальный характер.

Мы отстаиваем свое естественное человеческое право объединяться в своих действиях и заступаться друг за друга, а также за других заключенных.

Мы призываем советские законодательные органы отменить нагрудные знаки во всех лагерях Советского Союза, а пока отменяем их для себя в Малой зоне и готовы принять на себя все возможные репрессии.

Эдита АБРУТЕНЕ, Галина БАРАЦ, Ядвига  
БЕЛЯУСКЕНЕ, Татьяна ВЕЛИКАНОВА,  
Наталья ЛАЗАРЕВА, Татьяна ОСИПОВА,  
Ирина РАТУШИНСКАЯ, Раиса РУДЕНКО

Конечно, на это заявление нам никто не ответил. Да и к чему было нашему правительству отвечать за существующие в стране законы? Они же у нас такие застенчивые!

События тем временем раскручиваются дальше. Игорь присылает письмо, что собирается приехать на короткое свидание — то самое, от двух до четырех часов через стол. А письмо, конечно, идет через цензуру, и администрация знает о таком намерении раньше меня. Я досаую: приезжал бы неожиданно, тогда, может быть, не успели бы лишить

свидания! А так — какие шансы? Но пока не лишили, все же готовлюсь: обдумываю, что и как скажу, чтоб не прервали разговор, а он все понял. Забочусь: в чем пойду на свидание? Когда в лучшем случае видишься с мужем три раза в год — так хочется быть красивой! Наши принимают в этом горячее участие. Пани Ядвига добывает из «бабушкиных тряпок» бог весть какой давности юбку из матрасной ткани. Не беда, что юбка заляпана машинным маслом, пани Ядвига со свойственным ей терпением оттирает эти пятна с мылом, а потом еще вымачивает юбку в хлорке. Юбка становится однородного светлосерого цвета. Татьяна Михайловна вытягивает давно припрятанный для особого случая кусок «полосочки». Эту полосатую ткань лет пять назад выдавали нашим для пошива форменной одежды. Потом официальная летняя форма изменялась: белые ромбы на синем, а «полосочка» так и ждала своего дня. Из этой ткани я сооружаю себе блузку украинского покроя. К предполагаемому дню приезда Игоря Галя накручивает мне волосы на бигуди и делает роскошную прическу.

Еще бы! Каждое свидание в зоне — событие, и мы снаряжаем идущую на свидание, «как невесту», обязательно срезаем цветы на букет для родных и все вместе провожаем до ворот и машем вслед... Лишь бы их давали, эти свидания!

Как бы не так: на следующий день мне приносят постановление о лишении свидания. Мол, я накануне выходила в ларек с нарушением формы одежды — без косынки. Несмотря на трагичность известия, первая наша реакция — смех. Дело в том, что вчера я как раз была единственная, кто пошел в ларек в косынке! И не потому, что рвалась соблюдать форму одежды, а просто из-за бигуди! Только накрутила мне Галя кудри, а тут как раз входят дежурнячки:

— Женщины, в ларек!

Это значит, надо выходить из зоны и топать в ларек по территории больницы. Ну я косынку

и повязала, чтоб эти злосчастные бигуди прикрыть; так-то мы косынок обычно не носим.

Смех смехом, а ложный рапорт о «нарушении» налицо, и лишение свидания явно незаконно. Что делать? Зона решает — забастовка! Меня тысячу раз могли бы лишиться свидания, так сказать, законным путем — за тот же самый нагрудный знак, и были бы формально в своем праве. Но сейчас они попались на собственном вранье, и мы рады это не спустить. Чин чином пишем соответствующие заявления, и в зону прилетает встревоженный начальник лагеря (тогда еще Павлов). Уличенная нашим общим свидетельством дежурнячка Татьяна Лобашкина, написавшая рапорт, пытается выкручиваться, но чем дальше, тем яснее — ей этот рапорт написать велели. Кто? Павлов утверждает, что не он. Значит, Подуст? Или КГБ? Короче говоря, Павлов, для порядку пригрозив, неожиданно отменяет постановление:

— Приступайте к работе, свидание будет.

Это уже само по себе доказательство, что вся история с лишением инициатива Подуст. Отдай такой приказ КГБ — не мог бы Павлов позволить себе роскошь «разобраться в конфликте». А так все довольны: и мы, и Павлов. Заявления о забастовке он теперь благополучно спустит в мусорный ящик, и в Управлении никто не узнает о ЧП. Наташа даже изображает разочарование:

— Всего-то три дня пробастовали, а теперь опять варежки шить, будь они неладны!

Она, конечно, шутит. Все мы рады: отвоеванное свидание — не такая уж малая победа для зоны. И вот появляется Подуст с дежурнячкой Машей и объявляет:

— Ратушинская, на свидание! Муж приехал!

Ох, как дергается сердце! Но я и бровью не веду: мы ведь Подуст не слышим, на то есть решение зоны. Все наши тоже даже не поворачивают головы, хотя, конечно, слышат и за меня переживают.

— Ратушинская, вы что, отказываетесь?

Молчу.

— Молчание — знак согласия!

Молчу: не буду я такой ценой покупать свидания, и никто бы из наших не стал. Тут меня неожиданно выручает дежурнячка Маша:

— Ратушинская, пойдите со мной. Я вас обыскать должна перед свиданием.

Ну теперь-то я слышу! Дико радоваться обыску, не правда ли, читатель? Но в такой ситуации мы все ликуем: у Подуст — свои обязанности, а у Маши свои. Дежурнячки наши Подуст сами терпеть не могут, а тут Маша может ей подставить ножку с полным правом. Наши кидаются срезать цветы, Маша быстро выворачивает наизнанку мои одежки в медчасти — и вот я уже в маленькой комнатке на вахте и слышу голос Игоря:

— Где она?

Вот он входит. Похудел, щеки ввалились...

Нелегко ему «на свободе» переживать за меня день и ночь. С ним Алька, моя младшая сестра. Ей недавно исполнилось семнадцать. Целоваться-обниматься нам нельзя — свидание через стол. Два часа. Маша сидит между нами и бдит, не скажем ли чего лишнего. Она нам вполне сочувствует, но обязанности есть обязанности. Разговор отрывистый, сразу обо всем. Алька молчит, смотрит круглыми глазами. Ее так потрясла сама дорога (ведь вся Мордовия — в лагерях, с поезда видно!), что у нее отнялся дар речи. А тут еще и мой здорово изменившийся вид!

Игорь пытается сказать о ПЕН-клубе, о моих литературных успехах. Маша обрывает:

— Не положено! Еще одно слово об этом — прерву свидание!

Мы не спорим. О другом — так о другом.

Я: «Как там наш Лешек?» Игорь: «Да вроде на премию потянул, трудяга». Это значит, лидера польской «Солидарности» Леха Валенсу<sup>49</sup> выдвинули на Нобелевскую премию.

<sup>49</sup>

<sup>49</sup> Лех Валенса (1943) — польский политический деятель, защитник прав человека, первый руководитель профсоюза «Солидарность», президент Польши в 1990—1995 гг.

Таким примерно языком мы наскоро информируем друг друга о событиях. Игорь — о том, что на свободе и что с нашими друзьями в других лагерях. Я — о том, что в зоне — с большими предосторожностями. Только о Владимировой рассказываю открытым текстом. Маша не возражает — Владимирову ей самой в печенки въелась. Обо всех других событиях — заранее продуманными обвиняками. Понимает? По глазам вижу — все понимает, умница моя!

— Родной мой! Любимый!

Нет, так нельзя, а то я сейчас разревусь. Молчим. Сцепляем на столе руки, хоть касаться друг друга не положено. Но Маша вроде как и не видит, у нее самой слезы в глазах. Глажу такие знакомые до последней прожилочки руки. В заусенцах, в царапинах — работает теперь слесарем.

Между нами на столе часы, и как безжалостно они тикают! Неужели уже пролетели два часа? Маша тихо-тихо говорит:

— Прощайтесь!

Встаем из-за стола. Помешает поцеловаться или нет? Нет, молчит. Прижимаемся друг к другу на короткий миг. Уже не объятия, а судорога. Но надо владеть собой. Быстрый шаг назад. Улыбаемся. В горле комок. Крестим друг друга. Все. В следующий раз мы увидели друг друга только через три года.

Маша — мне, на обратной дороге:

— Ишь вы какие, политички, — не плачете. У нас в больничке все, кто идет со свидания, — ревут, аж сердце рвется.

И, поворачивая ключи в двух воротах, запускает меня обратно в зону. Наши уже ждут.

— Ну как?

Сейчас, дорогие, сейчас. Я выложу все новости — ведь у нас общие радости и беды.

Вечером — торжественное чаепитие. Состоявшееся свидание — нечастое событие, которое мы празднуем со всем энтузиазмом. Какой теплый вечер. Уже проклевываются августовские звезды. Что-то принесет нам завтрашний день?

## ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

А вот что:

- Осипова и Лазарева — в ШИЗО! За отказ от ношения нагрудного знака — десять и тринадцать суток!

В общем, этого следовало ожидать. Тащим все теплое, что только есть. Вот когда пригодились бабушкины лифчики! И какое счастье, что мы успели распустить на нитки тот шерстяной платок, который мягкосердечная Люба позволила мне принести в зону! Эдита уже связала из этих ниток «шизовые колготки» — такие длинные, что на любую из нас налезут. На маленькой Тане эти колготки собираются гармошкой, но это ерунда! Теплее будет. Мы снаряжаем наших подруг на совесть: сейчас-то тепло, но мордовский август — месяц коварный. Каково им будет там, в сырой камере?

Наспех стараемся накормить напоследок — им тринадцать суток недоедать. Горячая пища в ШИЗО — через день. Да и то — баланда, почти одна вода. Подуст, конечно, суетится и поторапливает, но мы ее не слышим. Наконец одна из дежурнячек не выдерживает:

- Женщины! На «кукушку» опоздаем!

«Кукушка» — это маленький паровозик, который возит поездка с ИТК-3 до ИТК-2. То есть от нашего лагеря до соседнего, где ШИЗО. Таня, королевски:

- Из-за меня кагебешники на два часа самолет задерживали, так подождет и ваша «кукушка»!

А нам, оставшимся, что делать? У нас это договорено давно: ШИЗО — значит, забастовка. Больная в ШИЗО — голодовка. А Наташа, безусловно, больна. Значит, мы будем голодать все время, пока она в ШИЗО. Таня и Наташа это знают. Провожаем их до ворот, целуем.

Это 17 августа 83-го года. Голодовок «кстати» и вообще-то на свете не бывает, но эта более чем нестати. Дело в том, что в сентябре будет Мадридская международная конференция по правам

50

человека и по проверке, как выполняется Хельсинкское соглашение<sup>50</sup>. Мы-то знаем, что в нашей стране оно никак не выполняется. Но наши дипломаты будут заученно врать, западные их коллеги будут благодушно кивать, а кто и не поверит — как сможет доказать факт нарушения? Ведь тем, кто в нашей стране не боится сказать правду, в Мадрид ехать не позволят! Кто в СССР проверял выполнение Хельсинкского соглашения? Самодеятельные хельсинкские группы, им бы в Мадриде и доклады-вать. Так их всех пересажали в лагеря и психушки, их не то что в Мадрид — за колючую проволоку не выпускают!

Словом, решили мы в знак протеста объявить восьмидневную голодовку, а на Мадридскую встречу отправить свое свидетельство. И начало этой голодовки назначено на 7 сентября, и текст нашего обращения уже ушел в Мадрид нашими секретными каналами. Переменить это никак нельзя. Вот и считаем: сегодня начатая голодовка продлится в лучшем случае до 30 августа (это если Наташе не добавят срок ШИЗО). Не успеем выйти из первой — начинать вторую. А куда денешься? Одну меру мы, впрочем, принимаем: решением зоны запрещаем пани Ядвиге в этот раз голодать. Просто не выживет, если две голодовки подряд. О, какие магические слова — «решение зоны»! Иначе пани Ядвиге, с ее кремень-характером, пожалуй бы, и не отговорили. Она сразу же начинает ухаживать за нами, голодающими. Смеемся:

— Да что вы, пани Ядвига, ведь только первый день! Мы еще и не проголодались как следует!

Она упорствует:

<sup>50</sup> Хельсинкское соглашение — документ, подписанный главами европейских государств в столице Финляндии Хельсинки 30 июля — 1 августа 1975 года. Один из разделов акта предписывал согласование обязательств по вопросам прав человека и основных свобод, в том числе свободы передвижения, контактов, информации, культуры и образования, права на труд, на образование и медицинское обслуживание, равноправие и право народов распоряжаться своей судьбой, определять свой внутренний и внешний политический статус.

— Ничего, ничего, нужно с первых часов экономить силы!

Нюрка в недоумении: где ее обед? Мы обычно уделяем ей все, что хоть как-то съедобно для кошки, из собственного пайка, а тут все отправляем обратно на кухню. И в доме хоть шаром покати, ларька-то нас в августе лишили! Хоть и выводили туда всех, а купить что-то позволили одной Владимировой. У Владимировой же к кошке сложное отношение: то она ее в морду целует, то грозитя убить вместе с нами со всеми. Нам еще приходится присматривать, чтоб она ее исподтишка не пинала — при нас не смеет.

Мы пытаемся объяснить Нюрке, что такое голодовка, но она отвечает вопросительным «мяу?». Потом, сообразив, что толку от нас не дожدهшься, надолго исчезает. Вечером я сижу на травке, стараясь не чувствовать, как начинает сосать под ложечкой. И слышу за собой ликующее «мр-р-р!». Это Нюрка где-то раздобыла большую мышь и теперь кладет ее, задушенную, передо мной. Мы обычно хвалили Нюрку за исполнение обязанностей: к похвалам она очень чувствительна. И я со всей добросовестностью ахаю:

— Ай да Нюрочка! Ай да умница! Ах, охотница ты наша ненаглядная! Да без тебя бы нас уже заели эти мыши! Да где ж ты такую серую раздобыла? Героиня! Красавица! Пионерка! Отличница!

Однако Нюрка, выслушав положенные восторги, еще чего-то от меня хочет. И дает понять весьма недвусмысленно — чего именно. Оказывается, она не из хвастовства принесла мне свою добычу, она хочет меня накормить! Как могу, объясняю ей, что в голодовке не положено есть даже мышей. Поняла? Поняла. Берет свою жертву в зубы и уносит. Потом оказывается, что она приволокла ее в дом и пыталась угощать всех по очереди! Выслушав многократные вежливые отказы, сообразила наконец, что голодовка — дело серьезное, и деликатно

слопала свою мышь в сторонке, стараясь, чтоб никто не видел. Поучиться бы у Нюрки нашей Владимировой! Голодовку она, конечно, не держит, откровенно радуется расправе над Таней и Наташей:

— Вот, двумя сволочами в зоне меньше стало! Зато так и крутится вокруг нас со своей едой: уже и в спальню идет чавкать там морковкой да конфетами. Да еще и беседует сама с собой — какие мы дуры, что сидим голодные. Пока это нам только в смех, но на третьи-четвертые сутки мы сделаемся очень чувствительными к запаху съестного, и тогда Владимирова начнет жарить себе мясо с луком на той самой электроплитке.

Откуда мясо? А это — первая реакция администрации на нашу голодовку: приносят белый хлеб, масло, мясо, крутые яйца... В общем, невиданную роскошь. Наивный расчет: вдруг да не выдержим и соблазнимся? Но мы только радуемся втихаря: ага, не давали пани Ядвиге диету? А теперь не только Владимировой, а и ей перепадет!

Не тут-то было! Пани Ядвига объявляет на все это время пост: ни мясного, ни молочного (в кои-то веки это молочное! Мы аж стонем от досады) — ничего, кроме хлеба и баланды. А пост — дело религиозных убеждений, и мы в это не имеем права соваться со своими уговорами. Ну что с ней поделаешь? Такой человек!

Дежурнячки, узнав от нас про Нюркины подвиги, начинают подкармливать ее сами — они Нюрку любят. А сутки идут: первые, вторые, третьи... На третьи сутки уже и голода не ощущаешь, только потихоньку слабеешь. Обычно между третьими и четвертыми сутками (у кого как) наступает кризис: организм бунтует! Снова выделяется желудочный сок, начинается головокружение и тошнота — в общем, становится совсем худо. По неопытности пугаешься: если такое на четвертые сутки, то что же будет на десятые? Но потом делается легче — только кажется, что сердце пробуксовывает, как машина на непосильном подъеме. Двигаться надо осторожно, без резких

движений. Но мы настроены бодро, и за общим столом (теперь на нем — только кружки с кипятком) звучит все тот же смех, только потише, голоса садятся. Да и не хватает в нашем доме сейчас сразу двух голосов — Наташиного и Таниного. Что-то с ними теперь?

Владимирова снова активизируется. Выждав момент, пока придет Подуст, она заявляет, что будет теперь дневальной.

— У них и сил-то нет убирать!

Подуст, разумеется, никак не против. Нам, конечно, только этого не хватало! Почему кандидатура дневальной так важна и для нас, и для Подуста? А потому, что обязанности и права дневальной предусмотрены лагерными Правилами внутреннего распорядка. Дневальная, к примеру, должна подавать команду «встать!», когда подходит кто-то из надзирателей. Подавать команды «подъем» и «отбой» и в случае невыполнения докладывать начальству. Заметив какие-нибудь нарушения режима — опять же докладывать. При входе начальства рапортовать, кто работает, кто болен и какие происшествия. Имеет право шарить по тумбочкам и личным вещам — «проверять опрятность». Получать пайку на всех и заведовать медчастью со всеми медикаментами (это уж специфика нашей зоны — порядок, заведенный администрацией). Представляете, какие узаконенные возможности для роли полудонощицы, полунадзирательницы? Убирать-то уж в последнюю очередь, и не уборка интересует Подуста и Владимирову, а вот эти самые возможности. Какие перспективы власти над нами рисуются в их головах! Хлеб делить — сейчас-то мы в голодовке, но потом! Таблетки раздавать — или воровать, или подменять одни на другие! Шприцы для врача кипятить — или не кипятить: и так не сдохнут! По вещам нашим лазить! Ого! А уж слежка за другими — так прямая обязанность...

Наши дневальные, конечно, сроду ничего такого не делали — просто игнорировали все эти свои

«полномочия». Их дело было — убирать дом и обихаживать медчасть — крохотную комнатку с топчаном и белыми чехлами на стульях. Мы, конечно, помогали как могли — и Раечке, и потом Эдите: добросовестная работа дневальной, пожалуй, потяжелее шитья. Попробуй поддержать в чистоте дом без канализации и горячей воды! Хочешь нагреть ведро воды — морочься полчаса с титаном, который то и дело ломается. Веник — и то страшный дефицит, попробуй добейся, чтоб выдали новый взамен истертого. А перестирать все занавески да чехлы-полотенца из медчасти вручную, в тазике, экономя хозяйственное мыло? А подтирать то и дело дощатые полы после каждой дежурнячки и каждого офицера? Ведь вокруг — глина да песок, дорожки отнюдь не асфальтовые, а ноги вытирать приучены только двое-трое, остальные так и топают — это ж не их дом, а барак для зэков, чего церемониться! Нет, дневальной, работающей для зоны, быть не сахар. А вот работающей против зоны — для такой, как наша Птичка, очень заманчиво.

Но — не выйдет! К этому мы ее не допустим, хоть бы пришлось продлить голодовку. Администрация понимает это и впрямую настаивать не решается. Вместо этого приходит докторица Вера Александровна и начинает очень мягко: ее дело — не только наше здоровье, но и санитарное состояние вверенного ей участка. А дневальная Абрутене — в голодовке и забастовке, да если б даже забастовки и не было — все равно она как врач обязана освободить нас всех от работы. А как же уборка? Она ведь понимает, какая это тяжелая работа в наших условиях — одних ведер воды сколько за день надо перетаскать!

Ага, теперь ты, голубушка, понимаешь! Просветление нашло... А когда ты изводила Раечку придирами, что занавески не первой свежести, где было твое понимание? А когда, ленясь вымыть руки с мылом, так и оставляла на стиранном Раечкой полотенце следы грязных пальцев? Раечка прямо

плакала над этими полотенцами: изволь назавтра снова отстирать до белоснежности и нагладить!

Нечего сказать, вовремя проснулась гуманность у нашей Веры Александровны. Она нежно подводит нас к выводу: нам такие труды не под силу, значит, дневальной должна быть — кто?

— Ну подумайте сами, женщины!

Мы холодно ставим Веру Александровну в известность, что дневальной у нас так и останется Эдита, а пока она из-за голодовки освобождена от работы — будем сами убирать, все вместе и по очереди. Это — наш дом, и в нем будет чисто, как всегда. Мы и не собирались жить в грязи, так что ее санитарные тревоги излишни.

— А как же вы, в голодовке?

— А это уж наше дело.

— Ну, смотрите, женщины, если санитарное состояние зоны будет неудовлетворительное — я должна буду доложить. Мы проверим.

Это значит, завтра она придет придираться: тут паутина, там песок на крыльце, а вот тут, за тумбочкой, — пыль. Пятые сутки голодовки. Пани Ядвига стирает все казенные причиндалы. Она рвется сделать «все-все-все», лишь бы мы лежали и отдыхали. Но это уж чересчур — взвалить на нее всю возню. Татьяна Михайловна шурует крыльцо обрывком старого мешка. Галя вытирает пыль в столовой. Я мою пол в нашей спальне. Залезаю под кровати, за тумбочки. Когда начинаю задыхаться — то есть каждые три-четыре минуты делаю короткую передышку. Только не садиться, ни в коем случае не садиться! Чтобы потом не тратить сил на то, чтоб встать. Вынести в яму ведро грязной воды. Принести ведро чистой. Тикай-тикай, сердце, ты — самое молодое в нашей зоне, ничего с тобой не будет! Вот так, не спеша, с расстановкой уже и до порога добрались? Отлично.

Владимирова таскается за мной по пятам и монотонно угрожает «прикончить». Но раз я поднимаю ведро воды, пожалуй, смогу дать отпор. Нет, луч-

ше ограничиться угрозами. Входит Подуст. Владимирова кидается к ней.

— Начальница, я за себя не отвечаю. Я таки сделаю из этих святош кучу трупов!

Подуст на это предпочитает промолчать. Возразить — так зачем же губить здоровую инициативу «осужденной, вставшей на путь исправления»? Одобрить идею — это уже все-таки слишком. Она как-никак офицер и должна следить за порядком. Нет уж, лучше устраниться — Владимирова и так в поощрениях не нуждается.

Мы этот весь визг всерьез не воспринимаем, но после клятвенного обещания Птички проломить мне голову молотком я замечаю, что пани Ядвига и Татьяна Михайловна стараются не оставлять меня одну. Уличаю их в этом, и мы смеемся. Это, пожалуй, перестраховка!

— Но она же психопатка! Сама не знает, что у нее в голове, — говорит пани Ядвига, но уже не может сдержать улыбку.

Я рисую в ярких красках картинку, как Владимирова из-за угла кидается на меня с молотком и с боевым кличем, а пани Ядвига героически сбивает ее с ног метлой. Татьяна Михайловна добавляет колоритные детали, но тут мы изнемогаем от хохота и опускаемся на траву. Из цеха тарыхтит машинка. Что это? Эдита шьет? Да, сшивает половую тряпку из единственного имеющегося материала — кроя для рукавиц. Старая совсем изорвалась, а новую — где взять? Галя пишет письмо мужу — завтра придут за почтой. Ее письму предстоит пройти двойную цензуру — мордовскую и пермскую, да еще промежуточную — кагебешную. Получит ли это письмо политзаключенный Василий Барац? Догадается ли, что его жена в голодовке? Галя в своем заявлении написала, правда, не «голодовка», а «пост» — по ее словам, пятидесятникам религия не позволяет голодовки, а только посты. Но это все равно значит — до приезда Наташи Галя будет, как и мы, на одной воде и молитве.

Какие мы тут разные собрались! Католичка, пятидесятница, православные, неверующая... Позже придет еще и баптистка. Но мы будем относиться с уважением к вопросам совести друг друга. И Бог не оставит вниманием наш крохотный квадратик на мордовской земле.

## ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

— Руденко, Великанова, Ратушинская! В больницу! Мы должны вас изолировать как голодающих...

Это вваливаются офицеры с дежурнячками. Это значит, они решили нас троих насильственно кормить: заковывать руки в наручники, разжимать рот железом, кроша зубы, загонять в горло шланг и заливать два литра какого-то раствора. Процедура, здорово смахивающая на изнасилование, — но таков «гуманный советский закон».

Мне про эту процедуру рассказывала Таня Осипова — ее так мордовали через день всю четырехмесячную голодовку. Спасти жизнь голодающего? Ерунда, и с насильственным кормлением никто не выживает, если дело длится долго. Цель другая — растянуть мучения не на два месяца, а на год-полтора. Если выдержит — все равно умрет, если не выдержит — снимет голодовку, а значит, сдастся. Поэтому все организуется не так, чтоб сохранить силы, а так, чтоб мучительнее. В сжавшийся от голодовки желудок закачать сразу два литра — дикая боль. Мы вон на седьмой день с трудом выпиваем полкружки воды за раз. Улегшееся было чувство голода, едва что-то попадает внутрь, возобновляется с новой силой. «Пусть чувствует!» Потому и кормление два-три раза в неделю. Да еще после этого держат минут сорок в наручниках, не давая встать — чтоб не было рвоты. Голодающие мерзнут даже при нормальной температуре — так держать их

в помещениях похолоднее! Откуда у заключенного теплое одеяло или шерстяная одежда? Пусть, пусть померзнут! Ну и так далее.

Теперь, значит, все это предстоит и нам. Тут уж ясно, что это карательная мера в чистом виде: за тринадцать суток голодовки никто не умирает и так. Конечно, у эзков меньше жизненной энергии, чем у обычных людей. Организм изможден, и переход от недоедания к голодовке — совсем не то, что от изобильной пищи к лечебному голоданию. Но все же это наша первая голодовка, мы еще не дошли до той последней точки, когда у тела нет естественных запасов даже на день. До этого, не вылезая из карцеров, я дойду только к зиме 85-го года, и тогда-то за те же тринадцать суток действительно успею добраться до смертной грани. Засуетятся врачи, забегают, считая пульс и уговаривая меня датьсь хоть на капельницы! Тогда я увижу их искренний испуг: помру, а им отвечать... Я к тому времени буду уже знаменитость, сама того не зная. Но они-то будут знать — вот и убоятся скандала. Насиловать, однако, не посмеют, предпочтут уступить. Будут они уже ученые и закаются насильственно кормить кого-то из нашей зоны!

Пока же они никаких для себя неприятных последствий от этой затеи не ждут. Запирают нас в маленькую палату в хирургическом отделении и до завтра оставляют в покое. Мы совещаемся, как быть? О том, чтобы снять голодовку, конечно, речь не идет. Отбиться от насильников — немислимо, их целая орава, да еще с наручниками. Но спустить такое над собой издевательство?! Ну же, ну же — как отбить у них охоту, раз и навсегда? Будем мыслить логически. Чего они больше всего боятся? Огласки! Так будет им огласка — и не через месяц, когда до друзей на свободе дойдет информация, а в тот же день и час! Все очень просто: мы в центре «больнички», куда свозят женщин из трех лагерей. Да еще хозобслуга, живущая здесь постоянно.

Больничка переполнена, здесь уйма народу. Да у них, помимо того, связи с мужской уголовной зоной — она тут же, через забор. Получается, если мы перед кормлением успеем прокричать, кого мордуют и за что, — знать это будет не меньше тысячи человек. Многие из них освобождаются вот-вот, отбыли срок. Значит, повезут информацию на свободу.

А если еще прокричать телефон, по которому сообщить, — найдутся такие, что и запомнят, и сообщат. Телефон же Игоря в КГБ и без того известен — никакого дополнительного риска. Только надо начать сразу, как «гуманисты» кинутся, — и как можно громче! Имена зэкам запомнить нетрудно, потому что вся больничка знает нас поименно и в лицо. Только громче, и постараться все успеть, пока не заткнут горло шлангом. Что одна недокричит — другая дополнит. Татьяна Михайловна колеблется:

— Как это я буду кричать? Да я и кричать не умею, никогда не приходилось. И вообще, кричать под пыткой...

Я убеждаю:

— Да не под пыткой кричать, вы под этой пыткой разве только хрипеть сможете. А до нее, когда уже станет ясно, что они таки сейчас это начнут! И не от боли же визжать, а прокричать информацию! Ну, как уходящему поезду прокричали бы...

Раечка в дискуссии не участвует — ей совсем худо. В голодовке ей все время душно; в зоне, чтоб легче дышалось, она лежала снаружи на траве. Тут же мы закупорены наглухо, и кубических метров воздуха явно не хватает. Окно, разумеется, закрыто и зарешечено. Бить стекла? Только хуже — распахнут взрост по маленьким боксикам, там и света нет, и дышать совсем уже нечем: они без окон. Начинаем хлопотать вокруг Раечки и к единому решению не приходим. Впрочем, против идеи самой по себе Татьяна Михайловна ничего не имеет, она только сомневается, что выйдет у нее крик. Это — чисто психологический барьер. Кричать интеллигентному человеку неесте-

ственно, значит, надо себя заставить. Но всегда ли удастся заставить себя, если даже надо?

Восьмой день голодовки. Мы с утра чувствуем себя неплохо. Ну, слабость, конечно, но уж не такая, чтоб совсем без сил. Приносят обед, ставят под нос. О-го-го, чего наготовили! Обычно одного запаха баланды довольно, чтоб отбить аппетит, а тут... Ладно, как приносят, так и уносят.

— Великанова! Врач вызывает. Хочет вас обследовать.

Так. Началось. Какой-то грохот, звон битого стекла... Это, как потом оказалось, наша сдержанная Татьяна Михайловна высадила локтем стеклянную дверь, за что я ее потом буду дразнить «хулиганкой». Крик. Да еще какой! Видно, в стрессовых ситуациях мы способны на такое, чего сами от себя не ожидали бы. В этом мне предстоит лично убедиться через несколько минут. Раечку трясет. У меня тоже сердце рвется (насколько ужаснее были эти минуты того момента, когда взялись за меня!). Но стараюсь запомнить, что она успела крикнуть, что — нет. За дверью все стихает. Значит, одолели.

— Ратушинская!

Ну, дорогие, сейчас мы с вами позабавимся. Меня несет над полом никогда еще не испытанная ярость: Татьяну Михайловну?! Вы посмели пальцем тронуть Татьяну Михайловну... Ну, вы у меня попляшете!

Шестеро мужиков в военной форме. Врач Вера Александровна Волкова. И конечно, Подуст. Как я ни взбешена, но меня поражает и навсегда впечатывается в сетчатку ее вид. Она возбуждена необычайно: глаза горят, лицо в красных пятнах. Ноздри дрожат и раздуваются — вся она в порыве дикого, садистского восторга. Никогда я такого не видела, только в книжках про фашистов читала, но и то считала художественной метафорой.

Вера Александровна:

— Ратушинская, по инструкции мы должны на седьмой день кормить голодающих.

Мы и так уже на день задержали... Может, будете есть сами?

— Я не даю своего согласия на кормление. Я голодаю в защиту Лазаревой. Вы же врач — как вы подписали ей ШИЗО?

— Ратушинская, мы должны заботиться о вашей жизни.

— А о Лазаревой, значит, вы уже позаботились? Заявляю, что могу проголодать тринадцать суток безо всякого вмешательства. Обследуйте меня и убедитесь. Пол я при вас мыла — вы не протестовали.

— Ратушинская, будем кормить!

Это уже Подуст возжелала вставить слово.

И тут на мои плечи наваливаются сзади. Локти и кисти рук вперед! Чтоб не сразу успели надеть наручники!

— Больничка, больничка! Запомните все!

И я кричу все: имена, за что голодовка, кто в ШИЗО, сколько суток и кого насильственно кормят. Орава виснет на мне, но я, видимо, в том состоянии, когда выносят сейфы из горящего здания и плечом останавливают автомобиль. Я таскаю их на себе по всей комнате и кричу, кричу — повторяю все уже по второму разу.

— Телефон четыре-четыре-три-три-девять-пять! Киев! Игорю! Четыре-четыре-четыре-три-три-девять-пять! Запишите сразу!

И еще. И еще! Я не чувствую ни боли (руки уже скручены), ни веса их тел. Только чувствую, что рука, сильнее прочих прихватившая меня за плечо, дрожит.

Нет, непривычная работенка выпала сегодня наряду внутрिलाгерной охраны! Не тренированы они на это дело, да и отпора такого не ждали, да и потрясены предыдущей сценой. Они даже не сразу сообщают, что я не кусаюсь, не лягаюсь — просто выворачиваюсь из их рук. И стыдно им (у них-то нет садистского ража), и торопятся — поскорей, поскорей прекратить мой крик! Догадались наконец, что не наваливаться на меня надо, а просто оторвать

от точки опоры — и, как перышко, вскинули вверх. Скорее, с размаху — на деревянный топчан! Где уж тут соразмерить силы шестерых мужиков с моим голодовочным весом.

В моей голове с грохотом лопнул красный шар, и что было дальше — я знаю только по рассказу Татьяны Михайловны.

## ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Оказывается, меня без памяти приволокли в тот самый бокс без окон, в «двенадцатый корпус». Так называется корпус психиатрического отделения. О нет, не потому, что заподозрили Татьяну Михайловну и меня в ненормальности. А просто надо было изолировать понадежнее, а таких боксов в других отделениях нет. Там еле умещались две больничные койки и ведро, накрытое клеенкой, — наш «туалет». На одну из этих коек меня и бросили. Сколько-то времени спустя туда же запихнули Татьяну Михайловну — все еще со скованными руками.

— Ирочка! Ирочка! Вы меня слышите?

Это было первое, что вынесло меня из черной пустоты. Слышу, слышу! Но как открыть глаза? Словно во сне, когда хочешь бежать, а ноги не слушают. Или кричишь, а голоса нет. Наконец сработали нужные мышцы (совсем не те, что я напрягала) — и вот я вижу, еле-еле из темноты — лицо Татьяны Михайловны. Вернее, два ее лица, наплывающие друг на друга. Почему темно? Что-то случилось с моим зрением? Нет, просто лампочка слабенькая, да еще в каменной нише за решеткой, а другого освещения нет. Татьяна Михайловна расталкивает меня плечами и локтями — кисти рук стянуты наручниками за спиной. Отвечаю:

— Все, все в порядке.

— Слава богу! Что они с вами сделали?

Откуда я знаю, что они сделали. Ну, грохнули головой (видимо, затылком) о топчан. А что потом?

Даже заливали или не заливали этот проклятый раствор — не знаю. Вроде бы нет — не чувствую того, что должна бы по описаниям Тани Осиповой («будто бы желудок набит камнями»). А может, перепугавшись, залили не все два литра, а чуть-чуть, для порядка? Или вообще плюнули, ведь эта мера была с самого начала задумана как пыточная, а какой смысл пытать человека без сознания? Все равно ничего не почувствует... В общем, насилие было, а кормление — вряд ли. И голода, обязательного после этого, не ощущаю. Но утверждать не могу. Может, Вера Александровна, когда ей придет время подумать о душе, расскажет правду?

Убедившись, что я не только моргаю, но и соображаю, Татьяна Михайловна несколько успокаивается. Господи, как у нее-то самой после экзекуции хватает сил со мной возиться. Стараюсь ей улыбнуться. Вроде получается. Тут приходят и снимают с Татьяны Михайловны наручники. Снимают ли и с меня? Или расковали мне руки раньше, убедившись, что перестарались? Нет, я слишком многого хочу от своей памяти. Татьяна Михайловна, понимая, что врачи смотреть меня отнюдь не прибегут, делает простейшую проверку — прикрывает мне глаза ладонью, а потом поворачивает мою голову к лампочке. Зрачки не сужаются, как им положено, на свет. Ну-ка, еще раз! Нет, не сужаются. Ну, ясно — сотрясение мозга. Что при этом надо? Лежать, как можно меньше двигаться и отнюдь не читать. Двигаться тут все равно негде, а насчет чтения я взвою только послезавтра (и моя безжалостная союзница мне этого никак не позволит), а сейчас мне не до того. Тошнит. Я еще даже не знаю, как поведет себя мое тело, когда я заставлю его встать. Потом окажется, что все-таки послушается, хотя его будет заносить в разные стороны. На некоторое время я утрачу чувство равновесия, но это постепенно восстановится. Останутся лишь изматывающие головные боли, которые досаждают мне до сих пор — разумеется, в самые неподходящие моменты.

Как и все стихийные бедствия, они тоже подчиняются «закону подлости».

Как ни странно, это мое сотрясение в итоге обернулось для зоны (и для меня в том числе) сущим благом: мучители наши здорово перепугались. А ну как стукнули бы чуть посильнее? Или виском? Или я была бы чуть послабее? Значит — убийство во время насильственного кормления? Скандал! Да не потому, что жалко моей жизни, но ведь огласка — убили политзаключенную. Если не свидетели, то слушатели имеются в большом количестве... Такое, пожалуй, не скроешь. И где гарантия, что на другой раз все так же хорошо сойдет? Вон, плятятся в глазок каждую минуту, жива я или нет. Короче, больше они с нашей зоной никогда на такое не решались и следующих голодающих пальцем не трогали. Так я и не испытала на себе этого омерзительного насилия, и что чувствует человек, в которого закачивают сочиненную тюремщиками жидкость, не знаю. И слава богу! Предпочитаю пожизненные головные боли.

А где же наша Раечка? Она должна была бы идти третьей. Может, в соседнем боксике? Голоса ее Татьяна Михайловна не слышала. Мы за нее здорово беспокоимся: бог знает что в голодающих заливают, может, какой-нибудь костный бульон или мясной отвар? А у Раечки аллергия на все мясное — да такая, что глотка бульона достаточно, чтобы свалить ее с ног. Как потом выяснилось, когда она осталась одна, к ней ввалились все эти шестеро мужиков и под угрозой насилия заставили выпить приготовленную для «кормления» жидкость. Рая при этом заявила, что голодовку не снимает, но у нее нет сил сопротивляться, как сопротивлялись мы. И выпила — мол, все равно зальют. Тут-то и началось. Ликующая Подуст пришла к ней через час и заявила, что составлен акт, будто Руденко добровольно, осознав необоснованность протеста, вышла из голодовки. И приказала:  
— Теперь пишите об этом сами заявление, все равно акт уже составлен и вам никто не поверит.

Ах так?! И Рая написала заявление, что голодовку не снимала и снимать не намерена и что будет голодать, пока Лазарева в ШИЗО. Она сожалеет, что поддалась на шантаж врача и угрозы шестерых мужчин. И в дальнейшем никакой «добровольности» с ее стороны не будет — пусть насилуют, как насилывали нас.

Можно себе представить, как возмутились начальники. Ведь их логика: раз ты хоть в чем-то поддался — все! Ты уже наш! Секундная слабость — слабость навеки! Даже если это слабость измученной женщины перед ражими, сытыми мужиками. И уж если ты после этого возвращаешься на прежнюю позицию — ты этим прямо-таки нарушаешь их законные права на твою душу! И нет тебе пощады... Раечку заперли одну и больше суток не давали ей воды — это на девятый-то день голодовки. Она сквозь дверь просила санитарок, чтобы принесли пить. Но они отвечали, что это строго-настрого запрещено. Потом к ней опять приступили:

- Снимаете голодовку?
- Нет!

И на этот раз залили через зонд — единственное исключение из всех наших голодовок после моего сотрясения. Больше, впрочем, и с ней не рисковали — она была уже доведена до точки. Так пришлось Раечке расплатиться за то, что она потом называла своей слабостью и переживала как серьезную уступку. Мы, конечно, ей только сочувствовали. Я знаю эту породу «пламенных борцов», которые готовы клеймить позором каждого, кто когда-то хоть чуть-чуть сдал. Но недорого стоит такая бескомпромиссность, которая перекидывается с общих наших угнетателей на своих же! Чаще всего это люди, сами не вынесшие и десятой доли тех испытаний, что достались другим. Человек же, прошедший весь этот путь без страха и упрека, — так посмотрелся на людские страдания, что не склонен осуждать по мелочам. Ну, нет у человека сил — так ты его поддержи, если у тебя самого есть. Глядишь — и окрепнет.

Совсем выдохся — честно выйдет из борьбы и будет тебе же помогать по мере возможностей. Каждый несет ту ношу, которую может поднять, и каждый, кто не на стороне палачей, — тебе брат. Это, как правило, не нужно объяснять бывшим зэкам — но ох как порой необходимо понимать тем, кто сам баланды еще не хлебал.

Раечке, конечно, пришлось хуже, чем нам обеим: и шантаж, и одиночество, и насилие, и пытка жаждой. Все оставшиеся от голодовки дни ее держали отдельно от нас. Вдвоем нам было веселее. Больше нас не тревожили, только три раза в день приходили с едой. По их правилам, еда должна стоять у голодающего в камере два часа, и лишь потом ее забирают. В нашем крошечном боксике она оказывалась буквально у нас под носом: трижды два — шесть часов в сутки. Мы прикрывали миски пластиковыми пакетами, чтоб не мучиться от запаха (хорошо, что догадались прихватить с собой, когда нас забирали из зоны). Вентиляции в боксике толком не было. На меня приступами наплывала тошнота, и я думала, что запахи тому виной. Потом оказалось, что это обычный симптом сотрясения мозга. Скоро, однако, это прошло, и мы делили время между сном, разговорами и чтением Экклезиаста<sup>51</sup>. «Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его».

Считали дни. Не только дни голодовки, но и дни до отъезда Татьяны Михайловны. Лагерный срок кончался у нее к началу ноября, но мы знали, что заберут ее раньше. Это у них принято — в виде последнего лагерного подарка тащить человека по этапу месяца два. И помучить напоследок перед ссылкой, и чтоб не вывез из зоны свежую информацию. Договаривались, как будем передавать новости из зоны: все время надо разрабатывать новые СПОСОБЫ на случай завала старых. Нам даже пришла

51

51 Книга Экклезиаста — название ветхозаветной книги, входящей в христианскую Библию.

в голову пара нетривиальных идей. Игорь, конечно, придет к ней в ссылку — расспросить обо всех нас. И ему эти идеи — руководство к действию. Рассказываю про Игоря. Что-то он у меня получается неправдоподобно хороший. Но когда они увидятся, они поймут друг друга с полуслова — два самых близких мне человека на свете! Мы стесняемся сантиментов, особенно в молодости. И потом уже зачастую не успеваем сказать нашим близким самых хороших слов, которые мы знаем. И я Татьяне Михайловне — наверное, не успела. Она, впрочем, и так понимала — она вообще все понимала! Бывают ли люди без недостатков? А вот и бывают! Посидели бы вы с Татьяной Михайловной в лагере — поняли бы, а так — не будем спорить. Могут же быть у людей разные точки зрения на эту аксиому. Но я остаюсь при своем: когда от человека столько света, тени в нем растворяются напрочь.

Впрочем, утешьтесь, скептики — Татьяна Михайловна имеет крупный недостаток — отсутствие музыкальных способностей! Она над этим подшучивает, а все же искренне огорчается. Вполне сочувствую, потому что у меня такая же беда. Обе стесняемся петь всю сознательную жизнь — и счастье окружающих, что стесняемся! Однако сейчас, в этом боксике, Татьяна Михайловна нянчит меня, как ребенка, и по головке гладит, и песенку поет.

Решетка ржавая, спасибо,  
Спасибо, лезвие штыка!  
Такую мудрость дать могли бы  
Мне только долгие века.  
Спасибо, свет коптилки слабой,  
Спасибо, жесткая постель!  
Такую ласку дать могла бы  
Мне только детства колыбель...

Так я ее и запомню: исхудалая рука на моей голове, и эта песня. Никто мне никогда лучшего ничего не спел.

Двенадцатый день голодовки. Завтра должна вернуться Наташа, а Таня уже приехала вчера, если им только не добавили срок. Ну что ж, добавят — продолжим голодовку. Хотите заморить — так уж всех вместе, а не одну! Открывается дверь, и входят знакомый нам капитан Шалин и незнакомый лейтенант. На попытку насильственного кормления не похоже: Шалин вообще-то работает в мужской политзоне, и у нас стал появляться, когда мы дали отставку Подуст. Он с нами осторожен и вежлив, его администрация высылает на дипломатические с нами переговоры. Оба здороваются чин чинном, а потом:

— Ну, снимайте теперь уже голодовку! Лазарева в зоне!

Что?! Вернули на день раньше? Шалин объясняет, что вернули не из-за нашей голодовки, а просто сегодня — этапный день. Этапы из больницы и в нее — три раза в неделю. Сегодня есть, а завтра нет.

Ладно, ладно, очень хорошо объяснил.

— А где Руденко?

— В зоне, в зоне, все вас уже ждут!

Ну, пошли. Нам даже помогают донести сумки с нашим зэковским скарбом. В доме, действительно, уже все. Ой, как Таня отощала! Она там, в ШИЗО, тоже держала голодовку — в защиту Наташи. Кормить ее не пытались, и даже на шестые сутки выдали неположенную в ШИЗО постель — во какой гуманизм! Ну таки пора снимать голодовку, хотя дело это простое. Как вы уже догадываетесь, роскошное питание, которое нам приносили до сих пор, пропало в этот же день. Черный хлеб и баланда. Накидываться на еду сразу опасно, да и нельзя есть все подряд. Специалист по выходу из голодовки Раечка, они с мужем на свободе занимались лечебным голоданием. Она объясняет, что первые несколько дней вообще ничего есть нельзя — только пить фруктовые соки. Потом можно начинать тертые яблоки и морковь, потом молочное... В общем, ясно — программа эта для нас нереальна. Да еще и огорода, как назло,

нет — именно сейчас, когда бы он нас так выручил! Что поделаться, будем импровизировать. Раечка сооружает жидкий суп: выловила из баланды картошку, нарвала лебеды... К вечеру можно будет по кусочку хлеба, только надо высушить его в печке и жевать долго-долго. Режем принесенную дежурнячками буханку. А это что? Комок слипшейся соли размером с хорошую клубничину! Из другого куса вытаскиваем обрывок веревки. Ну, спасибо, хоть печеных тараканов в нем нет! Вспоминаем, как пару месяцев назад нашли в хлебе сапожный гвоздик. Назавтра баланда пересолена — отправляем обратно. Не очень-то отличается наше сытое время от голодовки... Ларька мы, конечно, и на сентябрь лишены. Ладно, не пропадем! Мы так счастливы, что все мы вместе! Пани Ядвига читает молитву, и мы опускаем ложки в миски с Раечкиным супом.

## ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Но самого главного события в эти голодовочные дни мы, оказывается, еще не знаем! Только теперь, когда все в сборе, Таня и Наташа начинают рассказывать. И чем дальше — тем менее мы способны сдержать восторженный стон, а потом и хохот. Ведь бедная Подуст так торопилась закатать ненавистных Лазареву и Осипову в ШИЗО, что еле дождалась конца нашего свидания! Иначе, конечно, нельзя: а вдруг я ляпну Игорю о происшествии? Тогда — та самая огласка, которой они так до смерти боятся. Но свидание-то наше кончилось в восемь вечера, а последняя «кукушка» уходила из Барашева на Потьму часом раньше. Значит, пришлось Игорю, Альке и нашим обеим матерям (они, оказалось, тоже приезжали, да их ко мне не пустили) тут же заночевать, а утром направиться на первую «кукушку» — ту самую, что должна была везти наших подруг. В Барашеве нравы простые: вольные и зэки едут одним поездом, только в разных вагонах. Да и чего

стесняться, все вольные здесь тюремщики. Что они, эзков не видели? А на свидания сюда приезжают редко, не заказывать же отдельный поезд для случайных посетителей! Мы с наслаждением представляем себе, что было дальше: вот ведут Таню с Наташей два автоматчика. Выводят из зоны — и к платформе, где Игорь с семьей и кучка сотрудников лагеря, едущие в свободный день отовариваться на Потьму, а то и в Москву. На что был расчет? Что не узнают друг друга? Как бы не так! Конечно, они никогда не встречались, но раз нет нагрудных знаков — ясно, что женская политическая зона. Игорь уже открыл было рот, но Таня его опередила:

— Здравствуйте, Игорь!

Она-то знала его в лицо, как и я ее Ивана, — сколько мы вместе просиживали над фотографиями наших мужей! Игорь кинулся к ним:

— Куда вас везут? Как фамилии?

И Таня отчетливой скороговоркой чеканит ему: кого везут в ШИЗО, и за что, и кто голодает и бастует. На сколько суток каждую — и то не забыла! Что делать автоматчикам? Стрелять? Так нет же попытки к побегу! Тут, наконец, лагерная публика на платформе (в основном бабы), даром что не при исполнении обязанностей, догадалась кинуться на Игоря, оттесняя его от наших. А он, стряхивая их с себя — осторожно, чтоб этих красавиц не повредить, — все рвался к Тане. Вдруг еще что-то успеет крикнуть. Но информацию Таня уже оттарабанила и теперь позволяет себе напоследок:

— Мы вашу Ирочку очень любим!

И Наташа:

— Очень-очень!

За эти два единственных слова Наташа поплатилась так же, как и Таня за все возмутительное разглашение лагерных дел, — обеих лишили очередного свидания.

Тут их оттеснили друг от друга окончательно, и поехали они в соседних вагонах: счастливые нежданной удачей Таня и Наташа и моя семья —

матери, сдерживающие слезы, Алька, по молодости и незакаленности сдержать их неспособная, и Игорь.

Сейчас уже, вспоминая эту сцену вместе с ним, спрашиваю:

— Каково тебе-то было?

Но он не любит про свои эмоции.

— Все дорогу облизывал Альку. Детеныш был в полном шоке. Я-то заранее знал, что могу увидеть, а она ведь — в первый раз...

Конечно, доехав до Москвы, он в то же утро пустил эту информацию по всем каналам — и пока наши сидели в ШИЗО, а мы голодали — все уже стало известно. Нет, это надо чувствовать: вместо того чтобы неделями маяться с крохотной запиской или ИНЫМ СПОСОБОМ и ловчиться, как передать, — такое везение! Ай да Таня! Как сориентировалась! Ведь растерялась бы на секунду, и все пошло бы прахом. Мы выражаем ей свои восторги в нашей обычной манере:

— Со своим мужем свиданий не имеет — так с чужим урвала!

— Ирочка, не устроить ли вам сцену ревности?

— Сейчас, сейчас вцеплюсь в волосы!

— А Подуст, сердечная, как должна переживать!

— А КГБ?

Отсмеялись, и пошли разговоры о семьях, достали фотографии — сто раз уже всеми виденные. Но теперь рассматриваем каждое лицо с новым вниманием: когда-то Бог приведет встретиться? Все эти незнакомые люди — почти родные нам, мы ведь знаем, как их любят те, с кем нам вместе идти через лагерный срок.

А Игорь, когда мы встретились с Таней уже в Америке, все удивлялся, какая Таня маленькая. Тогда, под двумя автоматами, она показалась ему из-за своей королевской осанки — очень высокой. Впрочем, как все королевы.

Это, конечно, не единственное, что просочилось на свободу в тот трудный август. И опять же благодаря безудержному карательному восторгу нашей

«белокурой бестии». Еще 11 августа, до всех главных событий, она не нашла ничего лучшего, как провести с пани Ядвигой воспитательную беседу прямо в присутствии допущенных на свидание ее родственников. Каково было сыну и сестре нашей твердокаменной Ядвиги слушать такой диалог:

- Беляускене, вы ведь уже пожилая, на вас здорового места нет (следует перечисление всех ее болезней). Хоть о родных бы подумали. Не наденете нагрудный знак — поедете в ШИЗО, а оттуда и здоровых выносят!
- Я лучше умру, а не пойду против совести.
- Все равно заставят!

Так и уехал Жильвинас обратно в Литву, очень хорошо себе представляя, что собираются сделать с его матерью, если она не пойдет против совести. И конечно, Игорь с Жильвинасом встретились и все сопоставили. Война нашей зоне была объявлена, но кроме двух сторон — нас и КГБ — была еще и третья в этой войне: все те люди, что боролись за нас со свободы. Из России, Украины, Литвы, Англии, Швеции, США... Ох как хочется перечислить все страны и всех — поименно! Но нельзя — имена одних в секрете от КГБ, имена других я так никогда и не узнаю (тысячи их писем, отправленных к нам в лагеря, сожжены цензурой, и ни одно не дошло!), имена третьих сами по себе заняли бы два-три тома. Названия стран? Откройте географический атлас почти на любой странице — и будьте уверены: там тоже были те, кто стоял у советских посольств, собирал подписи в нашу защиту, молился за нас. И как раз эта третья сторона решила исход войны: перед нами, обессиленными, неохотно открывались ворота лагеря, выпуская одну за другой. Пока Малая зона не перестала существовать. Но это не значит еще, что все обрели свободу. До сих пор сидят по ссылкам Татьяна Великанова и Елена Санникова. И я, уже с другой стороны советской границы, срываю голос: поможем им! Добьемся для них свободы!

Верьте, люди третьей стороны, все зависит от вас, и вы можете гораздо больше, чем сами думаете!

А пока мы медленно выходили из голодовки: таскали на себе килограммовые послеголодовочные отеки, теряли сознание от резких движений, но все же мало-помалу приходили в себя. 1 сентября за Татьяной Михайловной явились.

— На этап!

Ну тут уж мы навалились на нашего «врача-палача» Волкову. Кстати, потом она вышла замуж, поменяла фамилию и стала... Зверева. Честное слово, это не беллетристический ход — у меня и фантазии не хватило бы. Наша Вера Александровна вполне историческая личность, и прятать ее имя от КГБ нет надобности. Они и так хорошо знакомы. Не позволили мы увести Татьяну Михайловну, вызвали медчасть:

— Двух суток не прошло после голодовки! От работы вы ее освободили, а от этапа — нет? Да вы знаете, что такое этап?! В общем, так: признаете Великанову годной к этапированию, а с ней по дороге что-то случится — мы все свидетели. Не открутитесь потом!

Подействовало — то ли это увещевание, то ли заявление в прокуратуру. Но уже ясно, что быть нам вместе считанные дни. И радуемся, и грустим. И собираем ее в дорогу. Пани Ядвига шьет из обрезков кроя комнатные туфли — прочные, красиво простеганные, неторопливой зэковской работы. На них она еще и вышивает сложную символику: тут и мы все, и прошлое, и будущее, и звезды, и колючая проволока. Я записываю все стихи, которые могут пройти цензуру из «детского цикла». В виде подарка внуку Татьяны Михайловны — вдруг да пропустят? Татьяна Михайловна переживает:

— Я уеду, за вас наверняка возьмутся с новой силой.

Да, похоже на то. Главные свои сюрпризы они наверняка придерживают, чтоб Татьяна Михайловна не могла о них рассказать на свободе. Ну да ладно,

связь все равно будем держать — не зря так подробно обговаривали наши СПОСОБЫ. Выше нос! Не пропадем!

Татьяна Михайловна раздает все свои вещи. Тане — словарь, мне Библию и томик Мандельштама, одежду — всем поровну. Ссылные уже едут в своей одежде, и на вахте Татьяну Михайловну ждет посылка из дома — с вещами «гражданского образца». Мы уговариваем ее взять что-то теплое с собой — ни в какую!

— У меня все будет, а у вас пока — ничего.

И когда 5 сентября за ней приходят — так и идет к воротам без телогрейки, в чем есть, с маленькой самодельной сумкой. В сумке — все наши подарки и запихнутый Раечкой в последнюю минуту кусок лагерного хлеба. Все уже переговорено, но как трудно прощаться! Присели перед дорогой — по старинному обычаю. Провожаем гурьбой до ворот. Трижды, по-русски, целуемся. Пани Ядвига крестит ее католическим крестом, а мы — православным. Худенькая, седая женщина исчезает в воротах, и с грохотом закрывается замок.

Все. Проводили. Освободившись, я позвоню к ней в ссылку, потом буду звонить уже из Лондона и читать в трубку посвященные ей стихи. Но увидеться мы так и не увидимся: после освобождения я буду слишком слаба для тяжелой дороги в Казахстан. И теперь грызу себе локти: как же все-таки не поехала? Какое там сердце? Какой бронхит? Как можно было считаться с такой ерундой? Ну не держалась бы на ногах — Игорь бы доволок! А теперь — когда удастся обняться? Господи, прости мне ту дурацкую слабость, сделай, чтоб удалось!

А пока я перебираю ее письма — те, что она писала мне в зону. Они у меня всегда были при себе.

<sup>52</sup> «Ирочка, дорогая, у Беллы Ахмадулиной»<sup>52</sup>  
<sup>53</sup> есть такие строчки в стихе Пабло Неруде<sup>53</sup>:

<sup>52</sup> Белла Ахмадулина (1937—2010) — крупнейший русский лирический поэт второй половины XX века.

<sup>53</sup> Пабло Неруда (1904—1973) — чилийский поэт, дипломат и политический деятель.

Да было ль в самом деле это?  
Но мы, когда отражены  
В сияющих зрачках поэта,  
Равны тому, чем быть должны.

А прочла и сразу вспомнила и ощутила, как мы читали Экклезиаста». И еще: «...помню я Вас и всех всегда и постоянно, и мысленно разговариваю, спорю даже. Все-таки не успели мы с Вами доспорить на разные темы!»

И еще: «...постарайтесь не болеть и научиться терпению и терпимости. Я не хочу сказать, что их нет у Вас, просто нужно больше, всем больше, чтобы понимать других и непохожих».

Ну как же, конечно, Великанова оказывала на меня дурное влияние: она прямо противоречила моральному кодексу строителя коммунизма... И я училась, училась, училась терпению. Времени впереди хватало — отпустившие мне срок на обучение были щедры.

## ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Потом уже оказалось, что Татьяну Михайловну вовсе не повезли сразу в ссылку — ей дали два месяца лагерной тюрьмы, ПКТ, «за отказ от ношения нагрудного знака и злостное нарушение режима содержания». Сентябрь и октябрь она провела в нетопленной одиночке уголовного лагеря — разумеется, безо всякой посылочной одежды. А ведь тогда уже были заморозки... И там же она держала нашу заранее объявленную голодовку — в защиту своих сограждан.

Главам 36 государств, подписавших  
Хельсинкское соглашение  
Мы, политзаключенные женщины Советского  
Союза, свидетельствуем, что в нашем государстве  
нарушаются основные права человека.

Советские граждане лишены свободы слова, печати, собраний, права выбора места жительства, права свободного передвижения даже в пределах собственного государства, подвергаются дискриминации по национальным и религиозным признакам, а также преследованиям за убеждения.

Мы свидетельствуем, что в Советском Союзе жизнь не только политзаключенных, и не только заключенных вообще, но и всех граждан регламентируется не столько законом, сколько секретными инструкциями. Поэтому советские люди лишены возможности даже достоверно знать свои права и обязанности, и тем более их реализовать. Они находятся в обстановке бесправия перед советской тоталитарной машиной.

В подтверждение этого мы готовы привести конкретные факты перед любой международной комиссией.

Мы считаем, что только государство, уважающее право своих граждан, заслуживает доверия в международных отношениях.

Мы выражаем солидарность со всеми, кто имеет мужество бороться с ложью, произволом и насилием.

Не имея сейчас никакой другой возможности защитить своих сограждан, с 7 сентября 1983 года мы объявляем восьмидневную голодовку в защиту их погранных прав.

6 сентября 1983 г.

АБРУТЕНЕ, БАРАЦ, БЕЛЯУСКЕНЕ,  
ВЕЛИКАНОВА, ЛАЗАРЕВА, ОСИПОВА,  
РАТУШИНСКАЯ, РУДЕНКО

Что это значит — голодать в ПКТ — мы поняли позже, когда самим пришлось. А эта вторая подряд голодовка обошлась для нас семерых сравнительно легко. Во-первых, администрация сделала нам неожиданный подарок: Владимирова в очередной раз отправилась в больницу. Никто не орал над ухом, не шпионил за нами — вот только недосчитались

мы нескольких шариковых ручек, а они в уголовной больничке большой дефицит и предмет спекуляции. Тихо-тихо было в нашей зоне. Последним цветом пылали астры и поздние георгины. Рябиновые гроздья налились красным. Нюрка шастала по зоне на мягких лапках, и дежурнячки уже привычно подкармливали ее. А осенние мордовские закаты светили еще долго после того, как солнце уходило за забор. Изолировать и кормить нас насильно никто не пытался. Подуст тоже куда-то делась. Вечерами мы топили наш «камин» — добиться, чтобы вставили вывалившуюся печную дверцу, мы смогли только в августе 85-го. Впрочем, так нам даже нравилось — в наши иссохшие тела шел живой жар, а догоравшие угли постепенно меняли цвет. В голодовке вообще становишься гораздо чувствительнее к цвету и запаху, зрение делается более выпуклым, и лучше замечаешь медленные детали жизни. В темно-коричневой колодезной воде плавал рябой, наполовину желтый тополиный лист — и мне это казалось так красиво, что я медлила зачерпнуть воды вовсе не от слабости.

В первые дни голодовки пришел в зону кагебешник из Москвы со свитой из местной администрации. Видимо, уже прогремело для них с ясного неба сообщение о мятежной зоне. Общаться, впрочем, не пробовал — видел, что говорить с ним здесь никто не станет. Вообще-то каждая из нас вела себя по-своему: кто считал возможным с ними разговаривать, кто нет, но права приходиться к нам в зону мы за ними не признавали. В конце концов, лагерь — в ведении Министерства внутренних дел, и КГБ нечего к нам соваться. Мы не приговорены к обязательному с ними общению и в гости их к себе не звали! Понюхал москвич и уехал.

14 сентября был визит уже более интересный — приехал начальник оперотдела Управления Горкушов. Тот самый, что заботился, как же мы будем рожать после ШИЗО. Спрашивал, какие у нас претензии, и заверял, что все равно мы ничего не добьемся, с нами поступают так, как велят «сверху». Объяснил,

что своей голодовкой мы злостно нарушаем режим содержания: по закону заключенные не имеют права ни за кого заступаться — ни друг за друга, ни за своих сограждан. Мы сообщили ему, какого мы мнения о таком законе, — на чем и расстались. В тот же день, однако, всех нас впервые осмотрел врач.

Последний день голодовки принес нам сюрприз: нагнали уголовниц с тяпками пропалывать траву на запретке. Конечно, мы были по разные стороны проволоки, но косились друг на друга с понятным интересом. Общаться с нами им было запрещено — и мы не заговаривали, чтоб не подвести их под неприятности. И вдруг, дождавшись, когда дежурнячка лениво протопает на другую сторону участка, две из них подступают к проволоке:

— Девочки!

Подходим. Быстро-быстро суют нам из-под форменных блуз какие-то свертки и отскакивают назад. И уже оттуда, берясь за тяпки:

— Мы знаем в больничке, что вы голодаете за права. И что вообще все время голодом сидите. Вот мы собрали для вас — там все полезное. Скушайте, когда голодовку снимете!

В доме разворачиваем свертки. Морковка, белый хлеб, пара кубиков сливочного масла... Целый кулек сахару! Кто эти женщины, что собирали для нас по крохам передачу? Что побудило их, толком не зная ничего о тех самых «правах», поддержать нас, рискуя быть пойманными? И чего стоят тогда все эти теории, что наш народ сам не чувствует своего бесправия и никакие гражданские свободы ему не нужны? Я и сама когда-то в молодости, считая себя одной такой умной на белом свете, так и думала про тех, кто растил мне хлеб и шил летние платья (еще не зная, что как раз такие шьют в лагерях). Тогда я хотела эмигрировать — «вырваться из этого болота». Теперь, в вынужденной эмиграции, я знаю то, чего не знала тогда. Спасибо, Господи, что мне пришлось пройти этапами, прятать стихи и книги от КГБ,

гнить по карцерам и голодать. Только выйдя на открытую борьбу, я увидела, как мне помогают чуть не все, кто встречается на пути. Эта тихая помощь выносила мои стихи на свободу, помогала Игорю распечатывать их на машинке, размножала в фотокопиях и отправляла в самиздат и за границу. Эти такие разные руки — молодые и старые — подсовывали нам кусок хлеба, когда мы доходили от голода, эти глаза нам улыбались — серые, карие, голубые... И ощущая удивительное: все за нас и против наших палачей — я отходила от своей юной гордыни, и таяло во мне то высокомерие, что могло бы погубить мою душу. А Игорю в это время помогали киевские работяги, с которыми вместе он орудовал напильником, расконвоированные зэки, московские профессора и даже мои тюремщики. Среди тюремщиков ведь тоже очень немного убежденных садистов, большинство туповато-лукавые служаки, что не всякий приказ рады выполнять. Где-то в недрах их затянутых ремнями душ есть в зародышах и стыд, и совесть, и жалость — все то, что спасет когда-нибудь мой народ.

Спасибо вам, женщины из уголовной больницы! Я не знаю, за что вы попали в лагерь. Не знаю, много ли было вас, собиравших для нас еду. Но, конечно, навсегда запомнила имена тех двух — они были на их нагрудных знаках. Вы уже знаете, читатель, почему я их не напишу. Вычисляй-вычисляй, кагебешник, составляющий реферат по моей книге: сколько сотен прошло через больницу осенью 83-го? Особые приметы? Пожалуйста. Они были в синих линиях платьях, черных форменных блузах (или это называется — жакеты?), белых косынках и кирзовых сапогах.

Прячем свертки в тайничок, сегодня еще голодовка. В двенадцать часов ночи наступит следующее число, когда наши восемь суток закончатся. Последний вечер. Все в столовой, за кипятком. Пани Ядвига читает нам свои стихи. Написала она их по-литовски, но для нас перевела на русский:

как Господь сегодня вечером приходит к нам, незримый. Знали бы мы, что Он здесь, подвинули бы Ему скамейку, чтоб сел. Но мы Его не видим, а Он зато видит нас. И не нас даже, а наши сердца. Наивные и простые слова, немного не в ладах с русской грамматикой. Но написано это не для литературных критиков, а нам эти слова согревают душу. Они — как резная литовская скульптура в костелах: на первый взгляд — грубоватая и с нарушением пропорций, а потом видишь, что никакая безукоризненность не оставила бы и десятой доли того впечатления. Десять часов — отбой. В двенадцать мы с Таней выходим на «кухню» — закуток в пять квадратных метров. Кто-то из нас был золушкой в ту неделю, я не помню кто. Затея наша проста: не ждать до утра, а накормить наших сейчас. Ведь официальное время голодовки уже кончилось. Вернее, даже не накормить — а дать совсем немного, тогда к утру уже можно будет что-то посолиднее. Трех подаренную морковку на самодельной терке (Наташа как-то разрешила пополам консервную банку, набила в ней дырок гвоздем и приделала к ней дужку из стальной проволоки). Ох, какая это тяжелая работа! Несколько раз энергично шаркнешь морковкой по терке передышка. Еще пара заходов — опять передышка. Ну, неужели у нас нет никакой силы в руках?! Наконец одолели. Раскладываем поровну в семь мисок. Это получается — по две столовые ложки. Прекрасно! Завариваем чай из рябиновых ягод, и в него — целых три ложки сахару! В довершение разгула добавляем по черному сухарику и по три конфетки-горошины. Этот цветной горошек продается в ларьке и тоже передан нам из больнички.

Идем будить наших, знаем, что не обидятся. Но, оказывается, никто и не спит. Все догадались о нашей аванюре, лежат как паиньки и ждут, когда мы их позовем есть. И до чего же лихая получается эта ночная пирушка! Лица чуть-чуть розовеют — от еды или от веселья? Голоса чуть-чуть громче, смех за каждым словом. Свет из кухни солдату не виден —

он в том углу, что не просматривается. Топ-топ-топ... Кто это? Ах да, дежурнячка Аня с ночным обходом! Ну и как она среагирует на этот незаконный ночной кутеж? С первого взгляда оценивает ситуацию, беззвучно смеется и грозит нам пухлым пальчиком.

— Только сидите тихонько, женщины, а то мне нагорит. И как поедите, сразу тушите свет, начальник караула может пойти по запретке.

Вот и кончилась наша Мадридская голодовка — что дальше? Это уж зависит не от нас, а от тех сюрпризов, что заготовил нам КГБ. Не будет никаких издевательств — будем мирно шить свои варежки и писать письма, два раза в месяц. Начнутся «воспитательные приемы» — придется нам как-то реагировать. Вы думали, у нас нет уже сил? Есть, есть! Сами не знаем, откуда берутся. А может — знаем?

Что-то завтра, кораблик наш, Малая зона,  
Что сбудется нам? По какому закону  
Скорлупкой по мертвым волнам?  
Весь в заплатах и шрамах,  
На слове — на честном — одном  
Чьей рукою храним наш кораблик,  
Наш маленький дом?  
Кто из нас доплывет, догребет, доживет  
До других,  
Пусть расскажет: мы знали  
Касание этой руки.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

— Женщины! В ларек!

Ларька мы в этом месяце тоже лишены, но по закону имеем право купить мыло, зубной порошок и тому подобное. Наказывают только лишением еды, а лишать зэков мыла — себе дороже: лечи потом от чесотки! Отыгрываются на том, что продают мыло самое дорогое — в шесть-семь раз дороже обычного. Такое и на свободе мало кто купит, а нам деваться

некуда — уходят наши нищенские пять рублей в месяц на необходимую гигиену. Входим в ларек и столбенеем: овощи, фрукты, печенье, повидло, даже какой-то сыр! Это что же такое? Да бывает ли такое в лагере? Нам торжественно объявляют:

— Вы, женщины, всего этого купить не можете, потому что на вас на всех — постановление о лишении.

Ладно, купим мыла. Да вон, кстати, и косметический крем какой-то лежит, дополняя картину неслыханного изобилия. Но, оказывается, и этого нам продавать не велено. Нарушение закона? У них закон один — что начальник лагеря велел. А он лично распорядился. Зачем же нас сюда привели? Только чтоб подразнить? Сами они объяснить не могут: велено привести и отвести назад, ничего не позволив купить. Ну-ну, старайтесь, милые. Приемы у вас один примитивнее другого: припугнуть посильнее, да показать пожирнее кусок. Дешевые соблазны — как раз в рамках вашей системы ценностей. Вы-то сами не можете представить себе ничего более значимого, чем этот самый кусок. Так что же с вас, бедняги, и спрашивать! Уходим, посмеиваясь. Ведь чего они хотят? Чтоб мы перевоспитались! То есть стали такими, как они. И, сами того не ведая, ежедневно прищипывают в нас чувство непобедимой брезгливости: когда видишь их в действии, просто физически невозможно становиться на сторону всех этих оперативников, прокуроров, кагебешников... С души воротит. Уж лучше нырнуть в выгребную яму, чем подгонять свою душу под их требования!

Но все-таки — не слишком ли дорогостоящий этюд? Ведь это же надо было где-то раздобыть все эти потрясающие блага! Ну, не нам — так кому-то другому их продадут, хотя бы тем же дежурнячкам. Нет, психатака своим порядком, а тут что-то еще. Сидим и гадаем, а все внутри подводит от голода. Дело в том, что нам третий день не несут пайку хлеба, а баланды опять пошли пересоленные, и мы их возвращаем обратно. Спасает лебеда и оставшаяся

с позавчера овсянка, но на сколько можно растянуть лагерную порцию овсянки? Ах, крапива наша пропала! Жаль...

И вдруг являются с обедом. Батюшки, что это?! Несоленая манная каша и кубики сливочного масла. Откуда? Ну, сахар — ладно, его, хоть и символически, нам все же должны выдавать. Хотя и его явно втрое больше нормы. Но масло? Оно выдается только по специальному пайку для больных, а больными никого из нас не признают — ни Наташу, ни Раю, ни пани Ядвигу. Что за чудеса? Хлеба, впрочем, нет как нет, но при такой благодати мы на это забываем обратить внимание.

Садимся за стол. И только успеваем взяться за ложки — грохот сапог! Человек десять разного офицерья, половина нам незнакома. Зато мы прекрасно знаем местного оперативника Шлепанова, и он-то заговаривает первым:

— Видите, гражданин полковник, у них тут все есть: и сахар, и масло!

Тут-то до нас и доходит, откуда взялось нежданное изобилие. Просто это — показуха перед комиссией из ГУИТУ<sup>54</sup>! Как же, из Москвы приехали, надо же им доказать необоснованность наших жалоб.

Ох, как меня взрывает! Я выскакиваю из-за стола — и к тому самому полковнику, перед которым эта свора лебезит:

— Смотрите, смотрите на это масло! Мы его тоже впервые видим! Видите, какая огромная порция? Граммов шестьдесят! А у нас одних инвалидов — трое! Смотрите же, ловите момент! Больше такого в нашей зоне никогда никто не увидит! Это — в вашу честь, а не для нас! Намазать вам бутерброд?

— Ира, не предлагайте человеку нереальных вещей! Какой бутерброд, когда третий день нет хлеба?

<sup>54</sup> ГУИТУ — Главное управление исправительно-трудовых учреждений.

Это Галя делает резонную поправку. Меня, впрочем, несет:

— Так если вы такой влиятельный, может, и законную пайку хлеба нам организуете? А заодно и медицинскую помощь? Чтоб это масло — не подачка ради комиссии, а больничный паек для инвалидов!

И весьма активно сую ему под нос плошку с этими несчастными кубиками. Он, бедненький, отступает на шаг. Видимо, сейчас, тощая и разъяренная, я похожа на кобру с раздутым капюшоном. Я понимаю, что надо быть сдержаннее, и перехожу на светский тон.

— Впрочем, присаживайтесь, побеседуем.

Наташа потом утверждала, что у меня был такой вид, будто я сейчас размажу это масло по его парадному мундиру. Я, конечно, и в мыслях этого не имела, но раз так выглядело со стороны — уже нехорошо. Это была моя первая и последняя вспышка перед представителями власти: с противником надо говорить холодно, вежливо и спокойно. Или уж вообще не говорить. Нечего им выплескивать свои эмоции! Но тогда меня просто застали врасплох, сама от себя не ожидала, что сорвусь.

В тот раз, однако, этот мой взрыв негодования неожиданно сработал, комиссия уже не могла принять за чистую монету жульничество нашей администрации. Да и вид наш говорил сам за себя. Претензии они, естественно, выслушивать были не намерены. Ни одна столичная комиссия никогда с нами бесед не вела, да и многие вообще не заходили в зону. Только по красным и белым нарукавным повязкам дежурнячек мы и знали, что в лагере комиссия: так-то они повязок не носили. Проверяющим не нужна была информация о беззакониях и жестокостях, они приезжали совсем за другим — получить от наших же мучителей заверения, что мы живем как в санатории, а Москву своими заявлениями беспокоим просто из вредности. А тут — хочешь не хочешь, выслушали голубчики! Конечно, немедленно

ретиrowались, но хлеб нам принесли в тот же вечер, мыло и крем продали, пересаливать баланду до поры до времени перестали. Подуст почти пропала, а когда и заявлялась — не хамила и не пыталась нас вызвать на перебранку. Пайку стали выдавать сравнительно прилично. Вероятно, сыграла роль огласка, да и, по словам начальника лагеря, «непонятно, что с этой зоной делать». На уступки мы идти не собирались, да никто от нас уже их и не ждал.

Даже тексты постановлений об очередных «лишениях» изменились. Так и писали: «Лишена на октябрь права покупать продукты питания за отказ от нагрудного знака». А до этого в тех же постановлениях к нагрудным знакам обязательно пристегивали какое-то вранье — чтоб было побольше «нарушений». Например: «Осипова такого-то числа была без нагрудного знака. Кроме того, в двенадцать часов — в рабочее время — была застигнута в спальне, где занималась личными делами». Застигнутая Осипова была вовсе не в спальне, а на кухне — мыла посуду и казенные бачки после обеда. Дежурнячка, написавшая рапорт, это хорошо знает — но что поделаться, ей велели. Или: «Барац такого-то числа была без нагрудного знака и в юбке неустановленного образца». Знают ведь, что одеть нас в форму не могут, и начальник лагеря Павлов сказал нам:

— Выдадут вам матрасную ткань. Шейте из нее что хотите, лишь бы не нарушало приличий.

Ну, мятежная Барац и решила: чем ходить в нижнем белье и ждать формы (это бы уже, согласитесь, нарушало приличия), сошьет она себе куртку и юбку. Юбки «установленного образца» — черные, а ткань нам выдали серую. Ах, злостная нарушительница режима! Да и мы все чем лучше? Тоже ведь носим ту же «матрасовку». И шло, и шло во всех постановлениях бесконечное, циничное и наглое вранье. Летели ларьки, свидания, вот уж наши и в ШИЗО съездили. И вдруг — стоп. Ложь временно прекратилась, остались одни нагрудные знаки.

Казалось бы, какая разница. Ведь все равно репрессии те же. Да, но именно это вранье было для нас противнее всех расправ. Вот не может человек снести, когда ему нагло лгут в глаза! Вот возмущается — так уж устроен! Когда я, еще недели не пробыв в зоне, спросила Татьяну Михайловну:

— А что все-таки самое паршивое в лагере?

Она, уже и ШИЗО прошедшая, и лагерную больничку, ответила мне, ни секунды не поколебавшись:

— Постоянное вранье.

Когда врут все, кто причастен к твоему заключению — от прокурора по надзору до цензора и врача, — упорно, тупо, изо дня в день, кажется, что сидишь в большом сумасшедшем доме. С той только разницей, что психи — как раз твои надзиратели, и пытаются они тебя запихнуть в дикую, вымышленную реальность. Ну чего стоили только одни упорные заявления Шалина о том, что нас не существует!

— Нет у нас в лагерях политзаключенных!

Да и сами же они нас иначе как политическими не называют! Да на наших бачках, в которых носят баланду, и то пометка коричневой краской «политзона»! Да тот же Шалин в порядке нравоучения сколько раз талдычил нам:

— Вот мужская политическая зона нагрудные знаки носит, а вы все упрямитесь!

Ан нет, раз партия сказала: нет у нас политических — будет нам Шалин заявлять, что нас, оказывается, нет на белом свете. Чем это менее дико, чем утверждения типа «я — чайник» или «среди нас скрываются марсиане»? Неподготовленного человека такие штучки могут довести до бешенства, до потери самообладания. Мы, впрочем, были к этому подготовлены еще со свободы: и газетами, и кагебешниками, и производственными собраниями — всем стилем официальной жизни в нашей стране. Против этого и восстали. Ну, могла ли пятидесятница Галя оставаться коммунисткой и твердить, что Бога нет везде, где партия прикажет? Могла ли Татьяна Михайловна

читать на работе обязательные для всех политинформации? Могла ли пани Ядвига «единодушно одобрять политику партии и правительства» — девчонкой отправленная в лагерь за то, что литовка? Хорошо, получили мы свои сроки. Что такое лагерь прекрасно знаем: голод, холод, насилие, разлука с близкими. Но вместо откровенной расправы — оказалась расправа, прикидывающаяся гуманизмом! Так и будут нам потом говорить в ШИЗО:

— Что вы возмущаетесь, женщины, у вас печка горячая!

И со всей убедительностью прикладывает ладонь к ледяным металлическим листам — горячая! А у нас в камере в то время будет восемь градусов по Цельсию, но не сможем же мы вытащить тайком пронесенный сквозь обыск термометр для того только, чтоб уличить...

Короче, даже временное прекращение этой бессмысленной лжи было для нас маленькой победой. Впрочем, скоро все возобновилось: никакая заезжая комиссия не может поменять установившийся стиль работы советского учреждения. Совсем плохо пошло у нас с медициной. Были мы к тому времени совсем доходяги: кто в отеках, кто температурит, кто теряет сознание от слабости. Нам, естественно, угрожают по административной линии: кто не сошьет норму — в ШИЗО. Сняли Наташе бывшую у нее третью группу инвалидности — для этого не понадобилось ни медкомиссии, ни обследования. Пусть и она дает полную норму! Конечно, это было нереально, и мы не собирались лезть из кожи вон. Хватит того, что Наташа уже раз потеряла сознание прямо за работающей машинкой. Василий Петрович был флегматичен:

— Шейте, сколько можете, и не волнуйтесь. Остальное — моя забота.

И действительно, ни разу никого за невыполнение нормы не репрессировали, ограничивались угрозами. Для расправы нужна была подпись мастера, но пока мы в принципе не отказывались шить —

Василий Петрович стоял стеной. В забастовках, конечно, он ничем не мог нам помочь, только кричал: ведь налицо наши заявления...

Однако врачи-то хороши: как человека с температурой за тридцать восемь можно допускать к работе? Раньше подлечите, а потом и на работу выписывайте! Однако врач в отпуске, медсестра ничего не может и не хочет сделать, и вот 19 сентября у нас в зоне — четверо явно тяжелобольных. Срочно врача! Под боком — больница, есть же там дежурный врач? От Веры Александровны все равно никакого толку, в медицине она сообщает еще меньше, чем Таня-медсестра, так почему мы должны ждать ее прихода из отпуска? С шести утра до двух ночи мы вызывали врача: и солдату на вышке кричали, и всем дежурнячкам говорили, и всем офицерам (кроме Подуст), кто заходил в тот день. Отбой? Никакого отбоя, и свет гасить не будем! Врача немедленно: мы не можем ждать еще месяц! В два часа наконец пришел — и сразу:

- Не могу же я устраивать ночной прием!
- А где же вы раньше были? Ведь целый день вызываем!
- Я ничего не знал.
- Хорошо, а утром кто-нибудь придет?
- Не знаю, завтра не мое дежурство...
- Так осмотрите хотя бы самых тяжелых!
- Хорошо, но не больше двух.

Смотрит Раечку и пани Ядвигу (им хуже всех). Измеряет температуру, слушает сердце. Что дело плохо — и сам не отрицает (интересно только, что он при этом запишет в историю болезни?). Оказывается, ничего записывать он не имеет права: он всего-навсего дежурный врач, и диагнозы да записи — не его дело. Ну, может сделать укол, ну вот таблетки оставит, но постоянный курс лечения назначить не может. Освобождение от работы? Что вы, что вы, ему не положено — это вправе только ведущий врач. Она придет через месяц? Ну тогда и выпишет!

- Что же им завтра в таком состоянии — за машинку?
  - Я этого не говорил.
  - Так освободите их хоть на завтра!
  - Женщины, ну поймите, не имею права!
- Все они врут, но по-разному. Одним сам этот процесс доставляет странное удовольствие: чем циничнее и наглее — тем им слаще. Эти с наслаждением смотрят тебе в глаза: главная их победа будет, если ты выйдешь из себя. А главная задача — с невинным видом довести тебя до стресса, человека в растрепанных чувствах легче сломить. Таковы наши гебисты, таков прокурор Ганичев, такова Подуст. К ним мы относимся с холодным презрением — не слишком ли для них много чести, если мы вообще будем при них проявлять эмоции?

Другие (и этот доктор в том числе) врать вынуждены, но глаза при этом прячут и явно сами мучаются. Да будь их воля — никого бы из нас здесь вообще не держали! Это, в отчаянии, они нам сами время от времени говорят, но что они могут поделать? Где им взять другую работу? И дежурнячка Света нам простодушно объясняет:

- Ну куда мене? Я тут и родилась в Барашеве, и прописана. Или в доярки — а там так наломаешься от зари до зари, что хуже каторги, и шиш получишь. Или в детский садик — так там на всех барашевских баб мест не хватит. Или сюды: здесь три дня работаешь — два отдыхаешь. И работа легкая, и платят о-го-го! А подписку даешь на пять лет, а офицеры — на все двадцать пять. Потом захочешь — не уйдешь. Я ж вас не обижаю — понимаю, что вы не урки...

Эта же Света напишет как миленькая ложный рапорт — основание для очередного ШИЗО или лишения свидания. И потом будет, приходя в зону, краснеть и смотреть в пол. Но по собственной инициативе никогда на нас не наябедничает и пакости не сделает. Наоборот, еще исподтишка предупредит:

— Ты, смотри, Ратушинская, не попадись. Не загорай, телевизор после отбоя не смотри — у тебя свидание на носу. Нам сказали, что на тебя материал нужен...

Таких среди наших тюремщиков — большинство, и мы их жалеем, хотя и с оттенком брезгливости. Бедные, бедные люди — чем их жизнь принципиально отличается от зэковской? Всю жизнь — в том же лагере, и рот открыть не смеешь супротив приказа. Одежда получше, да еда сытная — вот и все преимущества. Ну еще живут с семьями, но кто знает, не спросят ли их подросшие дети:

— И не стыдно вам, папа-мама, что всю жизнь людей мучили? И как мне теперь жить — сыну тюремщиков?

А может, наоборот, пойдет этот сын в школу МВД и — по родительской дорожке — сам станет надзирателем. Или, если способный, в прокуроры выйдет или в начальники лагеря. Тюремщик — во многих семьях здесь — профессия наследственная.

Одно мы понимаем: не будь таких вынужденных надсмотрщиков и лжецов, не удержалась бы ни дня эта чудовищная система насилия и подавления душ. Они же ее жертвы, они же на нее и работают — просто по слабости, да из страха. Рады-счастливы были бы избавиться, но куда денешься? И чем они хуже тех «советских трудящихся», что все как один голосуют на собраниях «за» (попробуй «против»), предпочитают не знать о расправах, которые их лично не касаются, и страдальческим голосом читают осточертевшие политинформации? А потом, в кулуарах, подойдут пожать локоть тому, кто проголосовал все-таки «против».

— Ты молодец, так им дал! Мы все — за тебя! Но это они прошепчут тихо-тихо и оглянутся — не слышит ли кто. А когда начнется разбирательство личного дела такого-сякого, который против, отойдут в сторонку и будут сочувствовать издали. Но потом, в кругу надежных друзей, похвалятся:

— Я такого-то лично знаю, он со мной вместе работал! Хороший парень, мы все его любили. А когда у него срок-то кончается?

Несчастные, трижды несчастные граждане моей страны! Храните хоть этот стыд и этот шепот! Может быть, ваши дети будут смелее вас.

А пока наша же надзирательница, выводя нас из камеры ШИЗО в баню, скажет нам:

— Да все-то я понимаю! Ну и что с того? Стенку лбом не прошибешь. Пикну я только — и окажусь в той же камере с вами!

Она и не поймет, что никто из нас, глотнувших уже свободы — хотя бы свободы от страха, — не поменялся бы с ней местами.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Наконец 20 октября пани Ядвигу укладывают в больницу. Лечащий врач Гунькин осматривает ее и ошарашивает заявлением:

— А где доказательство, что у вас действительно вырезан желчный пузырь? Послеоперационный шрам? А может, вам просто так разрежали?

И лечения не назначил, и в диете отказал.

Но прямо в больницу пришли к ней сотрудники политотдела Управления — по поводу ее запроса в Управление, чтоб вернули ее тело родственникам, когда она умрет. В чем, мол, дело? Почему такие предсмертные заявления? Пани Ядвига объясняет: врачи после операции предписали ей строжайшую диету, если она хочет жить. А почти все, чем кормят в лагере, ей запрещено. Диеты не дают. Как тут выживешь? А она католичка и литовка, хочет быть похороненной на родине, с соблюдением религиозного обряда. Мордовское лагерное кладбище, обнесенное колючей проволокой, с нумерованными безымянными могилами, ее никак не устраивает. Вот и написала заявление, и настаивает на своем

праве если не жить, то хоть быть похороненной по-людски.

— Не хотите кормить — не кормите, но тело родным отдайте!

Тут встречает пришедшая с управленцами Подуст, хоть Ядвига с ней не разговаривает:

— Здесь таких больных много. Если вам дать диету, то и все потребуют!

Пани Ядвига молчит. Больше она им не сказала ни слова. Но управленцы, видимо, забеспокоились и вернули нашу пани Ядвигу из больницы слегка подлеченной. Диету ей так и не выписали, зато дали на месяц больничный паек в дополнение к экковской норме: 40 граммов сахара в день, 30 граммов сливочного масла, 450 граммов молока и 15 граммов сухофруктов. Стоит ли говорить, что наша упрямая пани поставила ультиматум: либо все это будет делиться на всех, либо она вообще ничего в рот не возьмет. Будет, мол, поститься и молиться, чтоб Господь нас вразумил. Вообще-то, если удавалось выбить больничный паек — его всегда делили на всех, докторица Волкова так и говорила:

— В этот месяц, женщины, я могу вам дать два пайка. На кого мне их записать?

Но это было в тихие времена, когда жить было полегче и мы не голодали. Были иногда пайки, был огород, да еще ларек хоть изредка перепадал. А теперь-то уже не шуточки — пропадет наша пани без подкормки! Мы-то покрепче, перебьемся!

— Ничего, Господь поможет.

И настояла-таки на своем: все должно быть поровну! Так у нас и было, и даже Владимирова, отдельно от нас питавшаяся, получала свою долю из пайков, бандеролей и редких посылок. Воевать с ней на уровне желудка мы не собирались. Она, надо отдать ей должное, когда получала паек на себя — тоже требовала дележки, и когда в 86-м году Игорь с Олей Матусевич, уже освободившейся к тому времени, отправили ей посылку (родных у нее не было,

а есть всем положено — даже провокаторам) — разделила ее на всех.

В конце октября, после прихода цензора, все разбрелись по углам читать письма. И вдруг Эдита ахнула, а потом заплакала. Она даже не могла объяснить нам, в чем дело, — забыла все русские слова, а по-литовски мы, хоть и освоили несколько фраз, все же не понимали. Наконец пани Ядвига перевела. Оказывается, 14 октября муж Эдиты с маленьким сыном приезжал на то самое личное свидание — до трех суток, которого Эдита с таким нетерпением ждет! Но администрация заявила, что обоих свиданий (длительного и краткосрочного) осужденная Абрутене лишена! Как же так? Эдита об этом ничего не знала, никаких постановлений о лишении ей не приносили... Легкое ли дело — доехать с мальчишкой из Вильнюса в Мордовию, а потом несолоно хлебавши отправиться обратно! Как, наверное, плакал ее сынишка! А она даже не знала, что они были здесь... Эдита — человек быстрых решений:

— Все! Вы как хотите, а я бастую, пока мне не восстановят оба свидания!

Мы согласны, что случай — из ряда вон, но нас смущает, что не было постановления. Может, недоразумение? Может, никто Эдиту свидания и не лишал, а дура-чиновница ткнула пальцем не в ту графу? Уговариваем Эдиту с забастовкой повременить, пока не получим официального подтверждения, что случившееся — не случайно. И уж если тайком, воровски, умыкнули два свидания — бастуем все! Кроме, конечно, Владимировой. Вечером рассылаем заявления: в прокуратуру, в Управление, начальнику лагеря. Излагаем ситуацию и просим объяснить, что это означает. И если недоразумение, то есть еще время исправить. Ответа нет. Ждем день, другой, неделю... Эдита нервничает: когда же забастовка? Уговариваем потерпеть — пусть официально подтвердят, что сжульничали. Даже неожиданно свалившийся нам на голову ларек (надо же, в ноябре никого почему-то не лишили!) не радует. Ясно, пошел новый

виток беззаконий и, стало быть, новая фаза войны. Что это не случайность, понятно по тому, как они тянут резину. Но мы хотим иметь юридическое основание, то самое постановление о лишении. Тем временем живем внешне по-прежнему, воюем с нашими тюремщиками за чистоту. Грязь вокруг стоит непролазная, осенняя, все дорожки превратились в липкую кашу. Отчаявшись в устных уговорах, обращаюсь к методам наглядной агитации: вычерчиваю на двойном листке из школьной тетрадки плакат:

И друзья, и враги  
Вытирайте сапоги!

Прикрепляю его к входной двери. Дежурнячки этот плакат методично срывают и волокут начальству. Я, так же методично, клею новый — начальнику лагеря тоже полезно ознакомиться с этой нехитрой мыслью. И тут топ-топ-топ — снова грохочут сапоги по коридору. Дежурнячки сегодня не одни, с ними немолодая большеглазая женщина, очень худая, с прямыми волосами. Она не в сапогах, а в специальных лагерных ботинках на высокой шнуровке. Уродливее и тяжелее трудно что-то придумать. В лагерях они называются «что ты — что ты!» и равно ненавидятся мужчинами и женщинами. В сапоги хоть грязь не заливается, пока они целые, но сапоги получить вместо этих идиотских ботинок — тоже добиться надо!

Женщина улыбается нам:

— Я прочитала ваш плакат и хочу быть в друзьях!  
Ноги вытерла...

Мы все смеемся, новенькая нам нравится с первого взгляда. На ее чистенькой зэковской телогрейке — нагрудный знак: «Л. Доронина. Отряд № 2». Успели-таки напялить на вахте! Несмотря на русскую фамилию, говорит с легким акцентом, латышка. Урожденная Ласмане, а русская фамилия мужа-геолога, с которым она познакомилась в Сибири. Он умер теперь, а она жила на пенсии, в небольшом селе около Риги. С песиком Шамесом. Его после

ареста взяли к себе хорошие люди, а за себя Лидия Доронина не волнуется, сидит в третий раз. Родилась она в независимом государстве Латвии в 1925 году, потом, когда в Латвию вошли советские войска, впервые познакомилась с русскими: ехал советский офицер на коне вдоль лесочка, а тут — молоденькая Лида с корзинкой. Спешился и попытался изнасиловать, угрожая пистолетом. Не тут-то было! Она, крестьянская дочка, вскочила на его же коня — и след простыл! Вдогонку он ей не стрелял: то ли ее пожалел, то ли коня. Коня она потом в лесу отпустила — хороший конь сам найдет хозяина. Потом развернулись обычные события, которыми в любой стране знаменовался приход советской власти. Но лучше, чем я, обо всем этом расскажет заявление, написанное самой пани Лидой.

#### В Президиум Верховного Совета

#### ЗАЯВЛЕНИЕ

Я родилась в 1925 году в самостоятельном государстве — независимой Латвии в семье религиозных крестьян. Получила образование согласно духу и законам моей страны.

В годы моей юности последовали два страшных события: массовый вывоз моего народа в 1941 году, совершенный советской властью, и массовый расстрел местных евреев в 1942 году, совершенный гестаповцами. Среди пострадавших были мои школьные товарищи, мои близкие знакомые. Я поняла, что моя родина стала ареной двух воюющих государств.

Через полтора года после окончания войны вся моя семья, и я в том числе, была арестована «за измену Родине» (ст. 58-1а через п. 1713) — как было сказано в обвинении, за связь с «бандитами». Эти «бандиты» были знакомые моего отца, которым он оказал помощь так же, как во время войны оказывал ее русским беженцам, военнопленным

и другим людям, попавшим в беду, никак не изменяя при этом своей стране и своему народу. Не изменяла ей и я. Однако меня судил (и осудил на пять лет) Военный трибунал Прибалтийского военного округа. Суд шел на русском языке, которого я тогда не понимала. После суда я была насильно вывезена со своей родины на Урал, позже в Воркуту.

В 1951 году я освободилась, больная, с кавернами в легких, но, ввиду того что была оставлена в военной ссылке в Коми АССР, на родину смогла вернуться только в 1954 году, после смерти Сталина и последующих этому событию позитивных перемен в стране. Однако нам с мужем и дочерью было негде жить. Работая вдвоем на Дальнем Севере, мы только в 1962 году смогли заработать достаточно, чтобы построить в Латвии кооперативную квартиру. Наконец моя жизнь казалась устроенной.

Но в 1970 году меня судили по ст. 183-1 УК Латв. ССР, появившейся в УК в 1968 году. Я была осуждена Верховным судом Латв. ССР на два года за распространение «самиздата». По моему глубокому убеждению, эта статья не имеет этической основы, так как, согласно ст. 18-й Всеобщей декларации прав человека, «каждый человек имеет право на свободу мнений, совести и религии; это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи... независимо от государственных границ».

Прожив два года среди уголовных преступников, я вернулась в семью, продолжала работать, ухаживала за парализованным мужем и престарелыми родителями (они вдвоем получали от государства десять рублей пенсии).

В 1977 году в газете «Padomju jounatne» поместили статью Калная и Лициса «Скажи, кто твой друг», где моя семья (отец, брат, его жена и я сама) были оклеветаны, брат — посмертно. Мое опровержение не было напечатано, клеветники остались безнаказанными.

В 1983 году я была в третий раз арестована. Меня судил Верховный суд Латв. ССР по ст. 65-й УК Латв. ССР (антисоветская агитация и пропаганда). Выдвинутые против меня обвинения не соответствовали истине и не были доказаны, тем не менее я была осуждена на пять лет строгого режима и три года ссылки. То есть, не зная, за какую вину, я снова оторвана от родины на восемь лет. Находясь в колонии строгого режима, я, пожилая женщина, инвалид второй группы, не имею особых надежд когда-либо вернуться домой.

17 января 1984 года за подписью Силиньша в центральных газетах Латв. ССР второй раз была напечатана клеветническая статья, где упоминалось мое имя. В ней изображено, будто у меня за границей есть «хозяева», на которых я работаю. Считаю необходимым заявить, что я чувствую себя свободным человеком, даже в заключении, и никаких «хозяев» не имею. Всю жизнь я была лояльна по отношению к советской власти. Работала, воспитывала дочь и внуков, платила налоги, соблюдала законы. За льготами не тянулась и, кроме заработной платы, от государства ничего не получала, поэтому не считаю себя ничем ему обязанной.

Будучи верующей и стараясь следовать этическим принципам религиозной морали, я, оказывается, сама того не желая, подрываю советский строй.

Никогда раньше мне не приходила в голову мысль покинуть родину, но, не имея возможности защищаться от клеветы, не имея возможности жить на своей родине, не имея прав, оговоренных в ст. 18-й Всеобщей декларации прав человека и в ст. 19-й Международного пакта о гражданских и политических правах, я **ОТКАЗЫВАЮСЬ ОТ СОВЕТСКОГО ГРАЖДАНСТВА.**

Прошу советское правительство разрешить мне выехать в Швецию к семье моего покойного брата — его жене Ласмане Валентине Карловне и трем его дочерям. Не думаю, что советская власть для сво-

его укрепления непременно нуждается в том, чтобы я умерла в Мордовии, а не в Швеции.

6 марта 1984 г.

Лидия ДОРОНИНА

Дважды отсидев в уголовной зоне, она не считала нагрудный знак объектом, против которого стоит бороться, — есть вещи и похуже. Вон при Сталине — все с номерами ходили! Были бунты, да не из-за этого. Так что нагрудный знак она пока будет носить, а если почувствует, что ей это мешает, — успеет от него отказаться. Мы, конечно, не настаиваем — на то и свобода совести. Ознакомили ее с нашей позицией (она изложена в заявлении — так что просто дали ей прочесть), а там пусть решает сама.

Разумеется, Подуст в восторге. Вьется в нашем молчаливом доме:

— Женщины, вот Доронина среди вас — старшая и, видимо, умнее. Вы все будете ездить в ШИЗО и лишаться свиданий, а она — не будет!

Мы, естественно, молчим, а пани Лида очень вежливо и спокойно:

— Тем, что вы меня противопоставляете моим союзницам, вы побуждаете меня сорвать нагрудный знак. Поэтому лучше прекратите. Я его пока не сниму, но если при мне хоть кого-то за него накажут — сорву и выброшу в печку.

Сорвет его она с себя позже, именно в этой ситуации. И напишет об этом соответствующее заявление. С пани Лидой лучше не шутить такими вещами — она бесконечно добра и почти бесконечно уступчива, но есть и предел, до которого ее не следует доводить. Уяснив себе остальные проблемы зоны, она излагает свою позицию в отношении надвигающейся забастовки: работать она и не намеревалась. Хватит с государства, что оно теперь получает ее тридцать два рубля пенсии! У нее трудовой стаж

давно закончен, и довольно. По поводу Подуст она пока в бойкоте участия не примет:

— Я раньше должна убедиться сама, что она за человек. Не сомневайтесь, что я вам верю, но мне будет спокойнее, если я услышу от нее такое своими ушами. Вдруг это еще не потерянная душа?

Подуст быстренько притихает: видно, по работе конфликт со всей зоной пошел ей не на пользу и положение ее сейчас шаткое. Сесть пани Лиде на голову она уже не пытается — первого отпора было достаточно. Пани Лида для нее сейчас — как соломинка для утопающего, она боится нарваться на бойкот и с ее стороны. Поэтому предпочитает не приставать ни к кому.

Владимирова притихла уже давно: ей тяжело дается одиночество среди нас. Утратила вкус к угрозам, и вместо этого твердит, что ночью повесится. Мы не очень-то верим: кто угрожает самоубийством, тот менее всего к нему склонен. Но что ей приходится плохо — это видно. Даже оставила свои выбрыки, и тем заметнее, что она действительно в лучшем случае — нервнобольная, а в худшем — страдает тяжелыми нарушениями психики. Ее истерики хоть и не направлены теперь против нас, повторяются безо всяких внешних причин. В таком состоянии она порой кидается с бранью на дежурнячек, порой преспокойно лезет через проволочные ограждения и забор — перерубает лопатой кабель сигнализации и перебирается на территорию больнички. Мы даже пугаемся за нее: ведь любой из нас, полезь мы за колючую проволоку, пришли бы попытку побега! Но не Владимировой. Часа через три ее, умиротворенную и осоловелую, приводит обратно Подуст под локоток и укладывает в постель. Укол ей вкатили, что ли? Теперь, утратившая свою агрессивность и глубоко несчастная, она вызывает в нас все больше жалости.

А календарь отсчитывает день за днем. Зона ждет, что же будет дальше, и так мы доживаем до 14 ноября.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

— Владимирова и Лазарева, на этап!  
ШИЗО? Но почему тогда — Владимирова?

Она — человек административно ненаказуемый — что бы ни вытворяла, ее даже ларька не лишат.

Дежурнячки успокаивают нас:

— Не в ШИЗО, не в ШИЗО! В Саранск на перевоспитание.

Это значит — в изолятор КГБ, сидеть в камере, а тебя периодически будут вызывать на беседу мордовские гебисты. Кстати, совершенно незаконно. Из лагеря в следственный изолятор человека могут перевести только в качестве обвиняемого или свидетеля по новому делу. Но когда это КГБ считался с законами? Владимирова собирает вещички, а Наташа лежит в постели. У нее температура и опять что-то с животом. Ехать в таком состоянии она отказывается. Приходят врачи, офицер Шишочкин и Подуст. Подуст и Шишочкин твердят, что Наташа симулянтка, врачи дважды перемеряют ей температуру — ничего не поделаешь, есть! На этап ее не берут, но не берут и в больницу. А без обследования как лечить? Пани Лида сама по профессии медсестра, и ей много не надо, чтобы поставить диагноз — язвенный колит. Но кто станет слушать заключенную? И Наташа до поры до времени остается в зоне.

На следующий день наконец приходит Павлов — долгожданный начальник лагеря. Тут-то мы к нему и подступаем: что такое случилось с Эдитиным свиданием? Он раньше мычит да мнетя, потом начинает угрожать: мол, будет наказывать за то, что заступаемся друг за друга. Потом наконец выдает:

— Свидания Абрутене лишена законно!

— А за что?

— Не знаю я, за что, но законно!

Так, все ясно. Вот и пришла пора начинать забастовку. Пишем заявление, и машинки в зоне затихают. Все, кроме одной, — пани Лида, оказывается,

первоклассная портниха, еще в ссылке этим зарабатывала на жизнь. Варезки она, конечно же, не шьет, но всерьез берется за наше обмундирование. Строчки, кармашки, стеганные кокетки... Мы, жалкие дилетанты, только ахаем. К ней начинают бегать дежурнячки: сшей им форменную юбку, да обузь шинель, да парадное платье скомбинируй... Пани Лида никому не отказывает, а они тайком таскают ей то конфеты, то сахар и печенье. А наша портниха счастлива: денег на ларек ей пока из дому не прислали, и она переживала, что не может внести свою лепту в общий котел. Мы только смеялись: что за счеты между своими?

— Да не счеты! Просто вы все такие заморенные! — говорила пани Лида и меняла тему. Теперь торжественно выплывают на стол конфеты, и мы пируем.

— По сколько съедим?

— По две! — непреклонно отвечает наша «цербер» Таня Осипова. На ее обязанности лежит равномерное распределение продуктов: чтоб и на сегодня что-нибудь было, и через месяц. Она выдает золушкам на неделю чайную заварку, добычу из ларька, подсолнечное масло — растягивай как знаешь. А то в твое дежурство все съедим — что потом? Остальное — в чемодан, и со времени приезда Владимировой чемодан этот закрывается на ключ.

Две конфеты за раз — это, конечно, щедро, слов нет. Но мы начинаем требовать добавки: шуточная война зоны со «скупым цербером» — одна из любимых наших игр.

— Что такое две конфеты? Бог троицу любит!

— А эта склочница Ратушинская, пока не напишет десять строчек, вообще больше конфет не получит! — мгновенно реагирует Таня.

Это еще одна игра. Таня под любыми предлогами вымогает у меня стихотворные строчки, и всегда получается так, что я ей должна то десять строк,

то двенадцать. Сводится это к моим стихотворным дразнилкам: я описываю ямбами и хорееми немислимые похождения Татьяны Осиповой и читаю под хохот всей зоны. Тане эти дразнилки очень нравятся. Она называет их «пасквилями» и бережно хранит. Периодические обыски заматают в архивы КГБ произведения типа:

За что пою  
Сию  
Змею?  
За добродетель  
За свою.  
Пошто вотще  
Страдаю я,  
Без должной mzды  
Ея  
Поя?

Ладно, я готова написать десять строчек, только чтобы немедленно всем — по конфете добавки!

— Двенадцать! — упирается Таня.

— Десять!

— Четырнадцать, за вымогательство!

— Это кто же из нас вымогатель?

— Шестнадцать!

Понимая, что дело плохо, меняю тактику — пишу чин чином заявление:

Церберу — от Малой зоны. ГОНИ КОНФЕТУ!

Наши, хохоча, подписывают — и Таня выполняет «волю народа», ворча, что мне это меньше чем в тридцать строк не обойдется. Она, впрочем, и сама рада: подбить ее на добавку нетрудно, но надо же соблюдать правила игры! Мне приятно мстительно сообщить читателю, что своей манеры наседать на бедного поэта Таня не оставила по сей день. Когда они с Ваней приезжали к нам в Чикаго — она немедленно, прицепившись к чему-то, требова-

ла с меня очередные семь строчек под дружный смех наших мужей. Шутки шутками, а этой нехитрой игрой она старалась поддерживать меня в профессиональной форме. Вдохновение — само собой, но когда его не было — мне все равно приходилось рифмовать эти самые «пасквили». Таня понимала, как трудно быть поэтом в полной изоляции от литературы и среды, и не давала мне спуска! Ни дня без строчки — выполнением этого очень и очень нелегкого принципа в лагере я обязана ей.

Но не все нам есть конфеты да забавляться. Приходит наконец объяснение — за что же все-таки Эдиту лишили свидания. Оказывается, за невыход на работу 20—23 августа! Дежурнячки, мол, заходили в зону и не застали ее за машинкой. Помилуйте, да это же 4—7-й дни нашей голодовки в защиту Наташи! Да нам после этой голодовки дали еще по два дня освобождения!

Да при чем здесь машинка! Эдиту ведь оформили на работу дневальной, а не швеей! Да 23 августа докторица Волкова при нас утверждала, что здоровье Эдиты — в угрожающем состоянии; мы же ее по уговорам врача отстранили от голодовки на седьмой день.

Начинаем распутывать этот клубок лжи. Волкова, разумеется, ничего не помнит. Заместитель начальника участка по политвоспитательной работе (каков титул!) Шалин заявляет, что Абрутене вообще не работала. Припираем его к стенке — а зарплатная ведомость?! Там — заработок Эдиты за сентябрь-октябрь. Помявшись, он выдает новую версию: нашей зоне ставка дневальной не положена и потому упразднена. С какого числа? Оказывается, с 15 ноября. Хорошо, сейчас мы все равно бастуем, но в августе-то она была?

И опять Шалин мнется и мучительно краснеет. Со временем, продвигаясь в офицерских чинах, он эту способность краснеть будет постепенно утрачивать. Пишем пространные заявления в прокурату-

ру РСФСР: разберитесь! Они тут совсем заврались! Никто, конечно, разбираться не склонен, против КГБ не попрешь. А мы пока бастуем.

— Лазарева, на этап! В Саранск!

Приходит ДПНК (дежурный помощник начальника колонии). Мы к нему:

— Она больна! Врача!

— Собирайтесь, собирайтесь! Вас осмотрит врач на вахте, и если есть температура, вас, конечно, никуда не повезут!

Кроме температуры, они никаких симптомов болезни вообще не признают. Но во врача на вахте мы как-то слабо верим и настаиваем: пусть идет сюда, нечего больную из постели вытаскивать!

Приходит Волкова, измеряет. Есть температура!

Ну, теперь-то оставят в покое! Как бы не так. Входит целая бригада мужиков: майор Пазизин, полковник Шлепанов, несколько прапорщиков, майор Шалин — не тот, что пока краснеет в капитанских чинах, а другой. Тут много однофамильцев.

— Не пойдете сами — силой потащим!

Мы пока не верим, что так-таки больную из постели потащат. На всякий случай мы с Таней становимся между ними и кроватью Наташи и беремся за руки. Тут на нас кидаются, скручивают нам руки и выволакивают в столовую. А Наташу в одной блузке и трусиках берут «за руки-за ноги» и вытаскивают на мороз! Волокут по снежку, потом кидают в телегу. Хлопают ворота. Наташа кричит и зовет на помощь. Майор Шалин бьет ее сапогом! И еще! И еще! На Наташу наваливаются, и кто ее дальше бил — она не знает — теряет сознание. Потом возвращаются в зону — взять Наташину телогрейку. Ого, как налетает на них обычно тихая Раечка! Она стоит перед ними клопоча, как маленькая наседка.

— Как вы посмели?! Больную, раздетую — на мороз! Бога не боитесь!

И кидает им в морды Наташин ободранный ватник. Так привозят Наташу в Саранск; последним

ударом сапога ее наградила майор Шалин, уже запи- хивая в поезд. Она, конечно, отказывается говорить с гебушниками и твердит одно:

— Меня избили!

— Ну что вы, Наталья Михайловна! Вам просто помогли доехать! — И улыбаются ей сытыми рожам.

— Врача! Пусть снимет побои!

Врач пришел только через неделю, но синяки и ссадины и через неделю оставались.

— А может, вы сами как-нибудь неосторожно? Или подрались на этапе?

Ну, конечно, Наташа сама пнула себя сапогом в поясницу. Вон, кровоподтек до сих пор.

Более неудачного «перевоспитания» КГБ и придумать не мог. Разъяренная Наташа не желала с ними говорить. Кроме того, это избиение имело еще один неожиданный эффект: Владимирова написала заявление, что она свидетельствует — Наташу привели в камеру избитой! Так они и приеха- ли в зону, обе возмущенные. Что ж, наша Птичка совершила первый человеческий поступок. И хотя никто не обольщается на предмет ее душевного перерождения (мы знаем, что еще намучаемся с нею), решаем тем не менее снять бойкот! Ох, как она счастлива! Говорит без умолку, и мы соображаем, какой мирный выход дать ее кипучей энергии. Раечка учит ее выращивать в вазонах декоративный перец и прочие цветы. Я, освоив в лагере новую специальность — вышивание, учу ее вышивать. Даже сочиняю ей рисунки для вышивки крестом. Все она делает неаккуратно, тят-ляп, но, слава богу, увлека- ется. В зоне становится тихо, хоть нам и ясно, что не- надолго.

А Наташа тем временем подает в суд и доби- вается, чтоб заявлению дали ход. Конечно, безуспеш- но. Мы пишем заявление в прокуратуру — для поряд- ка, и заявление на свободу — только гласностью можно защитить сейчас Наташу.

ОБРАЩЕНИЕ К МИРОВОЙ  
ОБЩЕСТВЕННОСТИ

Мы, женщины-политзаключенные Малой зоны, являемся свидетелями систематического издевательства администрации лагеря над нашей союзницей НАТАЛЬЕЙ ЛАЗАРЕВОЙ.

Нам известно, что КГБ пытался сделать из Лазаревой осведомительницу, того же самого требовали от нее, когда она приехала в лагерь. Когда стало ясно, что эти попытки безнадежны и Лазарева не пойдет против своей совести, началась травля. Особенное усердие проявила в этом начальница отряда Лидия Подуст. Для нее стало своеобразным спортом изводить Лазареву мелкими придирками, издевательскими требованиями и угрозами. Зная, что у Лазаревой хроническое воспаление придатков, которое она и получила в лагере, молодую женщину дважды сажали в ШИЗО — общепринятая в советских лагерях пытка голодом и холодом. Медработники не только не сочли нужным воспрепятствовать этому, но и сами приняли участие в этой позорной кампании. Лазарева постоянно болеет, тем не менее ей в нарушение закона сняли третью группу инвалидности — без повторной ВТЭК<sup>55</sup>, так как третья группа даст возможность работать по сниженной норме. Лазаревой практически не оказывают медицинской помощи под тем предлогом, что «ничего не находят», всячески уклоняются от обследования Лазаревой в больнице.

Этого обследования и Лазарева, и все мы требовали с сентября 83-го года, однако Вера Волкова, прикрепленная к нашей зоне, лгала нам, что в больнице нет мест. Находившаяся в это время в больнице Беляускене свидетельствует, что места были. Обследование Лазаревой оттянули до 16 ноября, а в этот день за ней пришли представители администрации и заявили, что Наталью Лазареву прямо сейчас берут на этап и намерены поместить в изолятор КГБ для перевоспитания.

<sup>55</sup> ВТЭК — врачебно-трудовая экспертная комиссия. Орган экспертизы, определяющий степень утраты трудоспособности и группу инвалидности.

Мы вызвали Волкову, и она в нашем присутствии измерила Лазаревой температуру — единственный признак болезни, который она признает. Температура, как и в предыдущие дни, оказалась повышенной, и Лазарева на этап идти отказалась.

Тогда ее насильно, несмотря на наши попытки защитить ее, раздетую, вытащили из постели и поволокли в таком виде на мороз. Руководили этой процедурой майоры Шалин и Пазизин. Чтобы заставить Лазареву замолчать, ее избили, а в изоляторе КГБ с издевкой заявили, что никакого избиения не было, а ей просто «помогли доехать».

Нам неизвестно, какими еще методами КГБ собирается перевоспитывать Лазареву, но мы не надеемся, что ее оставят в покое.

Мы обращаемся к мировой общественности с просьбой выступить на защиту нашей союзницы, единственная вина которой — нежелание сотрудничать с КГБ и предать своих друзей.

25 ноября 1983 г.

АБРУТЕНЕ, БАРАЦ, БЕЛЯУСКЕНЕ,  
ОСИПОВА, РАТУШИНСКАЯ, РУДЕНКО

Мировая общественность, а мировая общественность? Слышишь ли ты, как обращаются к тебе сейчас, в 87-м, измученные узники? Знаешь ли, какого труда и риска стоит передать такое вот заявление из-за колючей проволоки? Наташа сейчас жива. Отбыла свои четыре года и лечится в Ленинграде.

<sup>56</sup> Но умер правозащитник Анатолий Марченко<sup>56</sup>, зверски замучен украинский поэт Василь Стус<sup>57</sup>, не дожи-

<sup>56</sup> Марченко Анатолий Тихонович (1938—1986) — писатель, известный диссидент и советский политзаключенный. Автор широко распространенной в самиздате книги «Мои показания», в которой описал содержание политических заключенных в советских колониях и тюрьмах 1960-х годов. 4 августа 1986 г. объявил голодовку с требованием освободить всех политзаключенных СССР. Голодовку держал 117 дней. Через несколько дней после окончания голодовки умер в больнице.

<sup>57</sup> Стус Василий Семенович (1938—1985) — украинский поэт и диссидент. В 1980 году осужден на десять лет заключения и пять лет ссылки. Наказание отбывал в исправительно-трудовой колонии Пермь-36 близ села Кучино Пермской области. Умер 4 сентября 1985 года.

ла до свободы 75-летняя верующая Татьяна Краснова (так и умерла в ссылке, прожив после лагеря только три месяца). Будем помнить умерших, будем спасать живых! Если не мы, то кто же? Знали бы вы все, как на нас надеются!..

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

— Ратушинская и Руденко! В больницу!  
Это вызывают нас с Раечкой через несколько часов после того, как уволокли в Саранск Наташу. Наконец-то. У меня с апреля — отеки и температура. Болит правый бок, а чего болит — кто его знает. Теперь-то поставят диагноз. Хотя, конечно, сейчас не самый подходящий момент уходить из зоны: нас явно стараются разместить, чтобы оставалось поменьше бастующих. Но выбирать не приходится; собираемся и идем.

— Стоп! Чего это вы с собой понабрали?  
Это что за конверты? Письма? Велено, чтобы письма вы оставили в зоне!  
Ох, не нравится нам это «велено»! Прошедшие цензуру письма с воли заключенным по закону разрешается иметь при себе. Известно также, что оставить в зоне — придут с обыском и отберут: другие-то твоим письмам не хозяева и не имеют права на них претендовать. Так что своим на сохранение не даешь. Тем более КГБ проявляет уже месяца два неожиданный интерес к моей переписке: ведут допросы на свободе, даже беременную женщину в роддоме допрашивали. Все ищут в моих письмах тайный код. А теперь, значит, и в письмах ко мне? Не там ищите, дураки! Но это, конечно, я им объяснять не буду. Упираюсь:

— Не имеете права отнимать!  
— Не сдадите письма — не отведем в больницу!  
— Это ваше дело...

Раечка оставляет письма и идет в больницу. Меня задерживают в зоне. Я не очень переживаю: хотят обследовать — обследуют и так. Если же это только трюк, чтобы выманить письма, — все равно лечить не будут. Почему я так цепляюсь за эти письма с воли? А что же более ценного есть у зэка? Знали бы вы, родные, как ваши письма греют нам душу! Знают. Потому и пишут — даже те, кто терпеть не может эпистолярного жанра. И половина этих писем оседает в оперчасти, у цензора и у КГБ.

Не отдавать же им теперь вторую половину?!

Восемь дней вокруг меня выются:

— А вдруг вы там чего-то написали? Мы должны проверить.

— Проверяйте. При мне.

Нет, это их явно не устраивает. Врач Волкова зудит:

— Сами отказываетесь лечиться!

— Не отказываюсь. Добиваюсь лечения больше полугода.

— Были бы действительно больны, на все бы пошли, лишь бы лечили!

Нет, как раз на все я не пойду. Они любят шантажировать тебя твоей же болезнью: только поддайся — и придется действительно идти на все. Так выламывались над Таней Осиповой в Лефортове. Перед арестом она лечилась, чтобы иметь ребенка. Добивалась, чтобы прерванный курс лечения продолжили в тюрьме. Следователь Губинский ей так прямо и сказал:

— Будете давать показания — будем лечить.

А не хотите нам помогать, пеняйте на себя.

И «совершенно случайно» включил пленку с радиопередачей: какое счастье быть матерью и прижимать свое дитя к груди. Таня тогда плакала, но сотрудничать с КГБ, конечно, отказалась. Может, теперь западные врачи вылечат? Да только у Тани за спиной теперь одного ШИЗО больше ста шестидесяти суток... Через восемь дней сдаются.

— Ладно, берите письма с собой.

Вот давно бы так! Впервые я в больнице ЖХ-385/3. Это — официальное название лагеря. Почему ЖХ? А как же — железнодорожное хозяйство. Ведь в Советском Союзе концентрационных лагерей нет! 385? Ну надо же вести счет тем самым лагерям, которых нет. Как вы догадываетесь, порядковый номер нашего лагеря в Мордовии не последний...

Корпус терапии. Деревянный дом на четыре палаты. Еще там столовая, каптерка и туалет.

Да еще кабинеты врачей.

— Все вещи сдайте в каптерку и наденьте халат. Телогрейку — вот сюда, на вешалку. В корпусе не надевайте — нарушение.

Ох, и собачий же холод в этом корпусе! Но нарываться на нарушение мне сейчас ни к чему. Столько мерзла — померзну еще. Двенадцать человек в палате. Я — тринадцатая. Раечка меня обнимает.

— Ира? Слава богу!

И тут же хлопчет: кормить. У Раечки вообще своеобразный взгляд на поэтов, недаром же она жена поэта, за что и сидит. По ее мнению, поэт — что дите малое, сам о себе позаботиться не способен. Не накорми — так и останется голодный, спать не уложи — так и будет сидеть до утра со своим вдохновением... И потому она за мной всю нашу совместную отсидку присматривала и нянчила как могла. Тем более что стихи мои ей нравились, и мы подолгу читали друг другу наизусть: она — Мыколино, я — свое.

Теперь она сооружает мне огромный бутерброд: из белого хлеба, повидла и масла. Это надо же! Оказывается, в больничке всем положен усиленный паек: которые без диагноза — тем поменьше, которые с диагнозом — побольше. Раечка уже с диагнозом: не первый раз в больнице. А что тут полагается белый хлеб, мы и в зоне знали, иногда нам тоже перепадало. Ну не завезли черный, а нам пайку подай! Брали тогда из больнички белый и несли. Это был праздник. Наскоро рассказываю Раечке зоновские новости и присматриваюсь к остальному населению палаты. Три беременных: лежат здесь,

ждут родов. Одна — с воспалением легких, три — с язвой, у двух что-то с ногами, впрочем, наша палата привилегированная, ходячая. Парализованные лежат в третьей и четвертой. Ходят под себя, а белье им не меняют неделями. Некоторых из них «активируют» — отдают умирать родным. Наказание исполнено. Родина может быть спокойна.

Некоторые умирают прямо здесь, и их хоронят на кладбище за колючей проволокой. Мне про это кладбище расскажет потом Игорь. Он пробовал туда пройти, да не удалось.

— А кто ж тебя задержал?

Игорь только хмыкает на мою наивность.

— Направо от зоны — если к ней лицом — обычное кладбище. А эзковское — на территории лагеря, за колючкой. Ну не полезешь же через заграждение, когда там автоматчики на вышках!

И он рассказывает мне, как прибыл на свидание (то, которое не дали) и провел ночь в доме приезжих с семьей, приехавшей хоронить. Двадцатилетняя женщина работала в кассах «Аэрофлота», продавала билеты. Когда ей был двадцать один год, случилась пропажа: украли у нее книжечку билетных бланков. Дальше все пошло в соответствии с советским гуманным законом: насчитали ей растрату по максимальной стоимости каждого билета, который можно было бы выписать на бланке. Дали за растрату восемь лет. Она пошла в лагерь, оставив годовалого сына. В двадцать пять умерла в этой терапии от запущенного воспаления легких. Ничего удивительного, если подумать, чего стоит из лагеря попасть в больницу. У лагерных врачей же все — симулянты, пока работать могут. А когда уже не могут — не всегда и до больницы живыми доезжают. И плакала мать этой юной женщины, рассказывая Игорю ночью всю эту историю. Наутро они разошлись: мать — на кладбище, а Игорь — к лагерной администрации, узнавать, что свидания не будет. Утверждала в лагере и утверждаю сейчас: нашим близким приходилось тяжелее,

чем нам! Восемь раз Игорь приезжал в Барашево, и шесть раз — впустую. Это не считая тех случаев, когда я успевала его предупредить, что свидания не дают. И каждый раз встречал в доме приезжих то две, то три семьи, приехавших на похороны. Тела им не отдавали: раз умерла в заключении — и мертвая будь за колючкой! Он вел статистику, расспрашивал служащих больницы. Получалось, что за год вымирает восемь процентов зэковского населения. А ведь лагеря в Мордовии — еще не самые страшные... Хорошо, возьмем восемь процентов от 4,5 миллиона советских зэков! Приблизительно тысяча человек в день, сорок человек в час... Сколько умрет, пока вы дочитаете эту главу? Считайте сами, читатель, я же не знаю, какая у вас скорость чтения.

А в палату к парализованным нас не пустили не случайно — этой осенью там была пани Ядвига. Для нее лечение стало каторгой — она меняла парализованным подстилки, руками обирала с них вшей. Как и положено христианке. Но при этом она оказалась единственной нянькой на палату, и сил у нее не хватило. Пошла требовать у больничного начальства подмоги.

— Где гигиена? Как вы содержите больных? Начальству, конечно, было наплевать, так пани Ядвига стала писать в медуправление. Потому ее и не хотели долго держать в больничке: подлечили слегка — и обратно в зону. Я встретила там женщин, которые ее помнили:

— Умная была баба! Как она у вас, жива? Стоит ли обижаться за их лексикон — они пани Ядвигу полюбили и искренне за нее беспокоились.

А почему же все-таки родным, в нарушение закона, стараются не отдавать зэковские, безопасные уже тела? Ну, политических — еще понятно: небось устроят торжественные похороны, диссиденты съедутся, будут произносить речи... И могилу станет навещать молодежь с цветами... Но обычный зэк, так называемый бытовик? К нему-то паломничества не будет?! А посчитайте сами: тысяча человек

в день — это сколько же гробов? Везти их железной дорогой, да, как правило, не один день... Какая мороза для народного хозяйства! Нет уж, товарищи, не будем загружать железнодорожные артерии страны! Ведь им уже все равно, а нам еще коммунизм строить...

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

Утром — измерение температуры. Раздают термометры, потом сообщаешь санитарке, сколько там у тебя. Если повышенная — иди в медкабинет и перемеривай при медсестре. Да не одним термометром, а двумя одновременно: вдруг ты одну подмышку как-то специально обработала. Я прохожу через эту процедуру дважды в день, и приходится медикам фиксировать: да, тридцать семь с половиной. Или — к вечеру — тридцать восемь. Не слишком высокая, не смертельно. Но когда несколько месяцев подряд — страшно изматывает. Коленки дрожат, в голове противный комариный звон, чуть что — задыхаешься, как будто в пластиковом пакете. А жить надо: таскать ведра с водой, пилить дрова, нагружать и разгружать телегу, стирать в тазике простыни. Держать голодовки. И смеяться, и быть веселой — кому в зоне лучше? Здоровых нет, так тем более важно, чтобы не падать духом! Положительные эмоции внутренним распорядком не предусмотрены — только отрицательные. Это во что же превратишься за семь лет, если только тосковать да возмущаться?

Потому у нас дня не проходит без шуток и розыгрышей. Стараемся вспоминать из своей жизни все доброе и веселое. Но слабеет тело — и все больше сил тратишь на то, чтобы унять эту чертову дрожь в коленях. Подлечили бы здесь, действительно! А то ведь, хоть я ничего против наших варежек не имею, начало забастовки восприняла с чисто физическим облегчением.

— Ратушинская, к окулисту!

Что за шутки, на глаза ведь я не жалуюсь.  
С чем у меня хорошо, так это как раз со зрением...  
Может, ошибка.

— Идите-идите, мы должны вас полностью  
обследовать!

Ладно, иду. Кабинет окулиста, таблицы  
на стенах, какие-то сложные стекляшки. Врач пожи-  
лой, лицо неглупое.

— На что жалуетесь?

— На зрение не жалуюсь.

— А что же вы ко мне пришли?

— Направили. Сама удивляюсь.

— У вас какое заболевание?

— Не знаю. Температура вот, отеки. Не по вашей  
части.

— Ну и пусть вас смотрит терапевт.

— А направили к вам. Может, я пойду?

— Нет, зачем же. Раз направили — проверим.  
Это какая буква?

Говорю ему буквы, добросовестно не моргаю,  
когда он лезет мне в глаза какой-то лупой... Идиот-  
ство! Наша Галя, в ростовской тюрьме КГБ испортив-  
шая себе зрение, который месяц не допросится  
окулиста. Потом он наконец ее проверит и даже  
выпишет очки. Она отправит рецепт своим друзьям,  
чтоб заказали и прислали. Бандероль с очками  
из лагеря отфутболят им обратно с надписью  
«не положено». Пока Галя об этом узнает, пока будет  
добиваться права получить очки, пока эту бандероль  
ей снова пошлют и пока она ее получит — пройдет  
полгода. И окажется, что очки уже не годятся: за это  
время зрение ухудшилось на сколько-то единиц.  
И снова добивайся рецепта, и крути всю эту машину  
с бандеролями. Так Галя и просидит все время  
в неподходящих очках, пока случайно ей не подойдут  
вторые очки пани Лиды.

А тут окулист возится с моими здоровыми  
глазами! Ему, впрочем, выбирать не приходится:  
кого послали — того он и будет смотреть. Просто  
так сходить в нашу зону он не может — нужна целая

куча пропусков. Потому любому врачу попасть в политзону — целая проблема. И конечно, вывести кого-то из нас в больничку — точно такая же морока. Нужны подписи режимников, да оперчасти, да Волковой, да КГБ... Окулисту приятно побеседовать на литературные темы: он человек образованный и в Барашеве, должно быть, тоскует. А я чувствую себя так, будто непосредственно у Гали краду эти полчаса приема. Возвращаюсь в свою терапию с официальным заверением, что у меня прекрасное зрение.

Наивный человек! Разве такие буквы, как у него на таблицах, мне приходится ювелирно выписывать на нашей тайной корреспонденции? Да он бы сам их только в свою лупу и прочел! Слава богу, что это — не единственный СПОСОБ, а то бы кончились мои глаза за эти четыре года! В терапии тем временем — очередное мероприятие:

— Женщины! На хозработы!

А как вы думали? Кто должен таскать уголь в кочегарку, а груды шлака, наоборот, от кочегарки? Телогрейки — поверх халатов, ведра в руки — и вперед! Вот от этой кучи — туда, к двенадцатому корпусу! Отлынивать от хозработ не рекомендуется, за это в два счета выпишут из больницы. И тянется вереница с ведрами: язвенницы, радикулитчики, хромящие старухи, те, у кого есть диагноз и у кого его нет. А у нее, может, грыжа, но это врач только завтра определит, а сегодня пусть потаскает. Два часа — не сдохнет! Остальные работы — мыть палаты, коридор и столовую да топить печки — мы должны выполнять по очереди, и это уже облегчение: местному начальству наплевать, кто это будет делать, лишь бы делали. Поэтому пожилых палата отмечает:

— Не шустри, баба Катя! Вон еле дышишь.

Я за тебя помою. Куды тебе с ведром!

Это говорит убийца Шура, приехавшая сюда с хроническим плевритом. Вот и разберись тут, что такое гуманизм!

Два часа поработать в угольной пыли — значит пропитать ею всю одежду, собственную кожу

и волосы. Баня, однако, раз в неделю. Лицо и руки можешь ополоснуть в туалете. Ты что ж думаешь, умывальные тебе тут будут строить? Халат в угле? Ничего, он черный. Походи так — все равно завтра на хозработы. И не капризничай — ты счастливица, в больничку попала! Тебе на завтрак кубик масла дадут — тридцать г..

Так мне и говорила еще в киевской тюрьме растратчица Люба, моя «наседка»:

— Больничка — это рай!

И поскольку грешникам в раю делать нечего, мое изгнание из него последовало очень быстро. Только успела я выслушать от бабы Маши, арестованной за бродяжничество, историю, как она лично встречалась с Николаем-угодником, да написать спекулянтке тете Варе грамотную помилровку (она писать, кажется, вообще не умела), как сунулась в дверь санитарка:

— Ратушинская! На укол!

Какой такой укол? Меня ведь, кроме окулиста, никто еще не смотрел! Не мог же окулист мне уколы назначить! Иду в процедурную выяснять.

— Какой укол?

— Вам знать не положено!

Ого, это мне уже не нравится... Кто их знает, что они тут затеяли? Надо мною, как и над всеми политическими, коршуном висит КГБ, и в этом неведомом уколе я могу получить что угодно из богатейшего арсенала психушек — они любят упражняться над инакомыслящими. Вколют тебе какую-нибудь гадость — и будешь два часа болтать без остановки что попало. Или осоловеешь так, что собственное имя вспомнить не сможешь. Или наркотики какие-нибудь загонят... Всего можно ожидать, но ясно одно: диагноз мне еще не поставили, лечение не назначили — укол, значит, не от моей хвори. А тогда зачем? Говорю медсестре:

— Я не позволю себе вводить неизвестно что. Покажите раньше ампулу!

— Отказываетесь от лечения — так и скажите!

- Да не от лечения отказываюсь! Но хочу знать, чем и от чего меня лечат.
- Я вам сказать не имею права, идите к врачу. Иду. Наконец вижу терапевта — это врач Гунькин, тот самый, что пани Ядвигу заподозрил в симуляции отсутствия желчного пузыря. Он уже в курсе дела. Заявляет:
- Какой укол — это мое дело, а не твое!  
Однако он со мной на «ты». Не преждевременно ли? Указываю ему на это обстоятельство и заодно спрашиваю:
- Чем же вы меня лечить собрались, если еще не обследовали?  
Но передо мной сидит этакий больничный всемогущий божок: захочет — пойдет зэчка в хозобслугу, захочет — вернется в лагерь безо всякого лечения. Он не привык к вопросам и возражениям, он со всеми на «ты», хотя вряд ли ему исполнилось хотя бы тридцать. А потому отвечает он вполне в стиле и духе заведения:
- Не твое дело, а будешь выступать — выпишу. Говорить с ним дальше не о чем. Таинственный укол себе вводить не позволю — здесь вам не психушка! Пишу заявление начальнику больницы о том, что секретная медицина законом не предусмотрена. И возвращаюсь в палату.
- Там в разгаре захватывающий разговор о «мостырках»<sup>58</sup>. Это значит — что такое над собой надо учинить, чтобы попасть в больничку или хотя бы получить освобождение от работы на неделю-другую. Речь держит беременная Лиза:
- У нас девчонки сахар трут, чтобы была такая мелкая пыль. И вдыхают с кулька. Она на легких оседает, и на рентгене получается затемнение. Если регулярно вдыхать — самый настоящий туберкулез получается! Тогда в больничку переводят, к тубикам, а там молоко дают. А если тубика в ШИЗО сажают,

58

<sup>58</sup> Мостырка (жарг.) — искусственное вызывание симптомов болезни.

Мостырка (жарг.) — искусственное вызывание симптомов

то ему положена постель с одеялом и питание каждый день по больничной норме. Лафа!

— А ты-то сама почему тогда не вдыхаешь?

— Боязно как-то, — честно признается Лиза. — Ведь туберкулез... У меня пятерик впереди, за это время, пожалуй, и на больничной норме — аминь. Я вот лучше трахнулась с алкашом — у нас их лагерь рядом с зоной, они к нам лазят. Рожу теперь ляльку, лучше по амнистии уйду.

— А у нас в пятьдесят шестом такая хорошая медсестричка была! — мечтательно вспоминает баба Катя. — Из зэчек сама, все понимала. Мы лес валили, там и мужики мерли на той работе. Так она, если видит, что приходишь, — раз тебе кубика три молока под кожу! Уколет, а через час-два температура тридцать девять! А то и больше. Тогда уже тебе освобождение дают на пару дней. Отлежишься — и опять живая...

— А у нас на «двойке» девчонки чесотку разводят! Чесоточных изолировать должны, они там в карантине сидят, пока не пройдет. Иголкой лучше всего. Она тыкнет иголку в свой пузырьрек, а потом ты ту иголку сразу себе в кожу. Я так три раза на карантине была — красота!

Рассказывают про хитрые переломы, о том, как чайной заваркой сделать себе стенокардию, как растравить незаживающие язвы на ногах...

До чего же они должны быть доведены, чтобы так себя калечить! Какая должна быть работа, чтобы предпочесть ей туберкулез!

А вот Шура про работу и рассуждает:

— Я на швейке бригадиром, мое дело — чтоб норму перевыполняли. Тогда идут «производственные» — два рубля в месяц на ларек. Если кто в бригаде норму не дает — значит, остальным ее крой обрабатывать. Вот посадят тебе в бригаду какую-то лахудру, а она — как дохлая муха. Терпишь неделю, думаешь,

научится. А она, интеллигентка собачья, — ну никак. Тады уж мне кулаками ее учить приходится. Меня девки боятся, я строгая.

Ну, конечно, как еще советской власти перевоспитывать убийцу Шуру? Поставить ее над другими начальницей — пусть поучит кулаком интеллигентку! То-то у обеих пропадут преступные наклонности! При этом к той же бабе Кате Шура вполне добра — Катя же не вырывает у нее из горла два рубля в месяц! Так за разговорами подошла ночь, а наутро, когда мне мерили температуру в очередной раз, за мной пришли.

— Ратушинская, собирайтесь в зону! Вас выписали из больницы.

— Как так?

— За отказ от лечения. Врач Гунькин.

Смотрю на термометр: тридцать семь и пять. Та же температура, с которой меня привели. Да еще кашель начался — это я уже здесь простудилась. Отеки — еще сильнее, ноги как надутые. Спасибо, вылечили! С легким сердцем собираю барахло. Палата за меня переживает: выписали в зону.

— Ты поди, Ириша, попроси Гунькина, может, оставит все-таки?

— Не стану я его просить. Лечить — его обязанность.

— Ой, дойдешь совсем на зоне!

— Ничего, у нас там теплее, мы в телогрейках сидим. Не то что здесь в одном халате!

— А на работу как же?

— Все равно бастуем.

Про забастовку нашу они знают и сочувствуют. Но поражаются нашей отчаянностью:

— У одной — свидание полетело, а вы все — бастовать? Ну, девки!

— А что? И правильно! У нас бы так!

— Где? На «двойке»? Ха-ха-ха! Я ж там была по первому разу, там половина начальству ж... у лижет! У нас на «четырнадцатой» и то лучше!

Раечка расстроена. Собирает быстренько все масло и сахар, что копила в тумбочке.

— Отнесите в зону!

Целуюсь с ней и иду к дверям.

— До свидания, девочки! Выздоровливайте!

— Счастливо, Ириша! Держись!

В коридоре меня догоняет Лариса из соседней палаты.

— Ира, держи! У вас на «строгаче» с ларьком хуже, чем у нас на «общем». Не обижай, бери!

И сует мне синтетические носки — прочные, совсем новенькие. Я их буду носить до конца лагеря, в них и освободиться. Даю ей на память вышитую мной закладку. До свидания, больничка!

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

До чего же приятно вернуться в зону!

Да еще с маслом и сахаром! Наши, конечно, не в восторге от такого оборота с моим обследованием.

Что поделать, напишу в медуправление и буду добиваться по-прежнему: довели — лечите!

Но чем сидеть в промерзшей, грязной больничке безо всякого толку — уж лучше дома. Мне нагревают два ведра воды, и я смываю с себя больничную угольную пыль. Телогрейка моя и белье летят в сугроб, на мороз: кто знает, что там можно было подцепить! Пусть вымерзнут до утра, потом буду стирать и чистить. И вот уже во всем свежем сижу у нашего «камина». Пани Лида заваривает чай. Ничего, дома и стены помогают! И еще больше стен — наша дружба.

Пять дней проходит после моего больничного приключения. Наседаем на Волкову: лечить нас будут или нет? У Тани — обострение почечной болезни, температурит похуже меня. Со мной — вообще непонятно что. Про Наташу нечего и говорить — совсем доходит.

— Женщины, вас же стали лучше кормить!

Это правда — в начале осени было еще хуже. Ну а лечить? Осматривает наконец Таню, выписывает ей курс антибиотика. Обещает обследовать и меня. И через полчаса:

— Ратушинская и Осипова, в ШИЗО! За забастовку.

Этого следовало ожидать. Неясно только, почему мне — двенадцать суток, а Тане — пятнадцать. Бастуем ведь все с одного дня и часа! Таня смеется:

— Не переживайте! Еще насидитесь!

Наши тянут все самое теплое, что только может сойти за нижнее белье. Напяливаем это все на себя в три слоя. Ну вот, теперь нас тощими не называть! Потихоньку прихватываем термометр — вдруг удастся протащить через обыск? Этот — не медицинский, а для измерения температуры воздуха. Целуемся со всеми, и нас выводят на вахту.

— Посидите здесь!

Оказывается, «кукушка» ушла раньше, и теперь нас повезут машиной. Называется «спецэтап». Пока же мы сидим в той самой комнате, где у меня было свидание, и сердобольные дежурнячки волокут нам обед из офицерской столовой — огромное количество котлет, картофельного пюре и киселя.

— Да куда нам столько?

— Ешьте-ешьте, там не дадут!

Довод убедительный, и мы добросовестно жуем. Нам даже весело: приятно, что едем вместе, и кроме того, остальные пока дома. Хорошо хоть не пани Ядвигу взяли и не Наташу.

Приезжает машина, нас запихивают в «стаканы» — это мини-камеры на одного. Сидишь, со всех сторон зажатая железом: колени упираются в дверь, спина и плечи — в стены. Надо крепко цепляться за скамейку, потому что машину кидает во все стороны по мордовскому бездорожью. Ох, кажется, добрались! Вот она, «двойка» — женский лагерь ЖХ-385/2. Тут нас и будут держать в ШИЗО. Проводят сквозь проходную, ведут по лагерю. Лозунг: «На свободу — с чистой совестью!» Прекрасное начинание,

не правда ли? Выйти на свободу несломленными, без отречения от своих взглядов, без доносов на друзей, без сотрудничества с КГБ... Лагерь действительно очищает совесть или уж уничтожает ее напрочь. Здесь становятся либо гораздо лучше, либо гораздо хуже — в зависимости от того, какое начало преобладает в человеке. Но, кажется, мы слишком буквально этот лозунг понимаем. Вряд ли оперчасть, которая такой агитацией занимается, имела в виду именно это.

Да, действительно, кампания под этим лозунгом не имеет ничего общего с нашей трактовкой. Просто уголовный розыск завален кучей нераскрытых дел. А как же стопроцентное раскрытие преступлений? Вот и взялись за зэков — давайте помогайте милиции! Вы попались на квартирной краже — не знаете ли про другие случаи? Может, ваши приятели воровали — так дайте показания, помогите закону! Или ненароком сами согрешили? Самое время идти к оперу и каяться. Срок вам вряд ли добавят: одна кража или три — для закона безразлично. А вот внеочередную посылку вам могут и разрешить, в поощрение. А если даже ничего больше за вами нет — идите, возьмите на себя преступление-другое. Опер вам поможет выбрать подходящее дело, над которым бедная милиция уже извелась. Они его закروют с вашей помощью и улучшат свою отчетность. А про вас напечатают в специальной лагерной газете «Ударные темпы»: «Осужденный К. последние полгода не мог спать спокойно. Его мучили воспоминания о двух совершенных им угонах машины, которые он утаил на следствии. Он вспоминал слова старушки-мамы: «Сынок, живи честно! А если и оступишься — признайся, легче будет». Но вряд ли осужденный К. решился бы признаться, когда бы не тактичная, вдумчивая воспитательная работа начальника оперчасти В. П. Корытина в учреждении, где начальником тов. Горин. Он неоднократно мягко убеждал осужденного К. очистить свою совесть перед законом. И вот однажды вечером осужденный К. смело открыл дверь в оперчасть — он не хотел больше ничего скрывать.

Теперь осужденный К. твердо встал на путь исправления — перевыполняет норму на 20—30%, соблюдает внутренний распорядок, вступил в секцию внутреннего порядка. За примерное поведение он премирован внеочередной посылкой».

Такие захватывающие истории мы будем читать в этой газете как раз тут, на «двойке». У нас в зоне ее не достать: газета только внутриведомственная и выносу на свободу не подлежит. А мы, как знать, вдруг исхитримся передать ее на свободу. Вот и получается, что все зэки Советского Союза обязаны выписывать такие газеты, хотя они того или нет. Кроме политических, которым легче подписаться на дефицитную «Иностранную литературу», чем на «Ударные темпы». На «двойке», к счастью, о таких тонкостях не знают, и когда мы будем тут сидеть в ПКТ, библиотечка станет пихать нам в кормушку целые подшивки. По этим подшивкам мы изучим все воспитательные кампании последних лет. Но до ПКТ нам еще полгода, а в ШИЗО газет не положено, и вообще никакой бумаги — даже туалетной.

Идем в сопровождении дежурнячки и офицера через зону. Народ тут такой же заморенный, как в больничке. Серые лица, серые или синие телогрейки. Серые бараки, серые заборы. Даже снег, припорошенный угольной пылью, утратил свою белизну. Ярко выделяются только красные нарукавные повязки на некоторых зэчках. Это и есть Секция Внутреннего Порядка. Их дело — следить за этим самым внутренним порядком, и если что — доносить. В лагерях их люто ненавидят. Я должна с прискорбием сообщить, что в зэковской интерпретации СВП расшифровывается куда циничнее: Сучка Вышла Погулять. Лагерное начальство об этой ненависти знает и вполне удовлетворено — зэков надо натравливать друг на друга, иначе с ними не сладишь. Почему Подуст и старалась забить между нами клинья, как не из этих соображений. Удалось бы ей это — сами бы друг друга ели поедом, гораздо эффективнее, чем она. За нами — сдержанный шепоток:

- Политичек ведут!  
Самая отчаянная кричит издали:  
— Девочки, в ШИЗО или в ПКТ?  
Отвечаем:  
— ШИЗО! Осипова и Ратушинская!  
Дежурнячка, не надеясь урезонить нас,  
грозится кулаком в безоблачную даль:  
— Ох, Деркаева, дождесси ты у меня!  
И бубнит под нос весь остаток дороги:  
— И возют, и возют этих политичек. Будто нам  
своих урок не хватает! Ну построили бы у себя  
на «тройке» ШИЗО, да туды и сажали бы. А тут  
возися с ими!

Как обращаться с таинственными политичеками, они не знают. Уже говорить нам «вы» для них — непривычное напряжение. Это потом, получив инструкции из КГБ, они будут сдирать с нас всю одежду и даже однажды подступят с гинекологическим обыском, но тут же получают отпор и предпочитают не связываться. А пока они с нами осторожничают. Отбирают наши мешки и запихивают в камеру без лишних слов.

Камера небольшая, на четверых. Шесть шагов в длину, а в ширину и четырех не будет. Деревянный пол, прогнивший от сырости. В одном углу доски совсем истлели, и там зияет дыра. Из нее идет запах погреба, и выползают мокрицы. Окно зато огромное — полтора на полтора метра. Зарешеченное, конечно. В тоненькие деревянные перегородки вставлены квадратики стекла с две мои ладони. Естественно, об оконной замазке речь не идет, каждый просто прижат четырьмя гвоздями. Поскольку и рама кривая, и квадратики нарезаны сикось-накось, образуются щели — такие, что палец просунешь. Позже я подсчитаю общую длину этих оконных щелей, и получится тринадцать метров. Теперь нам, впрочем, не до щелей: два стекла вообще выбиты, и декабрьский ветер наметает в камеру снежок. Колотим в дверь:

- Переведите в другую камеру!

Это для местной публики непросто. Камера номер семь — исконно политическая, ее держат специально для нас. Тут нам и ШИЗО, тут нам и ПКТ. Уголовницы — в соседних, и держать нас вместе строго настроено запрещено.

— Подождите до утра, вставят вам стекла!

Ага, «подождите»! Да мы тут до утра околеем. А кроме того, знаем: если согласимся ждать — все пропало. Утром стекол, конечно, не будет — и нам скажут «подождите до завтра».

— Ужин забирайте. Сегодня голодный день.

«Голодный» — значит, баланды не дают, только сто пятьдесят граммов хлеба. Это — по норме, но как взвесить сунутые нам в дверную прорезь два мокрых корявых ломтика? Мы, однако, взвешивать их и не намерены:

— Пока не переведете в другую камеру — пищи не принимаем.

— Хорошо, сейчас позову ДПНК.

Дежурный помощник начальника лагеря — для зэков грозная фигура. Он имеет право отправлять в ШИЗО и вообще вершить суд и расправу. Но нам его-то, голубчика, и надо. Появляется тощая нескладная фигура — Кочетков Василий Иванович. Фамилию я запоминаю сразу — не так по зэковской привычке, как потому, что начинает меня мучить: где-то я эту фамилию много раз встречала, но где — хоть убей... Потом, уже после его ухода, до меня дошло — это автор школьных наших учебников по математике! Так и выплыла из памяти заляпанная чернилами обложка... Однофамилец, конечно: нашего Василия Ивановича заподозрить в авторстве учебника немыслимо. Он, даже для тюремщика, патологически глуп. Доживает здесь до пенсии, подпирая ушами офицерскую фуражку. Вот, опять сползла... И ему-то, бедняге, принимать ответственное решение — переводить нас в другую камеру или нет. Принимать быстро, хотя бы потому, что Таню он хорошо знает — по ее четырехмесячной голодовке как раз тут, в этой камере. И как уголовницы взбунтовались в ее поддержку — не забыл.

— Подождите, я пойду позвоню.

Правильно, догадался снять с себя ответственность: пусть другой дядя решает. Ну, беги скорей, звони, на улице-то минус пятнадцать! Греем дыханием руки и ждем.

— Женщины, переходите в восьмую!

Открывают нам эту восьмую по той же системе, что и нашу: сначала — два замка и задвижку на внешней двери, потом железную дверную решетку.

— Располагайтесь!

Окно тут целое, но все равно в камере валит пар изо рта. Объясняют, что отопительные трубы где-то в лагере прорвало, но завтра починят. Это традиция всех лагерей: как морозы — так обязательно рвутся трубы. И вовсе не для того, чтобы мучить зэков, — просто лагерные хозяйства в безнадежном состоянии по всей Мордовии. На пушечный выстрел вокруг работать никто не умеет — все же тюремщики. Толковый слесарь — на вес золота, да только золота у начальника лагеря нет. Потому всегда нет стекол, периодически исчезает электричество, то и дело перебои с водой — что тут говорить про отопление... Что же, начальнику лагеря закрывать из-за этого учреждение? Посидят и без воды, и без света — не на курорт приехали! Не завезли рыбу, перекантуются недельку на урезанном пайке! Слава богу, краски хватает, и перед каждой комиссией можно все покрасить, чтоб приличней выглядело. Поэтому наш несчастный барак ШИЗО-ПКТ мажется то и дело: то серой краской, то зеленой. Дежурнячки ходят по коридору пятнистые и злые, как пантеры, но нас вежливо предупреждают:

— Пойдете выносить парашу — к стенкам не касайтесь! Опять покрасили...

Параша — это целый агрегат из сварного трехмиллиметрового железа. Официальное его название — туалетный бачок. Канализации, естественно, здесь нет. Помня удельный вес железа и формулы измерений цилиндра, я как-то не поленилась высчи-

тать, сколько эта параша весит пустая, сама по себе. Получилось — двенадцать килограммов. От нее к тому же тянется железная цепь, а на конце цепи — метровый железный штырь. Он вставляется в специальную сквозную дырку в стене и со стороны коридора прихватывается винтовым запором. Почему-то тюремные правила требуют, чтобы параша была прикована к стене, — и дежурнячки, чертыхаясь, каждое утро отвинчивают из коридора гайки, а потом опять завинчивают. Емкость этого сооружения тридцать литров, значит, в наполненном состоянии, да с цепью и штырем, оно потянет примерно на сорок четыре килограмма. Таскать это хозяйство надо вдвоем — одной не поднять. Для этой цели к параше приварены кастрюльные ушки.

Почему я так много внимания уделяю этому несимпатичному устройству? Да как же — это был важный аспект нашей жизни! В общей сложности я провела семь месяцев в ПКТ и четыре — в ШИЗО, и каждый божий день начинался с того, что мы, сгибаясь в три погибели, тащили нашу красавицу по коридору, сволакивали вниз по обледенелым ступенькам, а потом по снежку, до выгребной ямы. И обратно в камеру.

— Женщины, опять забыли вставить штырь!  
Что, застрял? Да пропихните, пропихните!  
Сил, что ли, у вас нет?

Мы таскали ее и в «голодные дни», и в «сытые», и в голодовках. В остальное время суток мы ею дышали.

— Отбой!

Приходит дежурнячка с ключами, открывает замок и откидывает нам дощатые щелястые нары. Постели не положено, переодеваться на ночь — тоже. Мостимся на холодных досках, подложив тапочки под голову. Это не сон: ненадолго впадаешь в беспомощность и снова крутишься на нарах от холода. Все кажется, что можно найти позу, при которой будет теплее. Зато, дойдя до полного изнеможения под утро, короткими вспышками видишь удивительно

яркие, замечательной красоты сны. Часто слышишь музыку, наплывают восхитительные запахи. Почти во всех этих снах можно летать. Нигде, кроме ШИЗО, мне такие сны никогда не снились, хотя летаю я до сих пор — натренировалась.

— Подъем, женщины! Парашу выносить.  
8 декабря 1983 года.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

По слухам, отопление действительно чинят, и мы надеемся к вечеру согреться. Пока же обычные утренние процедуры: умывание и мытье камеры. Для умывания берем из своих вещей зубные щетки, порошок, мыло и полотенца. Заодно прихватываем термометр, пользуясь сонным состоянием дежурнячек. И пластиковый кулек с ватой. Опытная Таня сложила в мешок все, что нужно. На умывание положено по кружке воды, но Таня еще в прошлые свои приезды добилась того, что нам выдают больше — целый чайник. Так сказать, исключение для настырных политических. Умывание происходит над парашей: Таня поливает из чайника, я размазываю мыло по лицу. Потом меняемся. После умывания положено все сдать обратно: в ШИЗО — никаких предметов при себе! Даже расческу можно использовать только раз в сутки — в шесть утра.

Мы, однако, исхитрились еще в зоне сшить два вафельных полотенца вместе. Теперь одно из них отдираем и сдаем, другим — обматываем Тане поясицу, у нее больные почки. На следующее утро — мне, второе полотенце. Маленькие хитрости, без которых — хана. Термометр прячем в специальное место... Какое? Да вам ведь, читатель, в тех камерах не сидеть! А сядете — сами научитесь. Смотрите, куда с меньшей вероятностью полезут — туда и прячьте. Обыскивают камеру примитивно: шарят

рукой под маленьким железным столиком, наглухо прикрепленным к полу, под скамейкой... А больше в камере ничего и нет. Ну, под парашу иногда заглянут... В общем, никакого полета фантазии. Вас, как положено, обхлопают по бокам — ничего ли нет под одеждой? И почувствуют, конечно, подмотанное полотенце, да промолчат, жалея. Если только это не будет дежурнячка Акимкина или начальница по режиму Рыжова — те сладострастно сдерут.

Мытье камеры осуществляется ведром воды и грязной мешковиной. Из уважения к нашему политическому статусу нам обычно дают еще и швабру. Подбираем кое-как сор с пола мокрой тряпкой. Темно, лампочка за решеткой еле светит, а до рассвета еще два часа.

— Женщины, завтрак! Сытый день!

Это значит, сегодня кроме хлеба дают баланду. В ней — кусочек вареной рыбы, с чешуей и с кишками. В сыром виде ее положено 60 граммов, в вареном — то, что не успели украсть. Норма «сытого дня» называется 9-Б, и вот она вся:

хлеб ржаной 450 г  
мука 10 г  
крупы разные 50 г  
рыба 60 г  
мясо 00 г  
жир или растительное масло 0,6 г  
картофель 200 г  
капуста 200 г  
томатная паста 0,5 г

Практически это сводится к половине картофеля в баланде и ошметку капустного листа. Жиры и томатную пасту хозобслуга найдет как употребить и без вас. И, посудите сами, в этом есть резон: вы этих пяти-шести граммов все равно не почувствуете, а если украсть у всех, кто сидит в ШИЗО, получится хоть что-то! Что касается картошки, то мы еще не знаем, какие мы счастливые. Позже я поеду

в ШИЗО в другой лагерь, на «четырнадцатую» — и узнаю, что там дают по осьмушке от картофелины мордовского размера! Крупа? Ну тут уж обратная зависимость: 50 граммов не сухой крупы, а вареной. Чтоб не объедались, чтоб не чувствовали! Остается хлеб, но и с ним жульничают — режут килограммовую буханку не на семь частей, а на десять-одиннадцать. Это я выясню очень легко — измерением в миллиметрах средней толщины и длины буханки. Линейки у меня, конечно, нет, зато есть заранее заготовленная нитка с узелками — поди вышмонай! Буханки я здесь и в глаза не вижу, но точно такие же носят нам в зону, чтоб сами делили паек.

Это — «сытый день», а в «голодный» — только хлеб. Они чередуются через раз, и потому ясно, что на десятый день уже голова кружится от голода. Средняя общая калорийность (официально, а не на практике) — тысяча сто пятьдесят, среднее содержание белковой массы — тридцать граммов.

Кому неясно — плюньте на всю эту собранную по крохам статистику и вернитесь к своему бифштексу! Я своими ушами слышала, как ленинградская студентка сказала:

— В блокаду выдавали в день по двести граммов хлеба, а они еще голодали?! Я вот несколько дней вообще могу не есть хлеба!

И вполне верю, что она могла обойтись без хлеба, — ее родители были оба партийные боссы, она сроду не знала голода. Зачем же хлеб, когда мясо на столе?! Ей и не понять, почему до сих пор без хлеба ни одна советская семья за стол не садится. Мы с мужем и сами в Европе в первый же месяц отвыкли есть хлеб. Но тот мокрый тюремный ломоть я до сих пор помню — и вкус его, и запах...

Но вы не спешите нас жалеть — вчера нас дежурнячки накормили, а вечерние куски хлеба мы приберегли на сегодня. Это потом на утренних обысках у нас будут отбирать припасенный с вечера хлеб («Сушите сухари? Значит, готовитесь к побегу!»).

А пока еще можно жить. Тем более что гениальная Таня запихала в вату перед отъездом бульонные кубики! И разворачивали эту вату, и встряхивали, и прощупывали, но не нашли. Маленькие плоские кубики были внутри слоя. Не на каждый день, конечно, только на «голодные». Тринадцать штук. Откуда они взялись в нашей зоне? А бандероли на что? В Советском Союзе таких кубиков не достать — так прислали нашим родным из-за границы... И присылали, видимо, эмигранты, сами еще не обросшие предрассудками: только теперь мы рассматриваем эти кубики внимательно. Видим на фольговой обертке симпатичного песика и английскую надпись. Из надписи однозначно явствует, что бульон этот — для домашних собачек. Ах вы, цуцики наши милые! Вы-то нас и спасаете! Совсем не обижаемся, что кубики — собачьи, ну не умели люди читать по-английски и купили самые дешевые. Как же мы будем пировать в голодные дни! Кинем в кружку кипятка кубик — и размешаем Таниной шпилькой. И пустую кружку хлебушком вымажем — чтоб не нашли при обыске следов жира. А в обед повторим — вот два кубика и израсходовали.

Кончится наша незаконная подкормка только в августе 85-го. Краснеющий Шалин (тогда уже майор) собственноручно прошмонает рулон ваты и с торжеством вытряхнет оттуда двенадцать «бульонков» — на четверых на неделю... И будет нам же хвастаться — нашел все-таки! Прости ему Бог..

В ШИЗО не положено никаких занятий, кроме работы: девчонок из уголовных камер ежедневно выгоняют на трехсменное шитье варежек. Изволь дать норму на той же пайке! Гаснет свет, и они ликут — машинки-то электрические! Нет тока — нет работы. Оказывается, что ликут преждевременно:

- Как, за восемь часов ничего не пошили?
- Начальница, тока не было!
- Так крутили бы колесо руками!
- Как так — руками? Сколько же так нашьем?

— Хоть шестьдесят процентов нормы —  
а нашили бы, если б захотели! А так —  
злостное уклонение от работы!

Нас на работу не выгоняют: рабочая камера  
на все ШИЗО одна. Не запускать же нас общаться  
с уголовниками — мы ведь «особо опасные».

Но нам и так дела хватает — исследуем тем-  
пературу окружающей среды. По закону в ШИЗО  
должно быть не ниже шестнадцати градусов. Разуме-  
ется, местное начальство трактует это как «не выше».  
Требуем, чтоб нам измерили в камере температуру.  
Приносят знаменитый стрелочный термометр.

— Пожалуйста, измеряйте!

Знаменит он на все ШИЗО тем, что всегда  
показывает одно и то же — пятнадцать с половиной  
градусов. «В пределах нормы» — по местным поняти-  
ям. Недолго думая Таня сует его в снег, наметенный  
на подоконник. Но храбрый «стрелочник» и в снегу  
показывает те же пятнадцать с половиной градусов!  
Вот что значит оптимизм! Не написать ли об этом  
эксперименте в прокуратуру?

— Дежурная! Дайте бумагу и ручку!

— В ШИЗО не положено!

— Нам в прокуратуру — заявление. По закону  
можно и из ШИЗО!

— Ох, эти политички! Только бы им жалобы  
писать! Свалились на наши головы...  
Нет у нас бумаги!

— Так возьмите у нас в вещах, в боковом кар-  
манчике! Там, кстати, и конверты.

Пропадает наша дежурнячка, и до ужина мы  
не можем до нее достучаться. Вечерний обход —  
ДПНК с новой сменой. Обыскивают нас и камеру.

— Мы просили бумагу для заявления, а нам  
не дали.

— Ох господи, опять заявления! Ну что вам  
не сидится?

— Так холодно же, а вы жульничаете со своим  
термометром!

— Ничего не холодно, температура нормальная.

Стоят в нашей камере в шинелях и ушанках, рожи красные, сытые, пар изо рта... Можно поверить, что им не холодно.

— Но мы имеем право написать в прокуратуру?

— Только в дневную смену, а теперь — ночная заступает. Завтра успеете!

Завтра будет другой ДПНК, пусть он и расхлебывает. А нам всю борьбу за собственную бумагу и конверт — начинать сначала.

— Ну чего озоруете, женщины? Вон отопление включили, счас тепло будет!

Действительно, трубы слегка теплеют.

Они идут вдоль пола, и мы ложимся, прижимаясь к ним всем телом. Наш тайно принесенный термометр показывает, что в камере двенадцать градусов, но рядом с самой трубой все же теплее. Обхватываем трубу посиневшими пальцами и чувствуем, как в них пляшут мелкие иголки. Ох, какое блаженство! Через час трубы опять ледяные, но мы от них уже не отходим — знаем, что кочегары гонят горячую воду импульсами. Подкинут угля — отдохнут, поспят, в самодельные картишки перекинутся. И опять подкинут. Надо ловить момент.

Но и по ледяным трубам льется поток жизни — те самые разговоры через кружку. Трубы идут по всем камерам вкруговую, и, лежа возле них, мы невольно становимся если не свидетелями, то слушателями чужой личной жизни.

— Третья, третья! Вы махорку в рабочке нашли?

— Нет!

— Эх, дуры, для вас под кроем оставили!

Значит, третья камера, выйдя на работу, так и не нашла в рабочей камере махорки. А махорка в ШИЗО — дикий дефицит: курить здесь нельзя, табак и спички проносят сквозь обыск виртуозы. И делятся не со всеми, а по своей какой-то сложной системе расчетов. А те, из третьей, не отыскали оставленную для них заначку. Действительно, не от большого ума.

— Восьмая! Политические! Таня, я Тишка из шестой! Ты меня помнишь?

— Помню, помню.

— Ну как дела, Танюша? Это кто с тобой?  
Как звать?

— Ира. Тоже из нашей зоны.

— А за что посадили?

— Кого? Иру — в лагерь или нас в ШИЗО?

Таня любит точные формулировки. Так ее приучила «Хроника текущих событий» — подпольное издание советских новостей.

— И ее, и вас обеих!

— Иру — за стихи.

— А-а, поэтка, значит.

— А нас сюда — за забастовку.

— Обе-две бастуете?

— Да не две, а вся зона.

— Ага, значит, скоро Наташа приедет! Как она там?

— Болеет.

— Девочки, ну держитесь! Все будет хорошо!

Это «все будет хорошо» — стандартное эзковское утешение. Сколько раз я его выслушала от незнакомых и полужнакомых за всю отсидку! И каждый раз поражалась бессмысленности: ну откуда они знают, хорошо у меня все будет или плохо? А вот поди ж ты, правы оказались самодеятельные тюремные пророки. И трудно мне было, и холодно, и — признаюсь — страшно. А все равно хорошо — и жива осталась, и совесть не продала, и дождался меня на свободе любимый человек... Чего мне еще? Всем бы так, кому твердили это самое пророчество. Мне оно помогло, наверное. Это было как короткая молитва за нас — тех, кто сроду не умел молиться.

Мы с Таней спорим про судьбу России: откуда начался наш исторический вывих, с Петра Первого или раньше, или позже? Спор бесконечен, как и все разговоры такого рода. Пора и спать, но не хочется. Читаю Тане наизусть стихи. Сначала чужие, потом свои. Потом затихаю, и все понимающая Таня делает

вид, что спит. Она знает, что я прочту ей стихи этой  
ночи завтра утром.

Я сижу на полу, прислонясь к батарее,  
Южанка, мерзлячка!  
От решетки на лампочке тянутся  
        длинные тени,  
Очень холодно.  
Хочется сжаться в комок по-цыплячьи.  
Молча слушаю ночь,  
Подбородок уткнувши в колени.  
Тихий гул по трубе.  
Может, пустят горячую воду?  
Но сомнительно: климат ШИЗО,  
Кайнозойская эра...  
Кто скорее обогреет — Державина  
        твердая ода,  
Марциала опальный привет  
Или бронза Гомера?  
Мышка Машка стащила сухарь  
И грызет за парашей.  
Двухдюймовый грабитель,  
Невиннейший жулик на свете!  
За окном суета, и врывается в камеру нашу  
Только что со свободы  
Декабрьский разбойничий ветер.  
Гордость Хельсинкской группы не спит —  
По дыханию слышу.  
В Пермском лагере тоже не спит  
Нарушитель режима.  
Где-то в Киеве крутит приемник  
        другой одержимый,  
И встает Орион,  
И проходит от крыши до крыши.  
И печальная повесть России  
(А может, нам снится?)  
Мышку Машку,  
И нас,  
И приемник, и свет негасимый  
Умещает на чистой, еще непечатой странице,

Открывая на завтрашний день  
Эту долгую зиму.

Эти стихи я пошлю с этапа, возвращаясь в зону, и они благополучно попадут раньше к «теневым» адресатам, а потом — к Игорю. Еще до того, как я успею приехать в ШИЗО второй раз. Каково будет моему «одержимому» получить эти корявые, наспех записанные в грохочущем поезде строки? В ту ночь я об этом даже не думаю: Игорь несет свою часть ноши, я — свою. Сейчас меня, как и Таню, более всего заботит точность формулировки...

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

И все же больше всех мышей и мокриц, больше сознательного вымораживания заключенных в ШИЗО, голода и неизбывной грязи меня в тот раз потрясла бытовая жизнь уголовного лагеря. Этот быт переносился в соседние камеры, население их все время менялось, и двенадцати суток хватало, чтоб войти в курс всех лагерных событий. Потом я уже притерпелась, а раньше меня поражало, откуда в постоянной тюремной переключке такое количество мужских имен? Откуда сцены ревности? Ведь лагерь — женский...

Нет, я знала про уголовную лесбийскую любовь, но не представляла, что в таком масштабе. Оторванные от нормальной жизни женщины, в основном молодые, создавали себе эрзац-любовь и эрзац-семьи. Да-да, целые семьи — с дедушкой и бабушкой (их роли брали на себя пожилые), с папой-мамой и детками-малолетками. Малолетками были только приехавшие из детской зоны, а значит, достигшие восемнадцатилетнего возраста. Но и им предстояла лагерная женская наука.

— Маша! Маша! Вторая! Что там нового в зоне?

— Ой, Зина, ты? Вчера этапом малолеток привезли. Мы ходили смотреть. Такие киски! Одна — в нашей бригаде, мы ее себе взяли за дочку!

Мужскими именами назывались «коблы» — женщины, берущие себе в лесбийской любви мужскую роль. Женскую роль брали на себя «ковырялки». Разумеется, это было запрещено, разумеется, застигнутых на месте преступления наказывали, и публичное шельмование было еще самым мягким вариантом. Ничего не помогало. Страсти только разгорались пуще. Если сажали в ШИЗО одну — другая, по лагерной этике, должна была вытворить что угодно, но сесть в ШИЗО следом за ней. Иначе это был повод для ревности, и начинались бесконечные интриги.

— Федя, ты тут сидишь, а твоя Лизка с Женькой гуляет!

— С какой это Женькой? — спрашивал Федя металлическим меццо-сопрано.

— А из шестого отряда!

— Врешь?!

— Ну, спроси у Михрютки, ее только сегодня посадили.

— Михрютка! Михрютка! Первая! Правда, что ль?

— Черт ее знает, я им свечку не держала. В ларек, правда, вместе ходили.

— Ну, я ж ее!

И побьет Федька свою Лизку, выйдя из ШИЗО, или — еще того лучше — вскрыет себе вены, чтоб доказать любовь и чтоб «изменщица» опомнилась. Лагерные врачи, сатанея от этих постоянно вскрываемых вен, зашивают их без наркоза.

— Ори, ори, в другой раз вскрываться не будешь! Может, конечно, и не будет. Но показывала же мне в больничке сорокалетняя Ксюха сплошь изрезанные руки — шрам на шраме! И все от несчастной любви. «Коблы», обязанные, как и все прочие, носить косынки, повязывают их особым манером, чтобы

было похоже на мужскую кепку. Стараются говорить басом, ходят враскачку, делают татуировки. Сами себе не стирают: на то есть их «половинки». Доходят до полной невменяемости даже те, кто имел нормальные семьи на свободе. Я слышала, сидя в очередном ШИЗО, дикую сцену. Начальница отряда пришла уговаривать такую «половинку» выйти из ПКТ на свидание к мужу и двухлетнему сыну.

Никакие свидания в ПКТ не положены, но тут администрация то ли сжалась, то ли решила разбить лагерную «пару сожителей». Сам по себе проезд мужа на свидание — в уголовных лагерях не частая вещь. Большинство мужчин не ждет своих попавших в беду жен — разводятся. Бывают, конечно, исключения, но редко. Это вам не политэки, которые, бывало, ждали друг друга по двадцать лет. Тот приехавший муж был, видимо, одним из таких исключений. И вот — беспрецедентно! — им позволили свидание.

И она не пошла. Наотрез отказалась выйти из камеры к мужу и сыну. Тщетно уламывала ее изумленная начальница отряда — у нее была уже другая, лагерная любовь! Ее Сашка, слушавшая это все из соседней камеры, могла быть довольна...

Конечно, не все в уголовных лагерях идут на такую любовь. Даже не берусь утверждать, что большинство. Но самая частая тема в ШИЗО-ПКТ — об этом. Все это обрастает целым клубком интриг, вранья, ссор и примирений. Бывает, сидят в разных камерах — и день-деньской выясняют отношения, и все через ту самую трубу, к которой ты прижимаешься иззябшим телом. За пятнадцать суток десять раз помиряются и столько же поругаются. Иногда кажется, что основа — даже не эта их любовь, а физиологическая потребность иметь в лагере полный букет эмоций: и ненависть, и зависть, и желание по-женски нравиться, и азартную дрожь риска. Вырабатывает ее печенка сколько-то желчи в сутки — значит, надо с кем-то поругаться или подраться. Хочется ей поплакать — значит, надо помириться или спеть жалобную песню. Примитивно? Но послу-

шали бы вы эти бесконечные, как два тюремных дня одна на другую похожие сцены! Можно было заранее предсказать, кто с кем к отбою будет объясняться в любви, а кто — поливать друг друга монотонным матом — чтоб объясниться в любви наутро... А все вместе оставляло ощущение рвущейся в крик жалости — несчастные, несчастные! До чего же вас довели?! Хорошо, вы не умеете владеть собой, не знали настоящей любви, вся лагерная мука переходит у вас в агрессивность, а культура для вас — отвлеченное понятие. Но вы ли одни в этом виноваты? И виноваты ли вообще? Или все-таки виновны те, кто держит вас сейчас в свинской грязи, натравливает друг на друга, издевается просто от нечего делать — чтоб знали руку?! И труд превращается для вас в ненавистную каторгу, лучше которой — искусственные переломы и сахарный туберкулез! Они хотят вас перевоспитать? Сделать из вас полноценных людей? Как бы не так! Им просто нужны рабы — жалкие, бесправные и всегда во всем виноватые.

А когда вы, с отметкой о судимости в паспорте, выйдете «на свободу» с исковерканной душой — к вам явится участковый милиционер осуществлять над вами надзор. И будет он над вами царь и бог — ему запросто устроить вам статью по хулиганству, например, и упечь обратно в лагерь. Скажите спасибо, если он потребует от вас только денег. А то ведь может потребовать и такого, что вся лагерная любовь покажется вам верхом целомудрия!

И когда все-таки хоть некоторые из вас (и многие!) сохраняют в этой дикой реальности человечность и доброту — остается поражаться тихой стойкости женской, иногда даже не осознающей себя, но живой души.

Потом, летом 86-го, у меня будет возможность поговорить на вольные темы с начальницей отряда этого же лагеря (устроит мне КГБ такую «случайную» встречу). И когда я заговорю с ней о лагерных жестокостях, к которым и она причастна, она вскинет на меня непонимающие глаза:

— Вы их просто плохо знаете! Это же не люди, а животные! С ними по-хорошему нельзя. И я, зная вас, мои соседки по ШИЗО, в ваших слезах и радостях, отчаянно-тоскливой вашей брани и диковатых песнях, и в нежданной вашей жалостливости, — ей не поверю, что вы — не люди. Только посмотрю с сомнением на нее: а ты-то сама человек ли, голубушка? Или только кадавр? Есть ведь в фольклорах всех народов этикие тела без души, прикидывающиеся людьми. И всегда, по легендам, они агрессивны и ни на что, кроме зла, не способны...

Но вовсе не похожа будет на кадавра эта молоденькая, русоволосая выпускница юридического факультета. И глядя в ее прозрачные чистые глаза, я еще раз пойму, как мало мы, человеческие существа, знаем друг о друге.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

Отбыла я свои первые двенадцать суток — а как целая вечность. Все у нас за это время было: и бесконечная война за измерение температуры в камере, и холодные бессонные ночи, и озябшие мышцы лезли нам в рукава и под юбки — погреться, и разговоры с соседями... Ерунда, что отекаем — глаза по утрам пальцами разлепляешь, ерунда, что озноб и голод, — я еще молодая, и нигде мне не тошно, если я могу узнать что-то новое! Со всем зэковским старанием припрятан у меня клочок бумаги с записями по нашим тайным измерениям температуры. Вычерчена аккуратная табличка, и можно сравнить: реальная температура двенадцать градусов, официальная — двадцать шесть. Как так? А очень просто. Когда добились мы спиртового термометра вместо стрелочного — он тоже показал двенадцать градусов. Но опытная дежурнячка взяла его в руки, как малое дитя:

— Где же двенадцать градусов, женщины?  
Ну-кась, погодите, разгляжу!  
Мало ей было подогреть спиртовой столбик  
руками — она еще и подышала на шкалу, чтоб лучше  
видеть.

— Вот видите, двадцать шесть!  
Так и записала — двадцать шесть, мы еще  
удивились, что до тридцати шести не догнала.  
Теперь же у меня драгоценные объективные данные:  
температура ночью — девять-одиннадцать. Это вам  
уже не личное восприятие голодного человека,  
в наш век убедительнее цифры. Температура в бане?  
Пожалуйста, те же одиннадцать. Ну и так далее.  
Прокурора эти цифры, пожалуй, не впечатлят, но мы  
ведь не для него стараемся. Наш крошечный термо-  
метр (разбившийся в конце концов) вранья не слы-  
шал и не понимал, запугать его было невозможно;  
нет, недаром он сидел с нами в ШИЗО, где и сложил  
свою геройскую голову... простите — пузырек спир-  
та! День за днем, четыре раза в сутки, выводил он  
на чистую воду наших палачей, и сам не соображал,  
что самым этим фактом он осуществляет «подрыв  
и ослабление советской власти». Не зря нам на эту  
табличку прислали из прокуратуры ответ: «антисовет-  
ская клевета». Они так называли все, что им не нра-  
вилось.

Теперь я прощаюсь с Таней — ей еще оста-  
лось трое суток. Ох, не хочется мне оставлять ее одну.  
Вдвоем все же теплее; знаете ли вы, что у человека  
пятьдесят процентов энергии расходуется на тепло-  
вое излучение?

И еду красным зэковским вагоном домой,  
в зону. Вокруг галдит этап — самое важное  
преимущество «гастролей» в ШИЗО. Если бы мне  
на каком-то этапе не удалось передать для «тене-  
вых адресатов» стихи и информацию, я бы решила,  
что зэки не зэки и конвой не конвой. Или уж у меня  
что-то с головой не в порядке... Был потом случай,  
когда парнишка-конвоир, которого я приглядела,  
отказался:

— Не положено!

Он это «не положено» еле шепнул — стриженный такой мальчишка, с открытым юношеским лицом. И я искренне изумилась:

— Ну, погибла Россия!

Отошел как ошпаренный в другой угол вагона и через полчаса вернулся и молча протянул руку. Я так же молча сунула ему наспех подписанный конверт, и мы еле-еле, одними глазами, улыбнулись друг другу. Нет, этап — это Божий подарок!

— Ага, — соображает кагебешник, составляющий реферат по моей книге для представления высшему начальству. — Значит, надо их не общими вагонами возить, а машинами, спецэтапом.

Соображай-соображай, мамин умник: спецэтапом-то нас везут тоже люди! Роботов на такое еще не придумали!

— Значит, не простых солдат надо, а своих, проверенных — к вам в конвой! — упорствует взмокший сотрудник государственной безопасности.

Да не напасетесь вы на всех своих и проверенных! Вон уже ваши, проверенные, за границу уходят и там читают лекции о вашей работе, попросив предварительно политического убежища! Пусть, конечно, это пока единицы, но со свежим подозрением осматриваете вы свои ряды — кто знает, что у кого на уме.

А главное — с каждым новым поколением нас, незапуганных, все больше, и здесь ваша погибель! Сколько лет вы уповали на один только страх... «Слишком оптимистично», — подумает мой подпольный советский читатель, издавший виды. Может быть. Не знаю. Мне всегда казалось, однако, что оптимизм — дешевый суррогат веры, и никакой склонности к нему я не ощущаю. Вера — другое дело. Так прости, мой читатель, что я верю в тебя больше, чем ты сам!

Зато ты, наверное, не удивляешься тому, что, выходя из вагона в Барашеве, я увидела Наташу — ее взяли на этап. И как я не без оснований предполагала — в ШИЗО. На четырнадцать суток. На полную мощность раскрутилась уже «мясорубка-83»: прижать непокорную зону, чтобы пикнуть не смели! И тут уж не было запрещенных приемов: полуживая? Тем лучше! Теперь эта мясорубка органически переходит к цифре 84: Наташе встречать в ШИЗО Новый год. Все это я узнаю уже в зоне, а заодно знакомлюсь с новым человеком — Олей Матусевич.

Приехала она к нам вовсе не «со свободы», а после трех лет одесского лагеря. Первый срок она получила за членство в украинской Хельсинкской группе — никого из членов этой группы украинский КГБ на свободе не оставлял. Но вот отсидела свою «трешку», и командуют ей:

— Матусевич! На выход!

Она уже попрощалась с союзницами, выслушала все напутствия и поручения, раздала одежонку и прочие зэковские ценности тем, что остаются. И выходит на вахту, а с вахты — на одесскую весеннюю улицу... На свободу? Как бы не так!

Она и двух шагов не успела пройти по этой самой свободе — уже ждала ее кагэбешная машина и тренированные мордастые хлопцы. Забрали и увезли в тюрьму КГБ. Что должен чувствовать человек, три года считавший дни до даты освобождения, снова трясясь в зарешеченной машине? Оля говорит, что не успела поверить в освобождение, и потому ей было легче. Мы, однако, представляем себе это «легче». Дали Оле еще три года, на этот раз строгого режима, а у нее — пожилые родители, которые все болеют и так надеялись успеть обнять дочку! А теперь — успеют ли? Мама все-таки успела, папа — нет... Тем временем начинается голодовка в защиту Наташи, ее здоровье действительно в угрожающем состоянии. На этот раз в голодовку идут не все: вернувшаяся из ШИЗО Таня, Оля и я. Остальным этого просто физически не потянуть, и они, продол-

жая забастовку за Эдитино свидание, добавляю к ней еще одно требование: освобождение Лазаревой из ШИЗО и немедленное лечение. Пишут заявления, что морально поддерживают голодающих, и начинают поддерживать уже и буквально. Для Оли — это первая голодовка, она держится молодцом, а мы с Таней с трудом таскаем ноги. Таня привезла из ШИЗО хрипы в легких и температуру за тридцать восемь. Я тоже хороша. Но я еще не знаю, что всего два дня мне дадут пробыть в зоне, а потом снова отправят в ШИЗО. На двенадцать суток — «за невыход на работу без уважительных причин». Слова «забастовка» они боятся как огня и в своих официальных документах его не пишут.

Ох, как трудно, оказывается, в голодовке влезать на высокую подножку эковского вагона! Солдат-конвоир подсаживает меня и закидывает наверх мой мешок. Впрочем, эта «гастроль» меня даже успокаивает: невысказанно было подумать, как Наташа будет лежать одна, больная, на грязном камерном полу. Чем я смогу ей помочь? Пока не знаю — но хотя бы просто быть рядом. Кроме того, может быть, удастся протащить на себе что-то теплое и надеть на Наташу. В общем, посмотрим: вдвоем всегда легче воевать, а воевать придется — и за врача, и за температуру в камере. И издевательств меньше, если есть свидетель — недаром Наташу отлупили, когда она была одна, — в зоне-то ее хоть не били. Приезжаю и получаю для начала: Наташа, оказывается, уже успела объявить голодовку до тех пор, пока ее не положат в больницу. Ох, сумасшедшая! В чем душа держится — а туда же! Господи, хорошо хоть с 26 декабря, а не с самого первого дня! Была бы с ней Таня — сумела бы отговорить, а теперь уже поздно — голодовка объявлена. А с другой стороны, логика Наташи тоже ясна: добиваться лечения надо теперь или никогда. Пока переписка с прокуратурой да медуправлением — полгода уже прошло. Еще через полгода, может, и лечить-то будет некого.

Да и что теперь обсуждать после свершившегося факта. Надо выжить. Пока меня не было, Наташу смотрел врач, диагностировал сердечную недостаточность и с тех пор пропал, как в воду... Так Наташа и лежит: днем на полу, ночью на нарах. Лечения нет как нет, а так ли уж отличается паек ШИЗО от полной голодовки? Нет, Наташу можно понять. Выйдет она из этого смертного пике только с победой. Нет — так что ей терять?

В ночь с 27-го на 28-е у Наташи два сердечных приступа, один за другим. Она задыхается и хрипит. Стучу пустой кружкой в дверь, подымаю тарарам на весь ШИЗО.

- Врача! Немедленно врача!
- Утром, утром врач придет!
- А надо сейчас!
- Сейчас никого нет.
- А если она умрет до утра?
- Умрет — спишем.

И ничего, ничего я не могу — только держать у себя на коленях Наташину голову да молиться: Господи, чтоб не умерла! Стоит ли говорить, что утром врач не пришел, мало того — нам прямо отказали в лечении Наташи. «Здесь вам не курорт!» С тех пор к нам в камеру вообще не заходили, даже с обыском. Только смотрели сквозь дверную решетку, живы ли. И каждый раз, когда смотрели, магическое слово «врача!» сметало их прочь от нашей камеры.

В ту голодовку я еще раз убедилась, насколько мы мало знаем о своих возможностях. Вот я лежу на полу, и к моей обессиленной руке медленно, сложными кривыми, подползает мокрица. Не нашла другого места для прогулки! Надо бы ее отогнать, но я с тупой отчетливостью понимаю, что на такой расход энергии меня не хватит. Еле шевелю пальцем, но это не слишком пугает нахальное насекомое. И вдруг от отопительной трубы — стон, Наташа проснулась. У нее в холоде обострилось старое воспаление придатков, и теперь ее корчит от боли. И — не знаю, какой силой — я уже рядом с ней, и обнимаю, и что-то шеп-

чу, и пытаюсь перекачать в нее свою жизненную энергию. Сейчас мне кажется, что ее так много! Надо было бы вынести Наташу из камеры на руках — вынесла бы, уверена. За счет чего? Не знаю. Странные вещи происходят, когда человеку не на что рассчитывать, кроме Божьей помощи.

Но не все время Наташа в таком состоянии, бывают и часы, когда боль утихает и сердце тикает хоть слабенько, а без перебоев. Тогда мы занимаемся разработкой юмористического проекта — парижский отель «Пятнадцать суток». Хотите познакомиться с аспектами советской жизни? Пожалуйста!

Тут вам и экзотика, и расширение кругозора, и желающие похудеть станут изящными за неделю безо всяких врачей! Открываем отель, все чин чинком: камеры, нары, баланда и пайка хлеба. Надзирателей придется из Мордовии выписать, французы так не сумеют. Баландеров — тоже. Дороговато получится, но отель-то шикарный, без подделок. Вам сколько суток угодно? Десять? Ну это вы по неопытности — возьмите-ка сначала номерок на четыре! А там посмотрите. Тут и развлечения есть, и конкурсы: ухитритесь передать записку в соседнюю камеру — премия, сумеете юридически грамотно добиться отправки заявления прокурору — премия, протащите через обыск свитерок — еще премия! Развивайте инициативу...

Какие премии? Да не денежные, конечно, это было бы примитивно и не давало бы ощущения полноты жизни. А например — махровое полотенце: подмотать под казенный балахон. Или шерстяные носки. Или — высший приз! — на сутки телогрейка...

И какими бы счастливыми выходили из такого отеля парижские клиенты! Какой мелочью казались бы им их нормальные житейские затруднения! Какой вкусной — обычная еда, каким свежим и ароматным парижский воздух! Возвратясь к семьям, они забыли бы о ссорах, и каждый встречный, с которым можно свободно поговорить, был бы им интересен и заслуживал их симпатии!

А будут рецидивы — пожалуйста, обратно! Отель «Пятнадцать суток» работает непрерывно, в любое время суток защелкиваются замки на камерах... И не волнуйтесь, отель все-таки в цивилизованной стране: кто запросится домой досрочно — так и быть, отпустят.

Уж какой лексикон приобрели бы бедные французы в этом отеле — другой вопрос. Наши дежурнячки при нас браниться не смеют, а с уголовницами переругиваются на равных:

— Ах, ты, такая, такая и такая!

— От такой слышу, туды тебя растуды!

Так длится подолгу, и все гулкие камеры ШИЗО и ПКТ внимают этому захватывающему диалогу. Да простит мне покойный Пастернак, но мне всегда вспоминалась при этом его строка: «Двух соловьев поединок». Заканчивался этот поединок обыкновенно так: дежурнячка, исчерпав весь свой запас бранных слов и не желая проигрывать, вдруг вспоминала о своем высоком служебном чине. И потому последним ее аргументом было:

— Заткнись, а то рапорт на тебя напишу!

Потом, походив по коридору и осознав, что она еще не все сказала, ответственная персона подходила к той же камере... и диалог начинался снова. Мы представляем эту беседу на смеси русского и французского языков — но сил хохотать у нас определенно не хватает.

А Новый год мы все-таки праздновали. Не сдали обратно после умывания коробку зубного порошка. И на черной металлической обшивке печи изобразили елочку в натуральную величину. Я — верхушку и среднюю часть, а Наташа, лежа (встать она уже не могла) — елочную ножку. Вернее, не одну ножку, а две: в эковских ботинках «что ты — что ты!». Разведенный водой зубной порошок прекрасно мазался, и картинка получилась развеселая. А мы, лежа на полу — Наташа на шестые сутки голодовки, я на одиннадцатые, — радовались ей как дети.

## ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ

А к вечеру 31 декабря внезапно разогрелись отопительные трубы: вероятно, кочегары, пользуясь безназорностью, решили побаловать зэков. Охрана затихла — сами праздновали, и им было не до нас. Мы лежали, прижимаясь к этим трубам, — и живое тепло впервые за все эти дни прогревало нам кровь. Камеру, конечно, обогреть было невозможно — все выдувал в щели морозный ветер. Но хотя бы опять начали слушаться онемевшие пальцы, и один бок был согрет... Мы повеселели, а тут еще в соседних камерах начались песни.

— Седьмая! Политические! С Новым годом, девочки! Эту песню мы поем для вас!

59

И запели почему-то Окуджаву<sup>59</sup>. Собственно, и удивляться тут нечему, репертуар женских лагерей широк и многогранен. От старых народных песен вперемежку с дешевой эстрадой — до самых похабных «блатных». Почему бы не войти в этот репертуар и непризнанным официально бардам, на чьей музыке, однако, выросло наше поколение.

Надежда, я вернусь тогда,  
когда трубач отбой сыграет,  
когда трубу к губам приблизит  
и острый локоть отведет.  
Надежда, я останусь цел:  
не для меня земля сырая,  
а для меня — твои тревоги  
и добрый мир твоих забот...

Мы им песен петь не могли ввиду моей музыкальной бездарности. Что ж, я читала им стихи. В кружку, через трубу. А пока хватало голоса, вначале просто кричала у двери, тоже было слышно во всех камерах. Я уже выдыхалась, а они просили еще и еще — и снова у меня брались силы неиз-

<sup>59</sup> Окуджава Булат (1924—1997) — советский и российский поэт-бард, один из самых ярких представителей жанра русской авторской песни.

вестно откуда. Про Рождество, про волчью охоту, про мальчишку, который просит тюрьму дать ему кличку... Про веселых сказочных драконов — они никак не обжоры, просто у них чешутся зубы... И не надо было мне никакого другого признания, да и нет признания выше — дать измученным людям под Новый год хоть десять минут радости!

2 ноября у Наташи кончился срок ШИЗО, и ее вынесли из камеры, идти она уже не могла.

Приступили ко мне:

- Снимайте голодовку!
- Я требовала не только выпустить Лазареву из ШИЗО, но и уложить ее в больницу.
- Ее туда повезли!
- Я вам не верю.
- Почему это?
- Потому хотя бы, что ее полуживую продержали в ШИЗО до последнего дня. Я раз сто вызывала для нее врача, и врача этого мы не видели. Кроме того, все вы все время врете, и я не могу верить вам на слово.
- Чего же вы хотите?
- Увидеть Лазареву в больнице своими глазами.
- Но вам еще два дня ШИЗО!
- Так буду голодать.

Двух этих последних суток я напрочь не помню. Кажется, я их сплошь проспала. На меня навалилась страшная усталость всего последнего месяца — а тут я была одна в камере, и никто меня не будил. Помню, что выволакивала с утра парашу вдвоем с дневальной — перепуганной уголовницей, которой запретили со мной говорить. Ее прикрепили для этой цели к нашей камере, когда Наташа уже не вставала. После такой разминки я валилась на пол поближе к отопительной трубе — вдруг пустят теплую воду? И уходила из камеры туда — не знаю куда. Там было светло и хорошая музыка, она наплывала волнами и затягивала все глубже и глубже. Потом оказывался какой-то черный туннель, и в конце него меня ждали. Но каждый раз, долетая до конца, я понимала, что на-

до вернуться назад. Ох, как не хотелось! Но туда мне было еще не пора. И потом, как же Игорь? И я возвращалась.

4 января, когда меня вели обратно в зону, я увидела Наташу — она махала мне из больничного окна. В зоне я узнала, что Оля голодовку сняла на четвертый день — ее заверила Подуст, будто у нас в камере ШИЗО температура восемнадцать градусов. Что ж, Оля в зоне была новым человеком, и чего стоят слова Подуст — ей еще предстояло убедиться лично. Но 29 декабря пошла в голодовку пани Ядвига. Теперь мы втроем — с ней и Таней — пошли праздновать победу: Наташа в больнице!

Забастовка наша продолжалась. Оля в ней участия решила не принимать и стала дневальной. Как мы и предполагали, отмененную было ставку дневальной моментально восстановили — ее и отменили только из-за Эдиты. Для зоны это было хорошо — убирать-то все равно нужно, не будем же мы всю забастовку жить в грязи! А нам физической нагрузки и по ШИЗО хватит.

Раечку прямо из больницы еще в декабре увезли в киевскую тюрьму КГБ, на «перевоспитание». Наташа была в больнице. Итого — репрессии за забастовку валяются на головы оставшихся. Что ж, мы были к этому готовы.

В начале января пришел в зону радостный Шалин с известием — в Уголовный кодекс введена новая статья, 188-3. По ней злостным нарушителям режима может быть добавлен новый срок — до пяти лет. Практически это давало КГБ возможность пожизненного заключения — оформить «злостным нарушителем» можно кого угодно: посадить раньше в ПКТ, потом в ШИЗО, и все. Для статьи достаточно. Добавить к сроку несколько лет, а потом, прогнав еще разок через ПКТ, — еще несколько. И так пока не умрет. Было отчего радоваться нашей администрации. По их расчетам, теперь-то мы должны были снять забастовку — тоже злостное нарушение режима. Для начала взялись за Таню.

- Очень жаль будет, Осипова, если вы освободитесь не в 85-м, а в 90-м году!
- Интересная логика у администрации, — отрезала Таня, — вы будете нарушать закон, а мы не можем протестовать, потому что в кодексе есть 188-3 статья! Верните свидание Эдите — снимем забастовку!
- Нет, почему же, — возразил Шалин, — Абрутене наказали правильно, заключенные и в голодовке обязаны работать, а если их изолируют — то там им предоставляют работу. А если забыли — почему она сама не попросила?

Опять пошло вранье. Знал он и про то, что никакой работы в боксиках больнички нет и быть не может, и про медицинское освобождение от работы, и что голодающий человек работать все равно не способен. Но уже научился не краснеть наш Шалин, а нам с ним обсуждать было больше нечего. Когда пошло вранье, надо поскорей кончать разговор — хотя бы потому, что противно. Забастовку мы, конечно, не сняли.

9 января поехали в ШИЗО Эдита и Галя — каждая на десять суток. Вернулись обе с ангиной, а у Гали, кроме того, распухли все суставы (у нее был ревматический артрит). Каждое движение теперь причиняло ей боль. Эдита рассказала, как она лепила из клейкого карцерного хлеба цветы, фигурки, цепочки. Хлеб им приносили совершенно непропеченный, и есть его они побаивались — объедали только корки. Казалось бы, ничего удивительного нет, что все эти цветы и цепочки у нее отобрали и поломали, — происходили с нами вещи и пострашнее. Но вот никогда не знает человек, на чем сорвется, и Эдита долго горевала об этих цветах: они-то чем были виноваты?

Появилась новая фигура — подполковник КГБ Артемьев Павел Поликарпович. Он начал с того, что нас, не говоря куда ведут, поочередно выводили из зоны к нему в кабинет. Прежнего начальника КГБ

Управления ЖХ-385 сняли, а дебютант взял весьма резвый аллюр. Вежливо разговаривать он органически не был способен; если начало фразы было нормальным, то под конец он обязательно вворачивал какую-нибудь гадость. Не про тебя — так про твоих союзниц. Галя, пани Ядвига, Таня и я отказались с ним говорить вообще. Пани Лида заявила, что готова беседовать только на религиозные темы. Остальные высказали ряд претензий в адрес администрации, но это не смутило бравого подполковника: жаловаться КГБ на тюремщиков — все равно что жаловаться правой руке на левую.

— Я со следствия знала эту гебушную манеру:  
— Ну говорите со мной хоть о чем-нибудь!

И знала, что в подтексте шло: «А уж мы вывернем беседу в нужное нам русло, и пару раз вы невольно проговоритесь, пару раз выслушаете пакости про ваших друзей и близких — а там и пошантажировать вас можно будет!» Поэтому я предпочитала молчать: говорить мне с ними было, в общем, не о чем, говорить с хамом — вовсе невозможно, а своему недолгому зэковскому опыту я еще не настолько доверяла, чтобы быть уверенной в том, что никого случайно не выдам. Нет, словами-то это было невозможно, но ведь есть произвольные движения, есть глаза, из которых сплошь и рядом опытному инквизитору видна первая реакция на неожиданно заданный вопрос. Возможно, я в ту пору недооценивала свои способности и переоценивала — их. Но об этом своем молчании никак не жалею — всегда лучше ошибиться в эту сторону, чем наоборот. А бедняга Артемьев из кожи лез, уж не знал, чем зацепить. Вычитав из моего досье о крайней моей брезгливости ко всем видам и оттенкам национальной вражды, он распахивал на себе пиджак:

— Я сын мордовского народа, представитель национального меньшинства! Не желая со мной говорить, вы в моем лице оскорбляете всю Мордовию!

Но не была для меня Мордовия представлена в его лице. Скорее уж в широкоскулом лице бабы-надзирательницы, что ночью пропихивала в нашу с Таней камеру ШИЗО кусок хлеба, а то и пару карамелек. А потом, во второй приход, жалобно уговаривала:

— Девочки! Не голодуйте, смотреть на вас сил нет!

И совала нам в кормушку хлеб.

— Ешьте, ешьте, я никому не скажу!

Конечно, голодали мы честно и того хлеба не брали. Но пихала-то она его от доброго сердца. Понятие о честности, даст Бог, появится у нее позже.

Так и промаялся Артемьев три года, не получив ни одного ответа ни от Гали, ни от Тани, ни от меня. Под конец он, впрочем, допрыгался со своим хамством до того, что ни с ним, ни с его подручным Ершовым вообще никто из зоны не хотел общаться.

В конце января в зону впервые за несколько лет заявился прокурор ЖХ-385 Ганичев — разбираться с нашей забастовкой. Как и вся прочая публика, он тоже врал и путался. То у него получалось, что голодовок в Советском Союзе вообще не существует, то, что голодающие «должны выполнять норму на сто процентов, ходить строем и не афишировать, что голодают». Какое отношение голодовки имеют к Эдитиному свиданию, он не очень понимал, и от этого путался и злился еще больше. Толку от него, конечно, быть не могло — его визит только показывал, что наша забастовка переполошила лагерное управление и что следующим поворотом бюрократической машины дело дойдет до Москвы.

Эдита тем временем написала второе заявление в суд на Подуст — она не собиралась мириться с пропажей первого. О, бессмертная фраза старинных романов «Каково же было наше удивление!», даже тебя я тут не могу применить — мы не были удивлены, узнав, что второе заявление конфисковано цензурой за допущенную в нем нецензурную брань. Однако любопытствовались, какую

такую брань допустила Эдита. Нецензурным оказалось единственное слово «проститутка», которым Подуст при нас обозвала Эдиту и которое та процитировала. А как же — не повторый слов, которыми тебя называет «гражданка начальница», в заявлениях! Подумаешь, оскорбление личности! Да если бы каждый зэк в суд подавал, когда начальство его облает или оклеветает, — пришлось бы все начальство пересажать! Вот уж действительно политички, делать им нечего... Попробуйте, читатель, мысленно встать на сторону нашей лагерной администрации — и вы поймете, почему я все время называю их беднягами. Они были между двух огней: мы не собирались сдавать позиции, а с другой стороны их жал КГБ. Ясно, что они кругом оказывались виноватыми! От Подуста сам наш начальник лагеря не чаял как избавиться, ее дружно ненавидела вся барашевская охрана — и она же была у них парторгом! Они-то не имели нашей зэковской свободы отказаться от общения с ней...

И начальник конвоя, везя нас с Таней в очередное ШИЗО (на этот раз Тане — тринадцать, а мне — пятнадцать), всю дорогу простоял у нашей решетки, любопытствуя, как там наши дела с Подустом. И расцветал на глазах, впитывая детали: как мы ее не видим и не слышим и как она тоскует между заборами, не решаясь войти в зону со своим уязвленным властолюбием. Ей-богу, он нам тогда завидовал!

На это ШИЗО нам подготовили программу развлечений. Когда на седьмой день мы дошли от голода до положенной кондиции, нас навел заместитель прокурора Осипов. Просто так — поинтересоваться, как мы себя чувствуем. Самочувствие свое мы обсуждать с ним не стали, предложили лучше прислать нам врача. Но вот обсудить нарушение законности — это мы готовы.

- По закону вы не имеете права говорить о других — только о себе!
- А как же Конституция?! — не выдержала Таня.

- Никаких конституций! — изрек блюститель закона Осипов, и Таня решила на этой знаменательной фразе беседу прекратить. Мы еще не знали, что накануне Осипов был в нашей зоне и устроил пани Ядвиге форменную истерику, когда она заговорила о злополучном свидании.
- Не слушаю! Не слушаю! Не слушаю! — завизжал здоровенный мужик на спокойную пани Ядвигу.
- И конечно, на следующий же день пани Ядвига с Эдитой оказались в одной камере с нами — на десять и пятнадцать суток. Тем вечером нам удалось стребовать термометр в камеру, и он показал восемь градусов.

## ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Однако что-то засуетилось местное начальство, и прямо в ШИЗО к нам приехал еще один сотрудник КГБ Тюрин. Предоставив ему повзывать к нам в форме монолога, мы с Таней на этот раз сделали исключение и заявили, что готовы обсудить с КГБ один-единственный вопрос. Ого, как он вскинулся!

- Какой же?
- Вчера в ШИЗО посадили Ядвигу Беляускене. Она инвалид, пожилая женщина. Если вам так уж необходимо кого-то мучить — давайте мы отсидим, кроме своих, ее сутки в ШИЗО. А ее отпустите. Хотите — напишем заявление прямо на адрес КГБ?
- Это вне моей компетенции. КГБ не занимается вопросами ШИЗО.
- Поэтому вы сидите сейчас здесь, в этом здании? Тогда нам не о чем говорить.
- И сколько ни пытался Тюрин — диалога у него с нами не вышло. Однако мы возвращались в камеру с четким ощущением: в нашей забастовке и заварухе

вокруг этого произошел какой-то перелом. Видимо, огласка слишком велика, и надо им решать, что с нами делать. Если не уступим мы — придется уступить им. Мы видели уже их неуверенность и по делано грозному тону, и по тому, что угрозы стали повторяться — кроме пожизненного заключения да того, что сгноят в ШИЗО, пугать нас было нечем. Ну еще чуть-чуть дожать — и сдадутся наши палачи!

А теперь, пока мы сидим вчетвером в ШИЗО и пани Ядвига рассказывает нам грустную историю литовского князя Ягайлы, оставшиеся в зоне пишут заявления — с тем же текстом, что мы выдали Тюрину. Или пусть пани Ядвигу вернут в зону (они готовы отсидеть за нее), или они объявляют голодовку. Кто на сколько может — сил-то у всех осталось немного. Галя и пани Лида однодневную. Наташа — трехдневную, Оля — до возвращения пани Ядвиги. Наша почти одинаковая реакция уже вряд ли кого-то удивила: таков был дух нашей зоны, и странно было бы ожидать другого. Наташа вышла из больницы только накануне этой истории, на этот раз — с пятью диагнозами и назначенным лечением. Галя имела свое горе — еще в ноябре ее мужа перевезли из пермского лагеря неизвестно куда. Сообщили об этом в письме друзья, но в таких осторожных выражениях (чтоб прошло цензуру), что Галя испугалась, жив ли Василий вообще. Общими усилиями расшифровали сложную систему обиняков — получалось, что жив, но непонятно где. Больше месяца Галя вела переписку со всеми инстанциями, выясняя, куда дели ее мужа. За этот месяц у нее удвоилась седина. Наконец пришел ответ, что взяли его на новое следствие. Нельзя сказать чтоб это обнадежило или успокоило.

Оля все переживала за родителей — добавленный ей второй срок был прежде всего ударом по ним. Не давал ей покоя и ее нагрудный знак. Приехав в нашу зону, она решила его носить, как носила предыдущие три года. Мы, прояснив ей свою позицию, в дальнейшем не вмешивались — пусть сама решает. Вот ведь носит же пани Лида, и никак

ей это не осложняет жизнь. Но Оля так не могла. Снова и снова она затевала дискуссии на эту тему, искала доказательств либо нашей, либо своей правоты. И тут уж мы ничем не могли ей помочь — такие вещи человек должен решать за себя сам, и только сделанный по внутреннему убеждению поступок придает человеку стойкость. Отказалась Оля от нагрудного знака позже, почти одновременно с пани Лидой — когда обе самостоятельно решили, что это будет правильно. А пока, имея свои горести и сложности, все эти измученные женщины поднялись на защиту пани Ядвиги. Это, наверное, единственный способ быть человеком в лагере — принимать чужую боль ближе к сердцу, чем свою. Такие вещи ни для кого из нас не были героизмом, уж скорее актом самосохранения. Потеряв эту способность, человек терял все, и нам очень скоро предстояло в этом убедиться.

А тем временем мы вчетвером грелись друг о друга, таскали полотенца из своих вещей и подмывали одна другую, слушали краткий курс истории Литвы, а иногда просто дурачились и веселились. Однажды вечером заявила дежурнячка:

— Женщины, в баню!

Завела нас, проследила, пока разденемся, виртуозно «не заметила» всего нашего незаконного утепления и тихонько сказала:

— Слыхали? Андропов-то помер!

И загромыхала замком, запирая дверь.

Тут-то на нас и нашло: пани Ядвига, в чем была, пустилась в пляс, мы плескались водой и кто во что горазд радовались событию. Теперь, вспоминая тот вечер, ничего греховного в нашей радости я, как и тогда, не нахожу. Андропов, возглавлявший ранее советский КГБ, лично руководивший подавлением Венгрии в 56-м году, а потом дорвавшийся до высшей власти в государстве, — был, безусловно, самой мрачной фигурой после Сталина. И облавы в магазинах и кинотеатрах, и участвовавшие аресты, и окончательно осатаневшие, как с цепи спущенные гебисты — все это была андроповщина, и вот теперь она кончилась!

С Андроповым теперь пусть разбирается Господь, а над людьми он достаточно уже потешился — и не пить ему больше ничьей крови: ни венгерской, ни русской, ни литовской. Нет, мы не строили иллюзий насчет будущего, неизвестного нам пока главы государства; когда народу объявят, кто следующий, — следующий тоже окажется никак не безгрешным младенцем, а старым коммунистом. Но кто бы он ни был — такого экземпляра, как Андропов, просто второго не найдут. Вряд ли у кого-нибудь из нашего кремлевского «дома престарелых» окажется такая буйная личная инициатива. Пока мы окатывали друг друга из шаек водой и наперебой вспоминали анекдоты про Андропова — целую фольклорную серию, — этапом ехала к нам в зону эстонка Лагле Парек<sup>60</sup>, последняя из «андроповского набора». Ее в тот вечер разбудило дружное «ура» всего «столыпина».

Зэки в восторге качали вагон, конвойные скалились (для них андроповская смерть тоже была отнюдь не потерей), и все приставали к Лагле:

— Ты политическая, ты-то должна знать, кто следующий!

Кто следующий, Лагле, разумеется, не знала. Откуда ж ей было угадать, кого вытолкнет наружу тихое, но яростное пихание локтями кремлевских «вождей»? Они и сами вряд ли это знали до последнего момента. А назавтра уже в очередях, в переполненных автобусах, в коммунальных конурах переходил от одного к другому новый анекдот:

«В феврале 1984 года, после долгой и продолжительной болезни, в возрасте 72 лет, не приходя в сознание, советское государство возглавил Константин Устинович Черненко<sup>61</sup>!»

<sup>60</sup> Лагле Парек (1941) — эстонский общественный и государственный деятель. В советское время — участница диссидентского движения, политзаключенная. С 1983 по 1987 г. находилась в колонии строгого режима ЖХ-385 в Мордовской АССР, в так называемой «Малой зоне» для женщин, осужденных по политическим статьям. В независимой Эстонии — министр внутренних дел (1992—1993).

<sup>61</sup> Черненко Константин Устинович (1911—1985) — советский партийный и политический деятель, Генеральный секретарь ЦК КПСС (1984—1985).

Вернувшись из ШИЗО, мы с Таней тоже подключились к голодовке в защиту пани Ядвиги. Уж не знаю, подействовали ли наши протесты, или администрация хотела уменьшить количество бастующих, но только в тот же февраль медицинская комиссия признала пани Ядвигу и пани Лиду инвалидами второй группы, а Наташу — третьей. Фактически это означало, что обе наши пани работать теперь не обязаны — лагерь не мог обеспечить работой инвалидов второй группы, и Василий Петрович, ликуя, вычеркнул их обеих из списка. Мы вздохнули с облегчением — теперь хоть пожилых за забастовку не будут таскать по карцерам. А Наташе, когда забастовка кончится, все же будет полегче на сниженной норме.

Приехала Лагле — веселая светловолосая женщина, со сроком шесть плюс пять. Она и ее друзья издавали в Эстонии самиздатский журнал — вполне достаточно для такого срока. Ее неунывающий характер пришелся впору нашей зоне, а спокойная и твердая позиция — ох как не по вкусу КГБ. Этап этот для нее был не первый. За плечами у нее была «эстонская ссылка». После войны эстонцев тысячами грузили в товарные вагоны и отправляли в Сибирь. Маленький мужественный народ, имевший опыт демократического самоуправления, ни на что другое при Сталине рассчитывать и не мог. Прокатилась эта расправа и через семью Лагле: отца расстреляли, мать отправили в лагерь, а бабушку с двумя внуками погрузили в эшелон. Лагле было тогда шесть лет. Они с сестрой даже не понимали, что происходит. О судьбе родителей они еще не знали, а поспешные сборы, перевернутая вверх дном квартира и перспектива путешествия — все это их скорее забавляло. И, уезжая из дома на грузовике, девочки смеялись, а мудрая бабушка не мешала детям веселиться: горя им еще хватит. Этот неожиданный ребячий смех посреди всеобщего разорения произвел такое впечатление на соседей, что они решили — старшая девочка сошла с ума! И так и сообщили вернувшейся через годы из лагеря матери Лагле. Слава богу, она не поверила.

Бабушка тем временем умудрилась довести обеих девочек до Сибири живыми, и, стоя по колено в снегу, они с другими эстонцами выслушали правительственный указ — «вечная ссылка». И навсегда запомнила Лагле улыбку бабушки:

— Они думают, что распоряжаются вечностью?

После смерти Сталина сосланная Прибалтика, хоть и не сразу, но возвращалась домой. Вернулись и Лагле, и бабушка, и старшая сестра. Позади остались русская школа, сибирские козы, которых Лагле пасла вместе с другими ребятами, холод, вши и грязь. Но до самого андроповского времени, до своего ареста, Лагле не знала ничего достоверного о судьбе отца: приговор о расстреле она увидела только на своем следствии. И раньше было ясно, что убили, но когда? За что? Объяснять эти детали осиротевшим семьям советская власть считала излишним.

Нагрудный знак Лагле не надела, но до поры до времени администрация ее не трогала — им хватало забот с нашей забастовкой. А мы теперь научились здороваться еще и по-эстонски. И если я еще когда-нибудь увижу Лагле, то скажу ей, как в лагере: «Тере!»

А она ответит: «Привет!»

И обе рассмеемся, а уже потом обнимемся.

## ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ

Вернулась из Киева Раечка. Постановления о цели и основании этапирования и перевода ее в тюрьму КГБ она так никогда и не увидела. Сотрудники КГБ Гончар и Илькив не склонны были к объяснениям — они в основном задавали вопросы. Больше всего их интересовали Оля и я, мы проходили по украинскому ведомству. От Раечки они, конечно, ничего не узнали; говорить она с ними не отказывалась, но и вынуть из нее информацию было невозможно.

«Перевоспитание» свелось к обычным кагешбешным приемам:

- И не надоело вам сидеть? Муж ваш уже не в лагере, а в ссылке — вот и ехали бы к нему, вместо того чтобы получать новый срок за антисоветскую деятельность.
- Какую такую антисоветскую деятельность?
- А вот эта ваша забастовка — как раз антисоветская деятельность и есть!

И пошло, и поехало попеременно: напоминание про новую 188-3 статью, предложение съездить вдвоем с сотрудником КГБ в театр (Рая отказалась), свидание со старенькой мамой, посулы и угрозы.

В конце концов предложили писать прошение о помиловании — «чистосердечно покаяться» и попросить пощады. Ничего им Рая не написала, и в начала марта ее привезли обратно в зону. Нам Рая, приехав, честно сказала:

- 62 — Я боюсь 188-3<sup>62</sup> статьи и из забастовки выхожу. Нагрудный знак так и не надену, а на забастовки и голодовки меня уже не хватит. Думайте обо мне, что хотите.

Конечно, ничего плохого мы о ней не подумали. Ну, устал человек, так ведь лучше сразу это признать, чем становиться в третью позицию и искать себе «уважительные причины». Раечка четко разграничила, что она может и чего не может, и никаких недоговоренностей между нами не было. Ни осведомительницей, ни «помиловщицей» она не стала, всякие обязательные для зэков ленинские субботники игнорировала так же, как и мы, но бесконечные ШИЗО и новый срок в перспективе — были уже выше ее сил. Что ж, каждый делает то, на что его хватает. Остаток срока Рая помогала нам чем только могла, хранила в памяти все стихи своего мужа, досидела

62 Ст. 188-3 УК РСФСР: «Злостное неповиновение администрации исправительно-трудового учреждения либо иное противодействие администрации в осуществлении ее функций лицом, отбывающим наказание в местах лишения свободы, если это лицо за нарушение требований режима отбывания наказания подвергалось в течение года взысканию в виде перевода в помещение камерного типа (одиночную камеру) или переводилось в тюрьму, — наказываются лишением свободы на срок до трех лет».

до марта 86-го года безо всяких компромиссов с КГБ и после девятилетней разлуки поехала в ссылку к мужу, на Горный Алтай. Мы провожали ее с добрым чувством. Сразу после приезда Раи стали давить на пани Лиду.

— Пишите прошение о помиловании!

Одновременно в латышской газете появилась про пани Лиду очередная гнусная статья; опровергать клевету не было никакой возможности — советские газеты таких опровержений не берут. Результатом этой кампании КГБ утешаться никак не мог — пани Лида отказалась от советского гражданства, и тем дело и кончилось. Да еще они достукались до того, что нагрудный знак она спорола и кинула в печку.

Тем временем подошел мой день рождения — мне исполнилось тридцать лет. Дни рождения отмечались в нашей зоне всегда с большим энтузиазмом, равно как и именины. Все начинали исподтишка что-то готовить. Имениннице знать о приготовлениях не полагалось, и потому лучше было не соваться ни в какие укромные уголки, чтоб заговорщицам не приходилось спешно что-то прятать и прикрывать. Поздравительные письма и телеграммы со свободы администрация частью воровала, частью задерживала на несколько недель. А потому единственным поздравлением в такие дни было то, что устраивали соузницы. Было отчего стараться!

Проснувшись утром, я была, по выражению Тани, «расцелована в три шеи», и хотя празднование обычно назначалось на полдень, все с самого раннего часа уже были настроены соответственно. И, глядя на эти ясные лица с праздничным светом в глазах, нельзя было позволить себе в тот день никакой печали. Даже тоски по дому. Я знала, что сегодня соберутся к Игорю друзья, и они поднимут за меня бокалы, и Игорь тоже будет весел. Будут читать мои стихи — как и мы тут, достанут старые фотографии, споют мои любимые песни. И только поздно за полночь, проведив гостей, Игорь закроет за собой дверь в пустую комнату и уткнется в подушку, обтянутую

сшитой мною наволочкой. На то и существует ночь — чтоб перескрипеть зубами свою разлуку и встать наутро с улыбкой, готовым ко всему, что пошлет новый день.

— Сударыни, одеваться!

А как же, к праздничному обеду мы все принаряжаемся, насколько это возможно. На пани Ядвиге — серый байковый жакет (никогда не скажешь, что из портянок!). Меня с утра ждало роскошное платье, сшитое из дрянного форменного сатина — но зато как сшитое! Пани Лида умеет превратить любую старую тряпку в произведение искусства. Мне положено появиться в столовой последней, когда уже вся компания в сборе. Наташа отбивает подобие марша ложкой по алюминиевой миске. На меня — поскольку я поэт — нацепляют лавровый венок. Все эти лавры, конечно, вытащены из баланды последних месяцев, лавровый лист почему-то на зэках не экономят. Под общий смех меня поворачивают в фас и в профиль и находят, что венок мне очень идет, а стало быть, я должна ходить в нем до вечера.

Через пару дней мы узнаем, что история с венком обошлась Наташе в лишение ларька: накануне моего дня рождения, поздно вечером, она сидела в цеху и выгибала плоскогубцами проволочный каркас, на который планировалось крепить мои лавры. Неожиданно пришла Подуст, попыталась приставать к Наташе с разговорами, а не получив ответа, написала рапорт начальнику лагеря: Лазарева, мол, подстерегала ее в темноте с тяжелым предметом. Тяжелый предмет — были те самые плоскогубцы. Начальник лагеря наверняка так же хохотал, как и мы, однако ларька-то все равно надо лишать — так почему бы не за это! Подуст прямо прославилась этой формулировкой насчет «тяжелого предмета»; дежурнячки с удовольствием вынесли эту историю из зоны, и через неделю смеялось уже все Барашево.

Однако поздравительная программа только начинается. Оказывается, издательство «Малая зона» (подарки все — общие, но подозреваю, что это дело

рук Тани и Наташи) выпустило буклет открыток с невероятными приключениями маленького Пегасика: рисунки и стихотворные подписи. Начинается этот буклет — изображением Пегасика за колючей проволокой:

Оказался в Малой зоне —  
Значит, стал поэт в законе!

Потом Пегасик сидит за машинкой и строчит вместо варежек — длиннющие листы стихов, потом он — на стуле, а перед ним кагебешник с удочкой:

КГБ обидно очень:  
С ними говорить не хочет!

Хотя кагебешник был совершенно безликий — уши да фуражка, — бедняга Артемьев себя в нем признал, когда у нас этот буклет отобрали на очередном обыске. И в искреннем негодовании предъявил мне свои обидчивые претензии (он думал, что рисовала я).

Затем мне преподносят сшитую из чьей-то простыни рубашку — с воланами и красной вышивкой. Затем — тубик косметического крема («тридцать лет еще не старость!»). А уж потом торжественно вносят торт. Раю и Олю в тот месяц ларька не лишили, и они купили дешевое печенье и маргарин (это им повезло — маргарин бывает в ларьке нечасто). Шарахнули в этот маргарин двухнедельный зоновский паек сахару (цербер в таких случаях достает все припрятанные заготовки, не скупясь) и взбили роскошный крем, да еще подцветили соком чудом добытой свеклы. Промазали этим кремом слои печенья — чем не торт? В чай сегодня всыпают двойную порцию заварки, а потом мне, как дерибанщику, поручают торжественно разрезать не что-нибудь, а настоящий лимон! Лимон в лагере — немыслимое дело, но его по случаю нашего праздника тайком притащило одно должностное лицо — ведь не все тут остервененные,

как Подуст! Дежурнячки и офицеры обычно приходят к нам в зону в такие дни из любопытства — что эти политички еще затеяли? И глазуют на самодельные свечи, цветные флажки, нарезанные из старых журналов, рисунки и торты с искренним восхищением: это надо же, что сочинили из ничего! Брать у нас угощение им строго-настрога запрещается, но и отказываться как-то неловко. Поэтому мы обычно заворачиваем тем, кто посмелее, кусок торта с собой. Сегодня мы богатые, сегодня мы гуляем! Через восемь дней, отправляясь в больницу, я буду делить бритвенным лезвием последнюю нашу соевую конфету на одиннадцать равных частей — но для праздников делается исключение.

Вечером мне положено читать стихи; все их и так знают, но заказывают, что кому больше нравится:

- Ира, про вишневое платье!
- Про письмо на тот свет!
- Про лошадей!

А совсем уже к вечеру я сажусь писать Игорю письмо — все самые нежные слова, всю надежду на встречу, все, чем я могу его ободрить. Его конфискуют, это письмо, как и большинство наших писем. Но сегодня я еще надеюсь, что Игорь его получит.

В начале марта нагрязнул в зону наш неудачливый Артемьев — «поздравить с Международным женским днем». Скажите на милость, какое внимание! Особенно мило звучит такое поздравление, когда никто из нас не знает, где кто встретит завтрашний день: в зоне, на этапе или в ШИЗО. Артемьев, видя, что разговор не получается, меняет тактику — уходит в больничку (там у них кабинет) и начинает присылать за нами дежурнячку, чтоб нас выводили к нему по одной. К Раечке он пристаёт (безуспешно), чтобы письменно отказалась от «антисоветской деятельности», Оле и пани Лиде жалуется, что остальные с ним не хотят разговаривать, и наконец находит собеседницу — Эдиту. Она в последнее время считает нуж-

ным объяснять КГБ, что ничего они своими карцерами не добьются, только опозорятся на весь мир, и что негуманно морить женщин холодом и голодом. Они охотно это все слушают — даже в ШИЗО приезжали послушать — и говорят, что вмешаться, к сожалению, не могут, в карцер посылает администрация. Вот если бы Эдита пошла им навстречу — тогда бы они могли ходатайствовать... В конце беседы Артемьев вручает Эдите шоколадку, в поощрение, и объясняет, что привез по шоколадке всем, да вот мы такие невежливые... Нас, конечно, тактика Эдиты в восторг не приводит; мы не без основания беспокоимся, что начнется с проповедей, а кончится поисками компромисса. А тут еще эти подачки... Но Эдита — взрослый человек и сама выбирает себе линию поведения. Мы не собираемся ее учить. Речи про шоколадки (Эдита рассказывает о разговоре) меня взрывают — есть что-то бесконечно гнусное в этих любезностях палачей. Мне потом расскажут очень похожую историю: как один садист мучил кошку. Накинул ей петлю на шею и душил, пока она не начала хрипеть. Тогда петлю ослаблял и гладил кошку, как ни в чем не бывало. Кошка, в идиотской надежде, что пытка кончилась, начинала радостно мурлыкать — и тут-то он затягивал петлю снова, и так много раз. Меня так и подмывало тогда спросить рассказчика, что он сам-то делал, наблюдая эту милую картинку, но поделикатничала, не спросила.

Конечно, негодования своего по поводу этих шоколадок я не показываю, самообладание в таких случаях лучше. Но когда дежурнячка приходит за мной, наотрез отказываюсь идти. Законом не предусмотрена обязанность заключенных разговаривать с КГБ. Добровольно я не пойду. Хотят — пусть присылают конвой с автоматами и применяют силу. Дежурнячка убегает доложить о ситуации Артемьеву и возвращается обратно.

— Артемьев сказал, что если вы к нему не пойдете, то это нарушение режима и за это вас могут посадить в ШИЗО.

- Вот и пусть сажают в свой хваленый Женский день! Мы что же, под страхом ШИЗО должны выслушивать его поздравления и брать шоколадки? Хоть сознался, что ШИЗО от КГБ зависит, а то Эдите вон чего наплел. Не пойду!
- Что ж, наряд вызывать, силой вас тащить?
- Это ваше дело.

Ушла дежурнячка «за конвоем» — и так больше в тот день и не пришла. Остальных Артемьев уже и не вызывал, уехал несолоно хлебавши. В ШИЗО они меня в тот раз посадить не решились — уж очень было бы очевидно, что такое их непричастность к нашим карцерам.

## ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

В этот март Игорь поднял тарарам по поводу моего здоровья. Он много раз посылал запросы об этом в лагерь, и все ему отвечали, что «состояние здоровья осужденной Ратушинской удовлетворительное». А потом он узнал, что как раз в те дни, когда писались такие ответы, у меня была температура за тридцать восемь, они эту температуру даже и фиксировали, но никак не лечили, да и не осматривали. К тому же и мои союзницы написали открытое письмо в мою защиту: мол, так она до конца срока не дотянет. Все вместе это привело к тому, что уложили наконец меня в больницу и даже сделали анализ крови. Я уж начала надеяться, что на этот раз будут лечить. Это было 12 марта, а 14-го мимо меня конвоировали Наташу и Таню — опять в ШИЗО. Наташу — на тринадцать суток, Таню — на пятнадцать. Тане это ШИЗО подгадали так, чтобы она провела в нем свой день рождения. Эмоции эмоциями, а кроме них пришлось мне написать заявление в прокуратуру и объявить голодовку — на все время, пока Наташа в ШИЗО. Тем более что она успела крикнуть мне с вахты, что ее отправляют в карцер с повышенной темпе-

ратурой. На этот раз их с Таней раздели до нитки. Они привезли с собой тапочки — ни в какую.

— Вам выдадут наши.

Что такое казенные тапочки — зона уже знала на моем примере. Их не дезинфицируют, снимая с одной и надевая на другую — и в прошлом ШИЗО я подхватила на ноги какой-то кожный грибок. Месяц после этого безуспешно добивалась от докторицы Волковой лечения — она считала, что это на нервной почве. Только когда у меня сошла вся кожа со ступней и образовались мокнущие язвы — она наконец сооблаговолила привести кожника. Я уже и ходить не могла — на ноги не наступить. Кожник только ахнул, когда увидел, но парень он оказался еще лагерем не испорченный и быстренько достал импортную дефицитную мазь, залечившую мне ноги в две недели. Уж какой эквилибристикой мы занимались, чтобы мне не заразить остальных в зоне, — это материал для отдельной комедии.

Короче, Таня с Наташей надеть казенные тапочки на этот раз отказались и отправились в камеру в носках. На следующее утро — в Танин день рождения — вызвала их к себе начальница режима Рыжова и лично проверила, добросовестно ли их раздели. Оказалось, недобросовестно: на обеих были под казенными балахонами футболки. Содрали с них футболки, носки, отобрали головные платки — хоть по форме и положено, но зимой они шерстяные. Наташа раздеваться отказалась. Ну ей, как у них принято, пригрозили, что вызовут солдат и разденут силой. Ах так?! Наташа разделась догола и пошла в камеру. За ней по коридору бежали дежурнячки, уговаривали одеться. Но Наташа, вскинув острый подбородок, рубила им:

- Сами обещали догола раздеть — радуйтесь!
- Да это не мы, это был приказ КГБ!
- Что ж, пусть любят. Не мне, а им должно быть стыдно.
- Да накинь ты, Лазарева, хоть что-нибудь!

— Нужна мне чесотка от вашего балахона и грибок от ваших тапочек! Верхнюю одежду надевают на нижнее белье или вообще не надевают!

А из камер ШИЗО и ПКТ ахали уголовницы:

— Ой, девочки, какая худющая! Одни кости!  
Это до чего ж их довели, политичек!

Чтобы замять скандал, вернули Наташе с Таней и носки, и платки, и собственные тапочки. Но ясно уже было, что из КГБ распорядились раздевать самым подробным образом — вдруг холод не пройдет до костей? Наши в зоне все, кроме Владимировой, которая была не наша, — объявили в день рождения Тани однодневную голодовку. На большее у них уже не было сил. И не улыбайтесь иронически, читатель: эковская однодневная голодовка — не разгрузочный день для сытого человека. Это — переход из постоянного недоедания в абсолютный голод, пусть на двадцать четыре часа. У нас были традиционные однодневные голодовки: 23 августа — в день пакта Риббентропа-Молотова, когда по этому пакту фашисты позволили Советскому Союзу захватить Западную Украину, Литву, Латвию и Эстонию. 30 октября — в День политзаключенных. И 10 декабря — в День прав человека. Я попробовала на себе эти «однодневки» — во все годы заключения — и знаю: днем уже кружится голова, а к вечеру трудно стоять на ногах. Пани Ядвига и пани Лида к концу суток нередко теряли сознание. Галя была блее стенки (стены у нас грязные, а Галя у нас чистюля). Лагле больше суток вообще не бралась голодать — не могла, и все тут. Это уж особенность организма, и счастье, что Лагле это понимала. Нет ничего хуже начатой голодовки, которую просто невозможно держать до победы, и приходится с позором снимать. Нет, конечно, я утрирую, читатель. Есть вещи и похуже. Но в то время мы думали и действовали — так. Раечка заявления о голодовке не писала (в соответствии с выбранной позицией), но и есть не могла. Так она и проходила с нами все наши голодовки —

молчаливо, без заявлений протеста, — но с нами. Ей тоже было худо. Эдита отчаянно боролась с голодом: голос природы в ней был громче, чем во всех нас. Оля, как и во всех своих голодовках, даже виду не показывала, что ей тяжело. Только глаза становились глубже и щеки западали. В такие моменты она была по-настоящему красива, и я ее искренне любила — несмотря на наши сложные отношения. Оля была мастером сложных отношений, а у меня по молодости лет не хватало мудрости, способной это преодолеть.

Тем временем со мной в больнице проводил беседу один из самых толковых местных врачей — хирург Скрынник:

- Если вы в голодовке — мы не имеем права держать вас в больнице.
- Но вы как раз и изолируете голодающих в больницу, уж мне ли не знать!
- Тогда вас должны содержать отдельно и не имеют права лечить.
- А зачем тогда забирают в больницу?
- Ирина Борисовна, мы оба с вами неглупые люди. Вы понимаете мои возможности, а я — ваши. Ну давайте, я вам напишу официальную справку о том, что тринадцатидневная голодовка опасна для вашей жизни. Я это сделаю с чистой совестью, в вашем состоянии это действительно опасно.
- А для Лазаревой, больной, тринадцать суток ШИЗО — не опасно?
- Лазаревой я ничем не могу помочь. А вам — могу. Давайте, я напишу эту справку, вы снимете голодовку и останетесь в больнице. Так мы делали с политзаключенным из мужской зоны (следуют имя и фамилия). И никто его не осудил. И вас никто не осудит. Ну, сколько вы проголодали? Один день? И хватит.

Будто я без него не знаю, что никто меня не осудит. Будто для меня эта сделка — не трещина

между мною и Богом, чего он, Скрынник, не понимает, но я-то понимаю отчетливо! Он по-своему искренен и доброжелателен, я по-своему. Мы ничего друг против друга не имеем, оцениваем прежде всего взаимную честность и потому взаимно — уважаем. И откуда Скрыннику знать, что когда-то цыганка в Одессе взяла мою детскую руку и вскинула на меня глубокие-глубокие, черные-черные глаза:

— У тебя, девочка, девять жизней! Раз умрешь — не умрешь, два умрешь — не умрешь! Только на девятый раз умрешь. Как кошка. На тебе цепочку, денег не надо, я тебе дарю!

Эта цыганская медная цепочка оставалась на мне, когда я уже стала взрослой и перестала верить в гаданья. Но к тому времени я уже несколько лет прожила, зная: ни одной жизни не жалко — ни первой, ни последней, ни девятой! Главное будет потом, а пока я — как на тренажере, пробую на себе разные ситуации. И нет у меня других ценностей, кроме того, чтобы честно все выдержать.

Короче, мы со Скрынником вежливо раскланялись, улыбнувшись друг другу, — и 15 марта меня из больницы вышибли. А 16-го — мне и Эдите велели собираться в ШИЗО. Тут уже наши взбунтовались:

— Врача! Иру мы в ШИЗО не отпустим!

Прибежала медсестра, смерила мне температуру. Повышенная. Убежала, привела комиссию из трех врачей. Перемерила двумя термометрами — тридцать восемь. Комиссию возглавлял тот же Скрынник, и он наотрез отказался подписать мое направление в ШИЗО: заявил, что он не убийца. Эдиту отправили, а я осталась. Господи, лучше бы тогда я поехала вместе с ней.

Стоило Эдите приехать в ШИЗО — в тот же день заявился сотрудник КГБ Тюрин. Наташа и Таня отказались с ним разговаривать, а Эдита согласилась. На следующий день ее посетил гебист Ершов. Они долго беседовали. Он угостил ее чаем с лимоном, накормил, дал ей с собой в камеру

огурец и коржики. Эдита вернулась в камеру и сказала Тане с Наташей, не тронувшим гебушного угощения:

— Вы, конечно, можете считать меня стукачкой из-за того, что я общаюсь с КГБ! Но я на это никогда не пойду, я только хочу перехитрить КГБ и добиться от них поблажек.

Таня с Наташей только вздохнули. Было ясно, к сожалению, кто тут кого перехитрит. Попробовали убедить — безнадежно. И нечего мне ныть, что, будь я с Эдитой, было бы все по-другому. Было бы так же, и тут мы бессильны.

Меня тем временем из зоны забрали, изолировали в отдельный бокс 12-го корпуса больницы. Я взяла с собой Библию, вышивки, чистую бумагу и шерстяной платок. Мне не докучали: насильственно кормить не пытались и даже принесли второе одеяло (мерзла я как котенок). Из-за запертой двери я слышала мирную беседу дежурнячки с новенькой, бывшей в психиатрический корпус:

— Ну, Корнеева, мы тебя кладем в чистую палату, никто в этой палате под себя не писает, не какает — старайся и ты.

— Ага, начальница!

Я тем временем наслаждалась покоем.

Три раза в день мне совали под нос еду, но не мешали прикрывать ее пластиковыми пакетами, и запах не слишком меня изводил. Я читала Новый Завет вперемежку с Песнью Песней. Вышивала для све-крови салфетку с вишнями (потом мне повезло передать ее по адресу, и бедная наша мама нарадоваться не могла, что я ее не забываю, и к тому же сохранила зрение). Писала стихи. И часто теперь, в лютую бессонницу зарубежья, думаю, что все на свете отдала бы, чтобы видеть те блаженные голодовочные сны. Но есть время бросать камни — и есть время собирать камни. Как справедливо отметил Экклезиаст.

На тринадцатый день за мной пришли.

— Ну, пойдём, Лазарева уже в зоне!

И опять тащат мой зэковский мешок, а я — хоть и медленно — иду в зону на своих двоих. Дежурнячка Настя суетится вокруг:

— Ты смотри, Ратушинская, не упади. Давай-ка лучше я тебя поддержку!

— Нет-нет, спасибо. Я сама.

Вот и Наташа. Вот и чай заварен, и все за столом. Но сегодня неподходящий день для обычной нашей шутки «у нас все дома!». Таня с Эдитой приедут позже. Нюрка, обожающая Таню, в эти дни перебралась на ее постель. Горестно лежит, уткнувшись носом в Танино потертое одеяло. И даже у пани Ядвиги, которая терпеть не может таких кошачьих вольностей, сейчас рука не подымается ее согнать.

## ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

В конце марта стали приезжать то и дело из Управления, разбираться с нашей забастовкой уже всерьез. Приезжали из медотдела выяснять, была ли Эдита трудоспособна в те дни, за которые ее лишили свидания. Стали, наконец, поднимать документы, была ли она вообще в августе привлечена к швейной работе. Если раньше с нами категорически отказывались разговаривать по существу нашей претензии, то теперь сами стали расспрашивать, причем на самых различных уровнях — от начальника лагеря до начальников отделов Управления. Уже они ездили в Москву за указаниями. Документально доказать нашу правоту ничего не стоило. Ясно было, что забастовка идет к успешному концу, еще несколько недель продержаться!

Тут-то Эдита устроила нам сюрприз. 31 марта она, когда все собрались в столовой, заявила:

— Я не намерена больше заступаться за других и ездить за это в ШИЗО. Поэтому я выхожу из забастовки.

Мы так и ахнули. Такая фраза, как «не заступаться за других», сама по себе в нашей зоне прозвучала дико. Но сейчас дело было даже не в этом. Из всех бастующих одна Эдита как раз бастовала за свое собственное свидание! Не Галя, не Таня, не Наташа — Эдита пошла бы и обняла своего мужа, если бы мы выиграли дело. Она — одна — заступалась за себя, а не за других в этой пятимесячной борьбе. Ошарашенные, мы обратили ее внимание на это обстоятельство. Но Эдиту уже понесло, она была в том состоянии, когда человек никак не соотносит свои слова с истинным положением вещей. Мы услышали, что, объявляя забастовку, Эдита жила чужим умом, что мы ее в эту забастовку втянули, что наплевать ей на законность, она хочет не разбираться в законах этой страны, а уехать отсюда.

Честное слово, если б у кого-то из нас были вставные челюсти, они бы в тот момент выпали. Мы-то помнили, как приходилось нам уговаривать Эдиту повременить с началом забастовки — вдруг можно будет все прояснить и так. И как Эдита нас торопила и упрекала за медлительность: «Вот если бы это было ваше свидание!»

Дальше пошла уже совсем чушь: что она — вовсе не центральная фигура в этой забастовке, что мы прекрасно можем бастовать и без нее, что вот вышла же Рая из забастовки — и ничего страшного не случилось. Нет, уж такой вариант нам вконец не понравился. Получалось, что мы будем гнить по карцерам и лишаться собственных свиданий (у нас они в те пять месяцев летели все подряд), а Эдита будет себе сидеть за машинкой, брать у гебистов шоколадки и, ничем не рискуя, ждать исхода борьбы. Да и сравнение с Раей было неуместно: Рая прежде всего была честна. Скажи нам Эдита, что она устала мотаться по карцерам и больше не может выдержать, — мы, хоть и огорчились бы, но никому бы в голову не пришло ее за это осуждать. Но дикая, бессмысленная ложь, но попытка изобразить себя жертвой, которую «втянули», но весь строй формулировок, так отчетли-

во папахивающий вмешательством КГБ, все это лишало Эдиту права на наше уважение. Говорить больше было не о чем, и мы спросили:

— Вы снимаете свое требование, чтоб вам вернули незаконно отнятое свидание?

— Да.

И она ушла в спальню плакать. Весь этот разговор дался ей еще тяжелее, чем нам. Что ж, это было поражение — хоть и без нашей в том вины. Получалось, что надо снимать забастовку. Раз Эдита не требует своего свидания, какое право и основание у нас его добиваться? Да и несимпатичная попытка свалить на нас ответственность казалась многообещающей: когда нас будут судить, добавляя нам за забастовку новые сроки, — не Эдита ли будет основным свидетелем? Или, чего доброго, потерпевшей: вот противозаконно вмешиваются в ее личную жизнь, когда ей это совсем не нужно. Мы знали, что, раз встав на такую дорогу, человеку почти невозможно не только подняться на прежний свой нравственный уровень, но и удержаться на том, который есть сегодня. Знали это и кагебешники, и ликовали сейчас, сидя у подслушивающей аппаратуры.

До чего же обидно нам было эту забастовку снимать! Да мы и понимали, что такое отступление зоне даром не пройдет. Упустив раз отвоеванные позиции — восстанавливаться на них будет гораздо труднее. Все наши муки этих месяцев, как казалось теперь, были впустую. Не совсем, конечно: у властей не осталось никаких иллюзий относительно того, как на нас действует применение силы. В конце концов, сдалась на их милость одна Эдита, но никак не зона. И все же мы знали: преуспев с одной, они будут с удвоенной силой вести атаки на остальных.

Спокойнее всех была Таня. Она по московской Хельсинкской группе знала похожие случаи. Приходит человек, просит помощи, искренне считает, что готов к борьбе за свои права. А потом, этой борьбы не выдержав, предает своих же защитников. Ему бы уже только помириться с КГБ — за чей

угодно счет! И поди найди грань, за которой человеческая слабость оборачивается подлостью!

Высказываться Эдите на этот счет было нелепо. Ей хватило и нашего молчания за столом. Все она знала и понимала, что мы об этом думали, зачем же добивать упавшего. Да кроме того, нам было ее попросту жаль. Она часто плакала, не могла спать, из медчасти носили ей валерьянку...

В общем, стали мы шить и жить как ни в чем не бывало. Эдите об этой истории старались не напомянуть, но внутренне отношение, конечно, изменилось. Однако шить, как прежде, уже не все могли. Нас с Таней врачи вынуждены были освобождать от работы неделями подряд — мы все температурили. Поскольку вылечить нас не могли, попытались объявить симулянтками — но сами ничего не способны были поделаться с термометрами, они упрямо показывали свое, хоть целая комиссия измеряй! Владимирову в середине апреля даже вызвал Артемьев побеседовать по этому поводу.

— Как Осипова и Ратушинская нагоняют себе температуру?

Владимирова, по ее рассказу, окрысилась на него.

— С помощью ШИЗО это очень просто!  
Наконец в мае нам заявили:

— Больше вас от работы освобождать не будут!  
Шейте хоть с температурой сорок!

Конечно, мы шили, только когда могли, но на свой страх и риск. К счастью, летом, в тепле, нам становилось легче, а к середине осени все началось сначала. Видимо, просто от холода. Другим было не лучше. Не обязательно болезнь сопровождается температурой. К тому времени у нас были инвалидами обе наши пани, Наташа, Рая и Владимирова. Через два года к ним добавилась еще и Галя. Лагле, Оля, Эдита и мы с Таней считались самыми крепкими.

Вот и прошел мой первый лагерный год. Насколько такое типично? Что было бы, если б мы не бастовали и носили нагрудные знаки? Да ровно

то же самое! Политических не принято подолгу задерживать в лагере, хотя бы и строгого режима. Излюбленная тактика КГБ с нашим братом — «качели»: лагерь — ШИЗО — ПКТ — лагерь — ШИЗО... И так далее. И не важно, за что, повод найдут, а не найдут — так выдумают.

Валерия Сендерова довели до забастовки, запретив ему заниматься математикой — отбирали и сжигали все его записи. Кроме того, отняли Библию, молитвенник и нательный крест. Анатолия Марченко избили, когда он, идя в ШИЗО, отказался расстаться со своими книгами добровольно.

Короче, был бы человек, а за что мучить — найдут. В одном нам было легче, чем мужчинам в Перми, — среди нашей охраны садисты были исключением. Изю всех, кого я перевидала в нашей зоне и двух уголовных, — могу с уверенностью назвать только четверых: нашу Подуст, а на «двойке» в ШИЗО Акимкину, Рыжову и заместителя начальника лагеря по режиму Учайкина. Три женщины и один мужчина. Кагебешников я не считаю — у всех у них есть эта жилка. Но речь сейчас идет только о сотрудниках лагеря. В пермские же лагеря и знаменитую Чистопольскую тюрьму надзирателей выбирали с применением психологического тестирования — и как раз садистов!

Когда Сендеров и Ковалев сидели в своем бесконечном ШИЗО, они имели удовольствие слушать из коридора телефонные разговоры. Дежурный ШИЗО от скуки звонил дежурному по больнице и рассказывал о своих подвигах. Он развлекался тем, что ловил крысу, отрубал ей самый кончик хвоста и поджигал обрубок. Немного погодя — отрубал еще кусочек — и снова поджигал. И так, пока хвост не кончался. Потом он обезумевшую крысу отпускал, напутствуя примерно так же, как принято у них провожать выходящих на свободу экзков:

— Иди, и больше не попадайся!

За что и получил прозвище — Красная Крыса. Похожих случаев я знаю достаточно, но не хотела бы

вызывать тошноту у читателя. По тем же причинам не стану далее протаскивать читателя по всем сплошь нашим ШИЗО: хватит с вас и первого года. Бесконечные повторы хоть и нарушают законы художественной литературы, являются, однако, правдой нашей эзковской жизни. Но вам, отсидевшим с нами один год, это уже ясно — пора мне проявить гуманность. Довольно и того, что нам самим некуда было деться, и все повторялось с тупой периодичностью. Последовательность эта была последовательностью машины, в ней не было ровно ничего человеческого. Все нормы людского бытия, в которых воспитан каждый еще до того, как начинает себя помнить, — расчетливо и продуманно попирались. Нормальному человеку свойственна чистоплотность? Так получайте соленую тюльку через кормушку ШИЗО прямо в руки! Тарелок-ножей вам не положено, даже листа бумаги не дадут. Обтирайте потом перемазанные рыбьими кишками ладони об себя — воды вам не дадут тоже! Зарабатывайте чесотку и грибок, живите в грязи, дышите запахами параши — тогда прочувствуете... Женщинам свойственна стыдливость? Так вас будут раздевать догола при обысках, а пока вы под следствием — выведут вас в баню, а туда «совершенно случайно» войдут гогочущие офицеры КГБ. А в лагере вам придется доказывать и врачу, и начальнику лагеря, и прокурору — сколько воды и ваты нужно женщине для самых интимных надобностей. И докажете, но после четырехмесячной войны. А уж сколько сальностей наслушаетесь тем временем! Нормального человека шокируют грубость и ложь? Так это предоставят в таком количестве, что вам придется напрягать все душевные силы и помнить: есть, есть другая реальность! Есть порядочные люди, и их большинство, есть целые страны, где черное называют черным, а белое — белым, и это не преследуется по закону. Но так далеко это все будет казаться, что лишь большим усилием воли вы сохраните прежнюю, нормальную систему нравственных ценностей.

И при этом вы ни в коем случае не должны будете позволять себе ненависти! Не потому, что ваши палачи ее не заслуживают. Но допусти вы только это в себе — ненависти в вас за годы лагеря накопится столько, что она вытеснит все остальное, разъест и исковеркает вашу душу. Вас не станет, ваша личность уничтожится, и на свободу выйдет истеричное, невменяемое, осатанелое существо. А если вы умрете в очередном застенке — это же существо предстанет перед Богом. Что им и требуется. Поэтому вы, глядя на очередной винтик этой машины — не важно, в красных он кантах или синих, постарайтесь думать, что вот у него, наверное, есть дети, и они могут вырасти совсем не такими, как он. Или найдете в нем что-то смешное — юмор убивает злость. Или пожалеете его с полным основанием: вот вам сейчас никак не позавидуешь, но ведь вы не хотели бы поменяться с ним местами? То-то и оно... Или если уж совсем ничего в нем не найдете от человека, то вспомните, что тараканов из дому выводят без ненависти, разве только с брезгливостью. А они — вооруженные, сытые и наглые — всего лишь вредные насекомые в нашем большом доме, и рано или поздно мы их выведем и заживем в чистоте. Ну не смешно ли им претендовать на наши бессмертные души?

Все это вместе в первый же год вырабатывает у вас так называемый «зэковский взгляд», который невозможно описать, но, раз его встретив, и забыть невозможно. Друзья на свободе, обнимая вас, ахнут:

— Какие у тебя стали глаза!

А из ваших палачей ни один этого взгляда не выдержит, все будут воротиться, как псы.

## ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ

А мы все живем, воюем за право переписки, изучаем каждую былинку на нашем пятачке — вдруг лечебная? Завариваем дикую ромашку, едим дикий тмин... Вот и лебеда поднялась — можно сделать

салат. Вот и радость пани Ядвиги — одуванчики! Она со свободы знает, что более полезного растения прямо-таки нет на свете, и часами возится, пытаюсь приготовить что-то съедобное. В ход идут и корни, и листья, и цветы. Горьковато, но мы не капризничаем; в этих травах — одна наша надежда. Тем временем родные нам шлют бандероли с медикаментами, и все их администрация отфутболивает назад: «Не положено!» Но нельзя сказать, что от медчасти нет вовсе никакой пользы — нам удастся скачать с них штук семь списанных клистиров, и Наташа сооружает из клистирных трубок шланг для поливки наших растений. Она распиливает пластиковые корпуса от шариковых ручек — чем не соединения на стыках? Сколько ведер воды нам это экономит — вернее, не ведер, а усилий, чтобы их дотащить, — трудно даже вообразить. Поливка превращается в одну из самых приятных работ. Правда, шланг достает не везде, но это уже пустяки. Становится все теплее, и мы уже готовимся праздновать Пасху. В два этапа: раньше — католическую, потом — православную. Праздниками наша зона богата, как ни одна семья, — два Рождества, две Пасхи... Что ж, так и положено, если на одиннадцать человек — шесть национальностей и четыре религии.

Дежурнячки нам уже успели шушукнуть, что Подуст дорабатывает последние дни, летом ее переведут в Тамбов. Но, конечно, безоблачность на нашем горизонте невозможна.

— Барац, Абрутене, Владимирова, Матусевич, Руденко! На этап!

Говорят, что не в ШИЗО, а в Саранск — в тюрьму КГБ на «перевоспитание». На этот раз мы им верим, потому что Владимирова — в списке. Уж ее-то в ШИЗО не посадят ни в коем случае. И хотя Саранск — тоже не подарок, провожаем их без камня на сердце. Наташу укладывают в больницу. Опять становится тихо в зоне. Честно выполняем подробнейшие Раечкины инструкции по уходу за «лютиками-цветочками», возимся с Нюркой, она привела троих

котят. То-то радости! Дежурнячки уже сделали заказы: кому мальчика, кому девочку. Но раньше Нюрка их еще обучит, как охотиться на серую-хвостатую живность, у нее потрясающие педагогические способности. Как ни странно, при всех валяющихся на наши головы репрессиях, покушений на Нюрку почти не было. Попробовала Подуст пару раз вякнуть, что нам кошка не положена, но к действиям перейти никто так и не решился. Да и как практически изъять из зоны кошку? Охраны нашей Нюрка опасается: если кое-кто из дежурнячек еще имеет привилегию ее погладить, то никому из офицеров не удастся даже близко к ней подойти. Стоит прогрохотать сапогами по коридору — и Нюрку как ветром сдувает. Запретку она, в отличие от нас, игнорирует: поди поймай! А в зоне мы бы устроили такой тарарам, что наша умная киса оказалась бы за два километра, пока администрация разбиралась бы с нами. Что им делать? Палить по кошке из пистолетов? Но в зоне это значит — палить по нам, а вне зоны такое количество заборов, что человеку за кошкой не уследить. Так или иначе, Нюрку не трогали, и она благоденствовала, вылизывая потомство.

Хорошим майским утром я вышла со шлангом поить наши грядки. Остальные были еще в домике, громкоговоритель на соседней зоне молчал, и тихо было до звона. И вдруг через наш забор ловко перекинулся человек в черном. Подошел ко мне. По одежде, по стрижке и главное — по взгляду — зэк.

— Привет. Я Вася.

— Здравствуйте, Вася. Вы откуда?

— С первой зоны (он мотнул подбородком в сторону забора). От тубиков. Слушай, тебя как звать?

— Ира.

— В общем, Ира, я менту триста рэ дал, чтоб он на час-два моего перелаза не заметил. По бабе стосковался. Давай, а?

В предложении Васи на самом деле нет ничего необычного. Мужская и женская больничные

зоны — рядышком, два забора да проволочные заграждения. Деньги у уголовников водятся, охрана вся сплошь охотно берет взятки, женщины, как правило, только рады — и сами стосковались, и есть шанс забеременеть. Просто этот Вася, видно, новичок и по ошибке залез не в больничку, а к нам. Объясняю ему, что здесь — политзона.

— Ого, я слышал, но не знал, что здесь. Так ты политичка?

— Политичка, Вася, политичка! Вон видишь этот забор? Там за ним еще один, дальше проволока, а дальше — больничка. Туда-то ты и шел. Дуй, не теряй времени!

— Слушай, ну ее, ту больничку! Давай с тобой, а? Это у вас что? Сарай? Красота!

— Вася, милый, я замужем.

— Ну и что?!

— А то, что мужу не изменяю.

— Ты что?! У тебя какой срок?

— Семь плюс пять ссылки.

— Ну даешь! Да ты верующая, что ль?

— Верующая.

Это объяснение всегда действует безотказно, и главное, доходчиво. Всех остальных моих мотивов Вася попросту не поймет.

— А за что сидишь?

— За стихи.

— Это как? Сама, что ль, сочиняешь?

— Сама.

— Врешь?! А почитай.

— Вася, у твоего мента часики тикают, пока мы с тобой о высоких материях рассуждаем.

— Фиг с ними, пускай тикают. Сроду политичек не видел. Много вас тут?

— Сейчас пятеро, а вообще одиннадцать.

— А другие за что сидят?

— Кто за веру, кто за правозащитную деятельность, кто просто эмигрировать хотел.

— Ну и как вам сидится?

— По ШИЗО в основном.

- Ого! Это за что же? Деретесь?
- Бастуем иногда. Вот нагрудные знаки не носим. А большей частью КГБ над нами упражняется.
- Своих, значит, не закладываете?
- Соображаешь.
- Ну и правильно. Своих закладывать запаadlo. Так почитай стихи, а?
- Вася, жалко мне твоих трехсот рублей. Топаи на больничку, а останется время — вернешься, тогда поговорим.
- А ты, может, из ваших кого позовешь? У вас тут что, все верующие?
- Не все, Вася, но здесь тебе дела не будет. Уж я-то знаю.

Его убеждает не столько аргументация, сколько моя улыбка: он понимает, что дела, действительно, не будет.

- Ладно, Ириша, я поканал. Я еще приду. У вас тут никто не стучит?
- Есть одна, но сейчас она не в зоне. Из здешних никого не бойся. Но вот если охрана тебя в нашей зоне найдет — не откупишься. Здесь КГБ замешан, так что рискуешь.
- Меня сроду не заметут.
- А сел-то как?

Оба смеемся, и он перемахивает через нужный забор. В доме я о Васе, конечно, не говорю, знаю, что подслушка не дремлет. Интересно, кто он? Вор? Растратчик? Убийца? Кто бы ни был, а соскучился по человеческому разговору. Сижу за машинкой, шью. Стихи сегодня не идут, и я строчу «вхолостую». Пани Ядвига штопает старую лейку — опять протекает. Умение штопать посуду у нас еще от наших «бабушек»: запаять нечем, так они придумали забивать отверстие нитками. Игла с ниткой пропихивается туда-сюда, потом она лезет уже с трудом, потом приходится протягивать ее плоскогубцами. Когда дырка заполнена до отказа — остается подрезать с обеих сторон торчащие нитки, и пожалуйста —

наливай что хочешь. От воды нитки разбухают и не пропускают ни капли. У нас есть пара штопаных кастрюль — так в них можно даже кипятить воду. В таких мирных занятиях мы проводим около часу, и тут в цех входит пани Лида. Делает мне знак рукой, и мы идем наружу.

— Ирочка, вас какой-то молодой человек спрашивает. Он тут, за поленницей.

Пани Лида истинно по-зэковски невозмутима, только в глазах веселые искорки.

— Побеседуйте, а я посмотрю, не ходят ли дежурные.

И пани Лида отправляется на дорожку, а я — беседовать с Васей.

— Ну как слазил? Все в порядке?

— Какое в порядке! Шкуры эти больничные бабы. Пока я с одной был, две другие позавидовали и поскакали на вахту стучать. Дуры! Я б и им потом не отказал. А так еле ноги унес. Ты с этими дешевками дела не имей — бабы всегда продадут, особенно которые с «общака». У вас, ты говоришь, не такие?

Рассказываю ему про наших. Осторожно, конечно, никаких секретов. У меня еще нет уверенности, что он сам-то не продаст. Вася слушает с открытым ртом.

— И на КГБ плюете?

— Плевать не плюем, но игнорируем.

— Ира, слышь, у меня семь классов. Ты давай попроще выражайся.

— Ну, тогда — плюем!

Когда оба отсмеялись, читаю ему стихи, ведь обещала.

— Ира, ты спиши их на бумажку. У нас один на гитаре лабает.

— У вас и гитара есть?

— Ну, тут теперь нет. Недавно хлопцы начальника режима гитарной струной удавили.

Кто сделал — не нашли, а гитару забрали.

Но я здесь ненадолго, я сам туберкулезный,

меня два раза в год сюда на больничку возят. А на нашей зоне гитары аж две, мы их под са-  
модеятельность получили.

— Ладно, перепишу. А как я тебе передам?

— Я теперь пару дней на перелаз ходить не буду. А тут завтра будет один из наших, Комар его кличка, он вам будет проволоку на ограждении подтягивать. Так ты ему сунь, только осторожно.

— А у тебя какая кличка?

— Шнобель.

— Почему Шнобель?

— Вон видишь, шрам на носу. Шесть швов накладывали, и переносица перебита была. С одним фраером зацепился.

Оказывается, Вася — профессиональный вор, начал еще с детдома.

— Озверел от бедности.

Потом, как водится, лагерь для малолетних преступников, потом обучение у самого знаменитого киевского карманника, потом четыре года краж и «красивой жизни».

— Ни разу не попался. Менты уж за мной охотились, а зашухерить не могли. Так они, гады, меня просто так хапнули, когда я и не крал. Пошел в магазин, стою в очереди. Вдруг меня двое обжали, а какая-то баба кричит, что я у нее кошелек из пальто попер. Баба, ясно, ихняя была и понятые ихние. Ну, засудили, конечно, у них уже все готово было. Они так любят.

— Вася, а если б у тебя жизнь нормально сложилась, ты бы не крал?

— Не знаю. Когда пацаном был — в моряки хотел. А теперь уже втянулся и красть буду до смерти. А ту бабу увижу — пришью. Ты, Ириша, только меня не перевоспитывай. У меня эта агитация насчет честной жизни уже в печенках сидит. Нет ее, честной жизни! Ну кто честный? Ты глянь, все воруют вокруг.

В детдоме у нас и директор крал, что нам полагалось, и завхоз. В лагере тоже кому не лень. Или менты те честные, что меня взяли? Или тот судья, или тот прокурор? Просто — ихняя власть, а зато я, когда на дело иду, — один против всех! Знаешь, как здорово!

- Есть, Вася, честная жизнь. Только она еще труднее, чем твоя.
- Это ты про таких, как вы тут? Ох, бабоньки, уважаю я вас, прямо шляпу снимаю. А только толку от ваших мечтаний не вижу. Вы что ж, думаете, целый народ по справедливости может жить?
- Когда-нибудь сможет.
- Так то, может, через тыщу лет, и то вряд ли. А мы живем сейчас. У тебя, небось, даже и меховой шубки в жизни не было?
- Не было. Даже зимнего пальто не было.
- Эх, Ириша, не встретились мы с тобой на свободе! Я б тебе всего достал, да ты, наверное, не взяла бы?
- Нет, Вася, краденого бы не взяла.
- Господи, бывают же такие бабы! Почему мне ни одна такая не попалась? Ведь так и липнут, шкуры, когда при деньгах — и того им подай, и этого. У тебя мужик-то кто?
- Был инженер-теплофизик, потом его с работы погнали, когда КГБ до нас добрался. Теперь слесарь.
- Ждет тебя?
- Ждет.
- И правильно. Я б ему морду набил, если б он не ждал. Ты, Ириша, хочешь — напиши ему, у меня корешки на свободе. Не сомневайся, воры не продают, у нас с этим строго. Век свободы не видать — передам!
- Подумаю, Вася. Иди, не задерживайся тут, сейчас нам обед принесут, дежурнячки пойдут по зоне.

— Ириша, можно я тебе руку поцелую? Я в кино видел — там женщинам руки целовали. Ой, какие пальчики тоненькие! Ну пока.

— Счастливо!

Две недели у нас шла переписка с туберкулезниками с уголовной зоны. Она расширилась — в нее вступил Васин наставник по воровским делам по кличке Витебский. Особо знаменитым вора́м, авторитетам в своей среде, дают «дворянские» клички — по названию их города. Это считается самым престижным. Витебский этот тоже заинтересовался странным, нигде, кроме лагеря, невозможным соприкосновением двух миров — нашего и воровского. В итоге наши письма стали носить энциклопедический характер — обеим сторонам было интересно знать как можно больше про другой мир. Мы читали их письма все вместе, и Вася в нашей зоне иначе не назывался, как «Ирин вор». Перевоспитывать их мы, конечно, не пробовали — пытались понять. Витебский писал, что он вор по призванию и воровал бы в любой стране и в любом обществе, даже в Америке (Америка ему казалась пределом благоденствия и законности). Нас он очень зауважал, когда узнал, что мы не выполняем никаких издевательских требований КГБ и администрации. И тут же написал, что у них в уголовных лагерях есть такое понятие «отрицалово» — от слова «отрицать». Это — зэки, которые работать не отказываются, но ментов ни во что не ставят, не заискивают перед ними и унижать себя не позволяют — предпочитают карцеры. Для понятности он приводил пример.

«Если начальник нарочно уронит ключи и скажет «подними» — я не подниму, пусть хоть в ШИЗО сажает. А которые перед начальством шестерят, называются козлы».

Васю больше тянуло в лирику и самоанализ. Он писал, что ему не по себе при жестоких уголовных «правилках», не по сердцу участвовать в избиениях, когда все бьют насмерть одного. Но и он бил, потому таков их «закон»: предателю нет пощады. В конце кон-

цов, весь мир основан на жестокости. Одновременно просил еще и еще стихов, а Витебский насмешливо комментировал:

«Вы Шнобеля моего совсем с ума свели, ночами не спит, все бормочет чего-то».

Кончилась эта переписка неожиданно, когда однажды днем к нам нагрянула орава дежурнячек, Подуст, Шалин и несколько офицеров.

— Женщины, перебираемся в новый корпус! Все, что берете с собой, подлежит обыску!

Тут-то мы поняли, зачем нас раскидали по разным местам — чтобы легче проконтролировать переход. Они давно уже страдали, не понимая, как из лагеря идет информация на свободу. Теперь есть возможность проверить все наши вещи, а если припрячем какие-то записи тут — обыщут пустую зону и найдут, хоть бы пришлось все перекопать и раскатать дом по бревнышку. Они, кроме того, подозревали, что мы ловко прячем радиопередатчик.

Это был не обыск, а настоящий погром.

В огонь летели старые тельогрейки, отбирали валенки, доставшиеся по наследству от «бабушек», изымали «лишнее» белье. Все письма и записи было велено сложить отдельно.

— Оперчасть проверит и вернет.

Мы со всей педантичностью требовали, чтобы составлялся список: что у нас забирают на склад личных вещей. Не позволили обыскивать вещи отсутствующих иначе как при нас, и тоже составляли список, что куда идет. И конечно, растянули обыск до вечера, когда склад был уже закрыт. Пришлось нашей администрации все вещи, изъятые «на склад», все наши записи и книги (они тоже подлежали проверке) разместить в маленькой комнатке в том же корпусе, куда нас перевели, и дверь опечатать. Поскольку перетаскивать все вещи пришлось нам самим (хоть и под их надзором), кое-что удалось спасти — зэковская ловкость рук! В зоне оставалась тетрадь моих стихов, обернутая в два пластиковых пакета и запечатанная в таком месте, где бы им не пришлось в голову

рыть. В августе 85-го года, вернувшись на прежнее место, ее благополучно откопали и дружно радовались, что цела.

Кастрюли, плитку и чайник у нас, естественно, отобрали — да и вообще отобрали все, что только можно. Когда в новом корпусе за нами заперли ворота, мы огляделись кругом. Каменный дом, вокруг — глухой забор. Узкая полоса земли вокруг. На ней ничего не растет, кроме бурьяна. Босиком по ней не пройдешь — вся усеяна битым стеклом. Под спальню отведена одна комната, в ней — железные койки в два яруса; она вдвое меньше, чем наша прежняя спальня. Шаткие эти сооружения скрипят и раскачиваются от малейшего движения. Ясно, что вдвоем спать на таких — одна мука. Есть водопровод и даже канализация, но от металлических кранов бьет током. От струи воды тоже. Оказывается, в Барашеве все заземляют на водопроводные трубы. Если где-то электрическая сварка — к крану лучше не подходить. Часть стекол в доме разбита. А мы ограблены. Инструменты — и те поотнимали, нечем приводить все это хозяйство в порядок. Даже молотка нет. Не сказать чтоб мы были в радужном настроении. Ужин вернули назад.

— Нам положен кипяток и горячая пища. Титан отняли, чайник и плитку тоже — обеспечивайте теперь как знаете!

Усталые, улеглись на скрипучие железяки — утро вечера мудренее!

А в запретке всю ночь дежурила охрана — ждали, что мы полезем в прежнюю зону доставать припрятанное. У нас хватило ума предоставить им бесплодно бдеть до утра, тем более что дежурнячки нас тайком предупредили.

## ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ

К утру на меня напала такая тоска, что уже в пять часов я ходила вдоль забора по безрадостному новому участку. Строительный мусор, глухие заборы,

ямы и рытвины. Остатки какой-то каменной кладки... И тут — жить?! Я понимала, что и тут выживем, и цветы разведем, и прочее добро (мы исхитрились под одеждой пронести часть семян). Но тогда я все еще была чувствительна к материальным утратам, и жалко мне было нашего колодца, нашего тополя, рябины и берез, и всего огромными усилиями налаженного быта старой зоны. Ощущение было, как после погрома. И насколько же мне легче стало, когда я услышала за спиной веселый голос Лагле:

— Уже гуляете? Смотрите, какой тут интересный рельеф: за этой кладкой вся земля приподнята метра на полтора. Надо тут сделать ступеньки, а тут дорожку. Камней и щебня нам хватит — вон их сколько!

И через минуту мы уже планировали — где пройдет дорожка, где мы очистим землю и что-нибудь посадим. В этой яме у нас будет погреб, а эту разваленную кирпичную трубу переделаем в камин! К нам присоединилась Таня. Она углядела, что металлические нары можно разобрать на обычные лагерные койки. Так мы сейчас и сделаем. В одной комнате они, конечно, не поместятся, но соседняя пустует. Будем жить на две спальни, а в два яруса спать не станем! Нужен молоток, чтоб отбить заклиненные в пазах железные трубки, но мы нашли два ржавых водопроводных обрезка — вполне сойдут для наших надобностей. Наташа орудует вместе с нами. Ее, конечно, выписали из больницы сразу после нашего переезда; для того только и забирали, чтобы при обыске в зоне было поменьше народу. Работа эта тяжелая, и наших пани мы туда не подпускаем, пусть пока благоустраивают кухню. Налетает Подуст.

— Женщины, что вы делаете? Кто вам разрешил разнимать кровати? Я запрещаю! Немедленно составьте все как было! Я приказываю! Ратушинская, у вас длительное свидание через неделю! Вы что, хотите его лишиться? Ну и так далее. Мы не видим ее и не слышим, и тогда она апеллирует к пани Лиде.

— Доронина! Несите немедленно койку назад! Требовать от пятидесятидевятилетней женщины, чтоб она тащила койку, которую мы втроем с трудом поднимаем, — сущее идиотство, но вполне в духе Подуст. Тут уж пани Лида теряет свою обычную кротость, и Подуст с позором ретируется. Больше пани Лида с Подуст уже не общается. Целый день к нам бегают режимники, Шалин, еще какие-то офицеры, все протестуют, приказывают, угрожают — а мы тем временем размещаем койки: в одну спальню — пять, в другую — шесть. Больше в эти комнатки просто не влезет, но больше нам и не надо. Так оно и осталось — администрация сдалась, поняв, что ничего с нами не поделаешь. Да и закон был на нашей стороне — по нему, «самому гуманному в мире», на заключенного все же было положено два квадратных метра жилья, а в спальне, предназначенной для нас одиннадцати, было всего восемнадцать метров!

Той же ночью мы осторожно вынимаем оконное стекло (благо на трех гвоздях) в комнате, где сложены отнятые у нас вещи. Зачем нам опечатанная дверь, когда есть окно? Лагле остается снаружи — наблюдать, не появится ли кто, — а мы с Таней пролезаем внутрь. Изредка зажигая спички и благословляя лунную ночь, мы вытаскиваем и передаем Лагле наиболее ценные вещи: географический атлас (карт заключенным не положено, и мы его все время прятали), все изъятые письма и записи. Библии, самые нужные одежды... Не забываем и узлы отсутствующих. Все забирать нельзя — заметят. Но мы утаскиваем примерно половину. Припрятать это все в зоне ничего не стоит, вставить стекло обратно — тоже. Помня уроки Шерлока Холмса, мы беремся за стекло в варежках, чтоб не оставить отпечатков пальцев. И потом все втроем хохочем — неплохие из нас бы вышли взломщики! Весь следующий день Таня ходит по участку и руками выбирает из земли битое стекло. Мы с Лагле сортируем камни и расколотые кирпичи — что пригодится для наших садовых дел, что надо

выкинуть за забор. Наташа сооружает из куска провода и двух металлических пластинок примитивный кипятильник: концы провода — в розетку, а пластинки — в воду. Только касаться посуды нельзя, пока ток идет. Обе наши пани орудуют на кухне — скребут, моют и наводят уют.

Тут, конечно, приносят постановление о лишении меня свидания — под неожиданным идиотским предлогом. И со мной, уже понимающей, что так или иначе лишат, а предлог не важен, происходит странная вещь. Так я хочу этого свидания, так мне нужно ткнуться Игорю в плечо, так давно я ни весточки от него не имею (переписку нашу уже с декабря напрочь перекрыли, а тайные мои послания тогда еще односторонни), что я пишу объяснительную записку начальнику лагеря, пытаюсь этот дурацкий предлог опровергнуть не менее дурацким передергиванием фактов. Потом, придя в себя (не без помощи Тани и Лагле, которые такого шага, естественно, не одобряют), соображаю, что я, строго говоря, в записке этой солгала. И стыд за эту ложь — первую за мою лагерную жизнь — выжигает из меня всякую возможность лжи последующей. Надеюсь уже, что навсегда. Но как вспомню — до сих пор корежит. Ведь знала же, что врать противнику нельзя, что для нас существуют моральные запреты и вообще совесть! Где были — если не совесть — то по меньшей мере мои мозги? Не помню. Безумие какое-то. Вот нужно мне было свидание — и все!

К счастью, выгоды от этой мое глупости все равно не было: администрация не обратила на «объяснилочку» никакого внимания. Ну, сообщили Игорю другой предлог — и тем дело и кончилось. Второй этот предлог был не менее идиотским, чем первый: телогрейка у меня лежала на кровати. За это вполне можно лишиться свидания, положенного раз в год. А что телогрейки наши за полчаса до этого только принесли в зону, что в доме не было ни единой вешалки и даже гвоздя, что единственное место, куда их можно положить, это как раз кровати (что мы

все и сделали) — это уже детали, отношения к делу не имеющие. Я на это тогда и не отреагировала никак, мне было достаточно своих эмоций. Наши отнеслись к происшествию сочувственно. Никто мне никогда этой истории не поминал — поняли, что с меня и так хватило. В порядке протеста против лишения свиданий как установившейся практики — я объявила десятидневную голодовку. Мне радостно заявили, что есть новое постановление правительства (секретное, разумеется) об административных наказаниях за голодовки.

Сводилось это к тому, что голодающего бросали в ШИЗО на максимальный срок — пятнадцать суток. Потом, разумеется, могли добавлять эти сутки, сколько им угодно. Чтоб не возиться с добавками, мне сразу после ШИЗО, в том же постановлении, выписали два месяца ПКТ.

Проводили меня наши до ворот, а на вахте, пока дежурнячка обыскивала мой мешок, вокруг меня закружилась Подуст с неожиданными сантиментами:

— Ратушинская, я завтра уезжаю. Давайте хоть попрощаемся. Больше мы не увидимся, так почему бы нам не расстаться друзьями?

И — честное слово — додумалась протянуть мне руку! Повисела эта рука в воздухе, под ехидные ухмылки дежурнячек и конвойного офицера и стала барабанить маникюром по столу. Не услышала от меня Подуст ни «душевных переливов», ни дерзости, которую могла ожидать с еще большим основанием. Я молча прошла мимо нее — и закинула свой мешок в машину. Поехали!

Через два дня ко мне присоединилась Таня. Она объявила голодовку на все время, пока меня, голодающую, держат в ШИЗО, — и получила тот же срок, пятнадцать суток и потом два месяца. Таня изловчилась пронести сквозь обыск оранжевый цветок, который наши передали для меня.

Уж где они его раздобыли в таком разорении — до сих пор не понимаю. Но он оказался по-зэковски живучим и стоял у нас долго в алюми-

ниевой кружке. Иногда мы с ним разговаривали, как говорят с детьми.

Наше счастье было, что на дворе стоял июнь, и мы мерзли не больше, чем обычно мерзнут в голодовке. Ослабели, конечно, но сидеть было весело. Что зона избавилась наконец от Подуст — нас радовало: вторую такую по всей Мордовии вряд ли сыщут. Оказывается, она и к Тане приставала с «задушевыми разговорами», отправляя ее в карцер. С тем же, конечно, результатом. Почему ей это понадобилось — мне трудно понять. Вывихи садистской психики? Интересно, отправляя нас на расстрел — полезла бы она с поцелуями? Не знаю. Но самую чудесную историю из этой серии рассказала нам Лагле, когда мы вернулись.

На следующий день после Таниного отъезда Подуст заявила в зону, нашла Лагле и после тех же причитаний, что надо расстаться друзьями, спросила ее:

— Ну что я вам лично сделала плохого?  
За что вы назвали меня крысой?

Лагле ничего не ответила, только искренне удивилась — никогда она Подуст никак не называла, да и вообще заниматься перебранками Лагле было более чем несвойственно. Поэтому она решила, что Подуст просто напоследок спятила. И только дежурнячки вскоре прояснили ситуацию. Весной, в день рождения Лагле, среди прочих поздравлений и подарков, была мною сочиненная пародийная сказка про Золушку. Лагле была у нас золушкой в ту неделю, и вот я написала, что злая ведьма Совдепия перенесла Золушку далеко-далеко от родной Эстонии, оплела вокруг колючей проволокой — ну и так далее.

Сказке положен хороший конец — и вот к нашей Золушке прорвался прекрасный принц — ее муж Лембит, и увез обратно в Эстонию. На радостях этапная «кукушка» превратилась в карету, конвойные — в лакеев, а Подуст тужилась-тужилась, пытаясь обернуться вороным конем, но ничего у нее не вышло — превратилась она в крысу.

Мы тогда этой сказке посмеялись и забыли. С тех пор было столько других шуток и выдумок! Но надо же так случиться, что Лагле переписала ее к себе в тетрадь, а тетрадь эту отобрали при обыске, когда нас переводили из зоны в зону. Все другие записи там были по-эстонски, а эта — по-русски и, значит, понятна нашим офицерам. Стоит ли говорить, что, прежде чем попасть в КГБ, тетрадь эта обошла все Барашево, и охрана наша над этой сказкой дружно хохотала. Кое-кто переписал ее для себя, а при общей их нелюбви к Подуст шутка про крысу стала популярной. Вот Подуст, думая, что Лагле эту сказку сама написала, и понеслась к ней выяснять отношения. Хвати у нее ума не усугублять заведомо проигранную ситуацию, мы бы и не узнали, что наша сказка снискала себе широкую аудиторию. Но чем человек мелочнее и глупее, тем больше он склонен к выяснениям отношений, это прямо становится какой-то манией и, видимо, происходит от постоянного ощущения уязвленности.

Так и исчезла Подуст с нашего горизонта, а вместо нее у нас появились сразу два начальника отряда — Арапов и Тримаскин. Оба они были совершенно безвредны, пока не имели прямого приказа. Арапов — молодой лейтенант — в Барашеве назывался попросту Витькой, и даже дежурнячки были с ним на «ты». Единственный из наших тюремщиков, он умел делать хоть что-то руками, а именно чинить телевизоры. Даже нашу старую развалину он ухитрялся заставить работать, хоть и ненадолго, но зато периодически. Парень он был откровенный и прямой, врать не любил, и когда при очередном обыске отнял у пани Ядвиги все письма ее родных, на наш вопрос:

— Совесть у вас есть или нет?

Честно сформулировал:

— Совесть поглощается приказом!

Капитан Тримаскин был из тех капитанов, что никогда не станут майорами, — даже для охранника он был слишком туп. У нас он дорабатывал

до пенсии и в первый раз насмешил нас, когда появился в зоне с крашеными сединами. И где он только достал эту рыжую смесь! Врал он легко и естественно, как птичка поет, и ничуть не смущался, когда его на этом ловили. Он, кажется, и не знал, что это — стыдно. Поначалу он пробовал вести с нами дискуссии на разные темы, в порядке воспитательной работы. Но припирять его к стенке и уличать в неграмотности было так легко, что мы от этого скоро отказались — неспортивно. Сам по себе он был настолько смешон и беззлобен, что подшучивать над ним и тем более его обижать у нас было запрещено. Тримаскин был объявлен «сыном полка» и взят под защиту. Даже в заявлениях в прокуратуру мы старались его не упоминать, жалко было.

Начальником участка (мужской и женской политзон) стал у нас Шалин. Сам по себе человек добродушный, он тем не менее делал офицерскую карьеру, а стало быть, должен был идти на все. И шел, сначала сильно смущаясь, а потом на наших глазах постепенно привыкая. Но иногда с ним можно было поговорить как с человеком, и тогда вел он себя по-человечески. Например, про Наташу все понял и честно старался любым чертом отвести от нее карцеры — не хотел брать греха на душу. Даже когда у Наташи сдавали нервы (от болезни и издерганности) и она сама нарывалась. В общем, он был не худшим вариантом тюремщика, и личных конфликтов с ним обычно не было. Интригами и мелочными бытовыми притеснениями эта троица откровенно брезговала, оставляя такие упражнения в удел КГБ. Разве что, когда приходилось нас обыскивать, они снова и снова добросовестно переполовинивали наше имущество — надо же было что-то изъять для отчета! Но по приказу, конечно, ввали.

Но в эти два с половиной месяца мы с Таней были в другом ведомстве на «двойке». Сразу выяснилось, что кроме обычных зэковских возможностей общения между нашей камерой и соседней была роскошная сквозная дырка под нарами. Узкая, с мой

палец. Но соседки сразу наладили с нами переписку, еще пока мы были в ШИЗО. Листы бумаги (им бумага была разрешена, они содержались в ПКТ) сворачивались тонкими трубками. Трубки эти вставлялись одна в другую, а в них запихивался шариковый стержень и записка. Так мы общались через полуметровую стенку, а в день окончания нашей голодовки они пропихнули в дырку несколько бумажных трубок, полных сахару. Притом что сахар в ПКТ выдавался не всем, а только выполнившим накануне норму (дело почти невозможное), да и то по десять граммов, а практически — вдвое меньше, этот сахар они всей камерой собирали для нас не меньше недели. Мы, перейдя на режим ПКТ, а стало быть, обретя право на свою одежду, бумагу и махорку, перегоняли им тем же способом курево. Сами мы не курили, но, зная вечный зэковский дефицит табаку, взяли несколько пачек с собой для таких случаев.

Но главное было не это, а бесценный для обеих сторон обмен информацией. Их интересовало все, чего они не знали. Прочитав мои стихи, они засыпали меня вопросами: кто такой Одиссей? что такое кайнозойская эра? какой такой сад называется Гефсиманским? Пришлось мне попотеть, составляя подробнейший комментарий, а когда дошло до стихов Тютчева, Пушкина, Бродского, Самойлова — короче, всего, что я помнила наизусть, — мы с Таней написали, наверное, целый энциклопедический словарь. А уж объяснять им, что такое законность да права человека, — было не менее объемной работой. Но с какой жадностью они задавали новые и новые вопросы!

Мы, со своей стороны, узнавали все больше про уголовные лагеря. На «двойке» содержались матери с детьми. Кормящих матерей сажать в ШИЗО и ПКТ запрещено законом. Что же делать, когда посадить хочется? Да очень просто — велеть врачу, чтоб диагностировал: у матери нет молока. В этом случае врач имеет право отстранить от кормления, а тогда уж можно и в ШИЗО. И в карцере выли бабы, у которых по груди текло молоко, застуживали себе

молочные железы, а их малыши тем временем плакали в ДМР (Дом матери и ребенка).

Каждый восьмой ребенок там умирал, во время эпидемий — больше. Остальные росли, почти не видя матерей — нет ничего проще, как лишить заключенную права на свидание с ребенком. Как-то их кормили, как-то лечили и воспитывали — матери не имели права в это вмешиваться и контролировать. Двухлетние едва умели сказать пару слов, да и то не все. И наша соседка Юля передавала нам через ту же трубку фотографию своей дочурки:

— Гляньте, девочки, какая славненькая! Правда, не скажешь, что зэковское дитя? Скоро ее в детский дом увезут — здесь после двух держать не положено. А мне еще три месяца ПКТ. Дадут ли хоть поцеловать напоследок? Ну, посмотрели мою Машеньку? Подгоните фотку назад, она у меня одна.

## ГЛАВА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Стояло лето, а значит — обычная в уголовном лагере эпидемия дизентерии. Не избежали ее и мы с Таней, и остальные. В ШИЗО и ПКТ уберечься невозможно: ни еду сама не варишь, ни посуду не моешь, ни от мух не спасешься. И воды мало — не каждый раз руки помоешь. Нальют с утра чайник — и крутись как знаешь. За нас — политических — все же испугались. И нары открыли на целый день, и постель дали, и лечение назначили. Таблетки нам выдавали с утра вместе с пайкой, а с уколами была комедия. Медсестра не могла зайти в камеру! Чтобы открыть дверную решетку, нужно присутствие ДПНК — не бежать же ему вместе с медсестрой на уколы. Поэтому внешнюю дверь отворяла дежурнячка, а медсестра так и колола нас сквозь решетку — смех и грех! В коридоре была полутьма, и бедняга

орудовала почти вслепую. Все же мы были в лучшем положении, чем девчонки в ШИЗО. С ними не цацкались, и они так и лежали покотом на полу. Прошел слух, что в ДМР мрут дети, как никогда раньше. Называли цифры умерших на зоне — все разные, но все больше шестидесяти.

Потом прокатилось известие, что всех матерей, которые арестованы вторично, — отправляют в другой лагерь, «на четырнадцатую», а детей оставляют здесь. Чтобы меньше было шума и воя — берут неожиданно, а с детьми попрощаться не дают. Уже уехали два этапа, скоро третий. Те, кто сидел в ШИЗО и ПКТ, радовались — отсюда на этап не возьмут, а пока они отсидят — может, эта кампания кончится. Были и равнодушные. Лизка из пятой камеры прямо-таки требовала, чтобы ее немедленно везли «на четырнадцатую», раз положено. На ребенка ей было наплевать, а в том лагере сидели ее давние подруги. И те же тюремщики, что безжалостно отрывали женщин от малышей, возмущались отсутствием у Лизки материнских чувств и упрекали ее за это.

У нашей приятельницы Юли появились новые проблемы. В последнее время ею заинтересовался оперативник Учайкин. Вызывал ее на беседы, угощал чаем. Нужно ему было от Юли, чтоб она на него работала, и он вербовал ее в доносчицы безо всякого стеснения. Поскольку чай все же аргумент ненадежный, он нашел другой, поубедительней — та же статья 188-3. Юля сидит в ПКТ. Лагерного срока ей осталось пять месяцев. Значит, она успеет выйти из ПКТ, а там проще простого сострять ей новое нарушение — и добавить пару лет срока. Расчет был тонкий: Юля за лагерный срок успела познакомиться с парнем из ЛПТ (Лечебно-трудового профилактория — так официально называются исправительные лагеря для алкоголиков). Лагерь этот был рядом с «двойкой», через забор. И она со своим Женькой умудрилась встречаться, влюбились друг в друга, родила Юля свою Машеньку и надеялась вскоре выйти на свобо-

ду. Женька освобожден на месяц раньше нее, клялся дождаться, забрать ребенка из детдома и устроить свадьбу. Все эти радужные надежды ставил теперь под удар Учайкин со своей дилеммой. Он обожал потом цитировать Горбачева: «Альтернативы нет».

Юля же доносить органически не была способна. Уж как она плакала — и у Учайкина, и потом в камере! Мы утешали ее как могли, но чем тут утетишь? Разве только слабеньким шансом на то, что не всех, кого вербуют, преследуют в случае неудачи. Им и добровольцев хватает. Но Учайкину, видимо, просто нравилось мучить Юлю. Молодая зареванная женщина, готовая валяться у него в ногах, тешила какие-то его амбиции. После таких «бесед» у нее бывали сердечные приступы, но никаких медикаментов ей категорически не давали. Приходилось передавать ей в трубочке разломленные пополам (для компактности) таблетки валидола. Нам теперь в лекарствах отказу не было, и в данном случае мы без смущения использовали свою привилегированность.

Чем эта история кончилась — так и не знаю. Нас увезли из ПКТ, когда Юле оставалось там еще сидеть больше месяца. Так хочется верить, что выстояла! И в счастливый, несмотря на это, исход! Но реальность — суровая штука.

На второй месяц нашего пребывания на «двойке» КГБ не без оснований заподозрил, что уголовницы помогают нам с нелегальной перепиской. А тут еще дежурнячка увидела в соседней камере тетрадку с моими стихами. Видела-то она через глазок, что там было написано — ей было не разобрать, но девчонки в тот момент что-то из нее читали и произнесли вслух пару строк. Дежурнячка открыла кормушку и потребовала тетрадь. Соседки наши отказались, сообразили, что в камеру ей одной не войти. Пока она бегала за ДПНК — они тетрадь сожгли, чтоб не выдавать меня. А когда минут через десять нагрянули к ним с обыском — без запинки ввали, что списали в тетрадь стихи из библиотечной

книжки, про любовь. А дежурная их испугала: они решили, что раз она тетрадь отбирает — про любовь, может быть, в лагере нельзя. Ну и сожгли с перепугу, теперь сами жалеют и просят прощения. Учайкин аж зубами скрежетал. Но объясняться с нами по этому поводу даже не пытался. Пошел с повальным обыском по всем другим камерам. Девчонки в четвертой, охваченные паникой, бросили в парашу любовную записку, полученную от кого-то из ШИЗО. Так Учайкин, заметив это в глазок, парашу со всем содержимым конфисковал и поволок на экспертизу! Мы умирали со смеху, представляя себе, как он вытаскивает из зловонной жижи размокшие бумажные кусочки и сдает в КГБ. А те складывают из них прямоугольничек с надписью типа: «Люся, люблю тебя больше жизни. Подгони табачку во вторую».

Читатель к этому времени, видимо, уже заметил, что мы что-то многовато смеемся для таких обстоятельств. Но это помогало нам не свихнуться, а свихнуться было от чего. В лагерях есть и настоящие сумасшедшие, а уж психопатию зарабатывают сплошь и рядом. Этим беднягам приходится, пожалуй, хуже всех. Перезнакомившись за три года со всеми завсегдаятами ШИЗО, мы чаще всех там встречали кореянку Ким. Ее саму мы никогда так и не увидели, зато слышали в каждый свой приезд. Ким была сумасшедшая, причем периодически впадала в буйство. Она не выносила, когда на нее смотрели, а в лагере ведь всегда ты у кого-то на глазах. Встретив чей-нибудь взгляд, Ким кидалась в драку — и оказывалась снова в ШИЗО. Это администрации казалось проще, чем лечить ее. Когда Ким вводили из зоны, девчонки в ее отряде облегченно вздыхали — жить вместе с сумасшедшей не сахар, а куда деться. Зато взывали те, кто был в ШИЗО. Сидеть с ней в одной камере никто не хотел, да их не очень спрашивали. Запихивали Ким в первую попавшуюся камеру, и скоро оттуда раздавалось: — Начальница! Она на меня смотрит! Уберите меня отсюда, а то я ей глаза выдеру!

— Дежурнячка уточкой подплывала к кормушке. Уймись, Ким, никуда тебя отсюда не уберут. А вы чего, девки, на нее глядите? Знаете же, что она психованная.

— Да никто на нее не смотрит, начальница, ей мерещится! Уберите ее от нас, вон в восьмой всего шестеро сидят, а нас тут и без нее семь человек!

Из восьмой тут же поднимался крик:

— Ишь какие хитрые! Сами с ней сидите! Она прошлый раз Маньке миской зуб вышибла! Кончалось тем, что Ким лезла в очередную драку. Бывали у нее и молчаливые периоды, когда она сидела на полу и смотрела в стену. Уложить ее на нары в отбой было тогда невозможно, да к ней не очень и приставали, были рады, что хоть на день-другой утихла. Сколько раз мы ни приезжали в ШИЗО — на какой-нибудь двери мелом была написана среди прочих фамилия Ким. Только один раз мы ее не застали и даже забеспокоились:

— Девочки, а где же Ким? Жива ли?

— Жива, жива, вчера только вышла в зону!

...Через три дня ее привели опять. До сих пор мне ночами снится иногда этот дикий крик, голос, по которому уже не разобрать ни пола, ни возраста:

— Начальница! Она на меня смотрит!

Нам с Таней, еле ноги таскающим после голодовки, ШИЗО и дизентерии, сиделось еще сравнительно неплохо. Мы были в камере вдвоем, а в соседних, рассчитанных на четырех человек, сидело иногда по десять-одиннадцать. В ПКТ к нам приходила библиотекарьша-заключенная. Обычно она появлялась с мешком наугад выбранных книг и в каждую камеру совала по две-три книжки на десять дней. Книги были обычно «про любовь» и «про войну», без начала и конца — девчонки драли страницы на курево. Политических она, однако, уважала и в знак уважения даже принимала у нас заказы. Каталога, разумеется, в помине не было, и мы просто писали список авторов. Русские классики XIX века

стояли в библиотеке сравнительно целыми, их-то она нам носила сразу по десять томов. Дежурнячки не возражали.

— Они интеллигентные, пушай читают. Все лучше, чем заявления писать!

Читали, дрессировали мышей. От них все равно спасу не было, так уж надо было развлекаться. Когда нам, единственный раз за два с половиной месяца, позволили купить продукты на два рубля (конфеты и коржики, больше в ларьке ничего не было), мы честно угостили наших хвостатых приятелей, не все ж им зэковским хлебом питаться! Крыс, по счастью, в ШИЗО не водилось, им тут было не прокормиться. Они орудовали в зоне, поближе к кухне.

С Таней было сидеть хорошо. В условиях, где каждый мелкий недостаток характера может стать серьезной проблемой для обеих, — с Таней проблем не было. Сколько мы с ней отсидели в общей сложности вдвоем по камерам — я и сосчитать не берусь. Теперь я ловлю себя иногда на том, что, присматриваясь к новому лицу, думаю: а каково бы с тобой, мил-человек, было бы баланду хлебать? А таскать парашу? А держать голодовки? А как бы ты вел себя перед КГБ? И, как правило, достаточно скоро знаю ответ. Что поделать, жизнь приучила оценивать человека по экстремальным ситуациям. Справедливо это или нет? Кто знает...

В то лето я благополучно дописала свой второй лагерный сборник стихов, и он благополучно ушел к Игорю. Назвала я сборник «Вне лимита»: лимит на переписку в ПКТ — одно письмо в два месяца, да и то через цензуру. Так что озорство моего названия было вполне естественно. Еще я забавляла Таню и себя написанием шуточного «кулинарного руководства» — тема в наших условиях весьма актуальная. «Автору данного произведения никогда не приходилось вести регулярного хозяйства. Автору не приходилось также кормить сколько-нибудь приличных людей сколько-нибудь приличной едой. Вообще, столкновения автора с приличной едой

происходили в основном на почве художественной литературы. Поэтому не вызывает сомнений, что автор глубоко продумал и прочувствовал тему о вкусной и здоровой пище и знает об этом все, что только стоит знать». За этим следовала развеселая чушь на весь объем ученической тетрадки.

Одновременно мы проходили курс зэковских хитростей: как передать записку из любой камеры в любую. Техника была фантастической. В ход шли бумажные трубки, нитки, резинки из трусов, куски мыла и тому подобное. Да простит мне читатель, что я не углубляюсь в детали. Обещаю все как есть рассказать после уничтожения последнего карцера в моей стране.

Соседки, близко знакомые с бытом ЛТП и мужских уголовных лагерей, охотно сообщали нам потрясающие подробности. Некоторым из них я бы не поверила, если бы Игорю не рассказывали то же самое расконвоированные зэки, когда он приезжал в Мордовию. Чего стоила одна только история о том, как проносят в зону запрещенный алкоголь. Наиболее благонадежные уголовники отправляются на дневные работы вне лагеря — поднимать отечественное сельское хозяйство, колоть начальству дрова и мыть посуду, ну и так далее. На ночь они возвращаются в зону. И умудряются иногда пронести через обыск до трех литров спирта. Как? На это разработана целая технология. Берется презерватив и соединяется герметично с тонкой пластиковой трубкой (кембриком). Затем расконвоированный все это хозяйство заглатывает, оставляя наружный конец кембрика во рту. Чтоб его не затянуло внутрь, он крепится в щели между зубами (зэки со всеми тридцатью двумя зубами вряд ли встречаются в природе). Через кембрик с помощью шприца в проглоченный презерватив закачивают эти самые три литра — и зэк идет в зону. Если соединение сделано неловко или презерватив вдруг порвется в зэковском желудке — это верная и мучительная смерть. Тем не менее рискуют и носят — ведь из трех литров спирта получится семь

литров водки! Когда герой является в зону, ожидающие его приятели начинают процесс выкачивания. Зэка подвешивают за ноги к балке в бараке, конец кембрика вынимают наружу и подставляют посудину, пока все не вытечет. Потом вытаскивают пустой презерватив — он свое отслужил. И весь барак гуляет...

Иногда мне казалось, что нормального человеческого мира больше не существует, и я нахожусь в большом сумасшедшем доме. Тогда мы с Таней затевали бесконечные споры о строгом определении — что такое человеческое существо? Определение мы, конечно, так и не нашли — во всяком случае, вызывающего абсолютное «да». Но нам от этих споров становилось все же легче.

## ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Вернувшись под конец августа в зону, мы ахнули: бывший наш изгаженный участок цвел и благоухал. Начатые еще с нашим участием дорожные работы были закончены по всем правилам: тридцать сантиметров щебня, сверху песок. Это, кажется, были единственные во всем лагере дорожки, не превращавшиеся в болото при дождях. Были уже готовы и дворовый камин, и погреб. Нашли выгоду и в глухом заборе — теперь за домом можно было загорать, и никто нас не видел. Каждый комочек земли был разрыхлен, удобрен и полит. По забору вислась фасоль (местная охрана не знала, что это такое, и не обрывала). Под цветами были лихо замаскированы дикий лук и укроп. Подрос клевер, его уже можно было пускать на салаты. Наши подшучивали, что не хватает только бассейна. Дежурнячки, кажется, гордились достижениями зоны больше всех — они еще на вахте начали нам петь, что мы теперь участок не узнаем. А запустив в ворота, забежали вперед, чтоб не пропустить выражение наших лиц. Надеюсь,

что они были удовлетворены. Созидательные способности политичек стали у них легендой и, боюсь, аргументом для уничтожения уголовниц.

— Вон на политзоне — хозяйство! А у вас — только крысы шастают! Непутевые!

Шалин с компанией поначалу старались установить с зоной хорошие отношения, ларька никого не лишали, а пани Лида с пани Ядвигой в один день и час пошли на долгосрочные свидания с родными. Уж на это были теперь самые роскошные цветы, и мы нарезали по большому букету. На нас с Таней обрушилось невиданное изобилие пищи — наши откладывали эти два с половиной месяца все, что могло долго храниться, — «для шизиков». Были и неприятные новости. Прикрылась «швейная лавочка» пани Лиды. Владимирова, будучи в Саранске, наябедничала гебушникам, что дежурнячки у нее шьют всякие мелочи. В доказательство она привезла в Саранск обрезки их форменной ткани, которые потихоньку стащила с машинки. Зачем ей это понадобилось? Ведь выгоды ни на грош! Но кто вообще поймет психологию доносчицы? Дежурнячкам, разумеется, вкатили по выговору, предупредили, чтоб они не вздумали обижать Владимирову за донос, и на строго запретили им шить у пани Лиды. Они с горя поведали всю эту историю нам, но у нас иллюзий насчет Птички и до того не было. В тюрьме КГБ ее к тому же подкачивали наркотиками. Оля и Рая, бывшие с ней в одной камере, рассказывали, что с очередной беседы она пришла, еле держась на ногах. Глаза в разные стороны смотрят, зрачки расширены, лопочет что-то, свою койку найти на может... Ну что с ней такой делать? Выделили ей отдельный кусок земли под грядки, чтоб не путалась под руками, и старались жить максимально от нее обособленно. Так же уходили от слежки, выматывая ее ночным шитьем, так же выдавали ей порцию из бандеролей... Она по-прежнему то липла с разговорами, то устраивала скандалы с истериками... Шалин хладнокровно выслушивал ее матерную брань и угрозы нас всех

«пришибить», но обрывать не пытался, очевидно, это входило в программу.

С нашим приездом в быт зоны вошли повальные обыски — чуть ли не каждый день. Подымали пол, лазили в канализацию, рылись в бумагах... Никогда не находили, что искали, но обыски продолжали с упорством, достойным лучшего применения. Мы же тем временем сообщали все, что происходит в зоне, на свободу, передавали копии заявлений, мои стихи. Тут уж наши бедные тюремщики могли уверовать не только в радиопередатчик, но и в телепатию. Особенно их добило поздравление зоны президенту Рейгану, переизбранному на второй срок. Логика наша была проста: если советское правительство поздравляет вновь избранного президента от имени всего народа — и, стало быть, нас в том числе, — то почему бы нам не сделать это самостоятельно? К чему поручать это дело Черненко? Ну мы и написали вполне дипломатический и доброжелательный текст, поставили подписи — и Рейган получил этот маленький клочок бумаги очень быстро — кажется, на второй день после переизбрания. Если учесть, что мы с Таней — наиболее подозреваемые в переписке со свободой — были тогда в очередном ШИЗО, а вся остальная зона не имела свиданий уже около трех месяцев, что оставалось думать сбитому с толку КГБ? Они с горя понеслись в зону предъявлять претензии по этому поводу — и так мы узнали, что поздравление дошло. Это было забавно. Получалось, что обратную связь нам обеспечивали гебушники, добросовестно и возмущенно информируя нас о наших удачах. Они же мне и сообщили в свое время, что мои стихи публикуются на Западе: мол, вы с нами поговорите, Ирина Борисовна, а мы вам за это покажем ваши книжки... Ну, разговоры с ними разговаривать ради этого мне было ни к чему — что я, своих стихов не видела? А вот за информацию спасибо, пустяк, а приятно.

Так мы и жили, и пока не начались сильные осенние ветра — особых неприятностей не было.

Казалось бы, почему люди, живущие в новом корпусе, должны зависеть от ветра? А очень просто. То и дело рвались электрические провода, и лагерь оставался без энергии. Это означало, что нет света — и неизвестно когда появится, а кроме того, теплую воду в батарее качали нам с больнички электрическим движком. Значит, пока не наладится со светом, не будет и тепла. Вот когда мы вздыхали по оставленным в старой зоне дровяным печкам. Хоть они и были наполовину развалены, а все же что-то давали. Тут мы оказались в полной зависимости от хозяйственных способностей нашей администрации — а нет ничего хуже: способности эти сводились даже не к нулю, а к некой отрицательной величине. Нельзя сказать, что батареи нормально грели, и когда было электричество — угля для кочегарки хронически не хватало. Но на этот случай Арапов приволок нам «козла» — электрический нагреватель, и, таская его из спальни в спальню, мы все же сумели не вымерзнуть окончательно.

Пошла кампания изготовления самодельных свечей: Галя выбивала из санчасти парафин для горячих компрессов на свои больные суставы. Мы крутили нитяные фитили, натягивали их внутри пластиковых трубок (это были шпульки от бобин с нитками — отходы нашего швейного производства) и заливали трубки отработанным парафином. При этих свечах читали, писали письма, передвигались с ними по темной зоне. Галя смеялась:

— И от моей болезни есть какой-то толк!

Когда я говорю об отсутствии каких-то особых неприятностей — это означает обычный быт нашей зоны: месяцами подряд конфискуемые письма, тревога за близких и повторяющиеся изо дня в день усилия, чтоб не скатиться в бесцветную, бесконечную пропасть, которая называется таким коротким словом — тоска. Таня за весь срок получила только два письма от мужа, из пермского лагеря. Гале гораздо чаще, чем письма от Василия, вручали акты о конфискации («письмо подозрительно по содержанию»).

Галя пыталась спорить: ведь письмо ее мужа уже прошло лагерную цензуру в Перми! Что же, для разных цензоров разные правила? Но не было для цензуры вообще никаких правил: хотели — пропускали письмо, хотели — нет. Хотеть им или не хотеть — решалось в КГБ, а нам они ничего объяснять не были обязаны. Напишешь письмо на двадцати листах — и через пару дней акт — «письмо конфисковано как содержащее условности».

— Да нет там никаких условностей!

— А вот мы нашли.

— Ну покажите, какие строчки вам не нравятся, я перепишу письмо без них.

— Вы сами должны знать.

А все дело в том, что КГБ ведет свои психологические этюды, и по их плану Игорь не должен получать сейчас от меня писем вообще. Потом, через несколько месяцев, когда он изведется от тревоги, — к нему подступят с очередной беседой: мол, меня надо спасать, он сам знает, до чего я доведена и какие у меня шансы выжить так семь лет. Так вот, если бы он был с ними откровенен — может быть, можно было бы что-то для меня сделать... Игорь был откровенен — высказывал им, что он по их поводу думает. Но они в таких случаях необидчивы, времени у них много. Сейчас брыкается, может, через годик согласится. А переписка все-таки — взаимное влияние, так уж лучше сводить ее к минимуму. Не слишком ли роскошно — двадцать четыре письма от жены в год!

Иногда письма конфисковывались действительно по подозрению, и тогда цензор снисходила до объяснений. Например, как-то, подшучивая над Игорем, я съехидничала что-то насчет усов и бороды. Так бедная цензорша подумала, что я имею в виду усы и бороду классика марксизма-ленинизма!

Так и объяснила:

— Письмо конфисковано, потому что вы шутите насчет Карла Маркса.

Воистину непостижим ход цензорской мысли. Она и не допускает, что кто-то еще, кроме их дорогих

идеологов, может быть усатый-бородатый! Это недо-  
разумение решилось нетипично легко. Я предъявила  
ей фотографию Игоря, и она хлопнула себя по лбу:

— Ой, правда, я же вам сама эту фотографию  
принесла! Я просто забыла, что ваш муж  
носит бороду!

И письмо было отправлено.

У тех, кого привезли из Прибалтики, были до-  
полнительные проблемы. Они имели право писать  
на родном языке, а это означало, что мордовские  
гебисты ничего не поймут. Как же беднягам это  
пережить? Приставали к нашим:

— Пишите по-русски!

— С какой это стати я своему сыну буду писать  
на чужом языке?

— А чтоб цензор понял!

— Я письмо не цензору пишу. Ищите перевод-  
чика, это ваше дело.

Пригрозили, что письма не по-русски про-  
пускать не будут. Но тут уж оцетинилась вся зона —  
с нас бы случилось пойти на серьезный конфликт.  
Либо отказались бы от переписки все вместе,  
либо забастовали бы... Цензура отступила. Теперь  
она делала так: посылали письма куда-то на перевод,  
а потом уже цензурили. В итоге одно из писем пани  
Ядвиги добиралось до дома больше четырех меся-  
цев, а уж три месяца — было прямо-таки нормой  
бытия.

Те же попытки были насчет разговоров с род-  
ственниками на свидании:

— Или говорите по-русски, или молчите! Пере-  
водчиков у нас нет!

— Хорошо, буду молчать, но с родными по-рус-  
ски говорить не стану, — ответила пани Ядви-  
га. — Объясню, что мне запретили говорить  
на родном языке, и все свидания проведу  
молча.

Тут они сообразили, что это получится уже  
политическая демонстрация с большим резонансом  
в Литве, и махнули рукой:

— Говорите как хотите!

Но свидания были такой редкой вещью, что в ту осень и зиму нам о них думать не приходилось. Было мне положено свидание в начале ноября, но всем было понятно, что лишат: 30 октября — День политзаключенных, и значит, голодовка, и значит — свидание свое я проведу в штрафном изоляторе.

Так оно и вышло. Но у меня это уже не вызвало особых огорчений. Слишком хорошо я поняла с прошлого раза, как опасно, когда что-либо в лагерных условиях становится сверхценностью: уж очень легко слететь со всех тормозов. Лагле формулировала свою позицию так:

— Надо жить, зная, что свиданий вообще не будет. Захотят дать — дадут, а нет — переживем. Меньше всего это зависит от нашего поведения, так стоит ли хоть как-нибудь стараться на этот предмет?

Это было очень правильно, и это стало философией зоны. Любые лишения чего угодно мы встречали с шутками. Соответствующие постановления, которые приносил Шалин, назывались у нас «пряниками».

Протесты шли своим порядком, но души при этом были избавлены от суеты. Мы могли объявить голодовку или забастовку, но — с улыбкой. И с улыбкой же отправлялись в карцеры.

## ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

Накануне 30 октября нас с Таней неожиданно взяли на этап. Куда — не сказали. Заверили только, что не в ШИЗО. Наши не знали, что и думать. Пани Ядвига даже в порыве оптимизма предположила, что нас вывозят за границу менять на шпионов или какого-нибудь очередного Луиса

<sup>63</sup> Корвалана<sup>63</sup>. Однако это казалось уж слишком далеко идущим предположением, да и обмениваться на шпионов у нас обеих не было никакого желания. Сидя в лагере, мы приносили все же пользу — хотя бы тем, что экспериментально доказывали: вполне возможно все выдержать и не сойти со своих позиций. Даже женщинам. А если могут женщины — стыдно должно быть тем мужчинам, которые трусят. А если уж мужчины нашей страны перестанут трусить — жизнь, пожалуй, изменится так, что никому и не снилось. Знали, однако, что никого не спрашивают, хочет он или не хочет быть предметом размена. Но предполагали скорее, что это будет очередное «перевоспитание». Скверно: сутки голодовки в этапе для нас уже были серьезной физической нагрузкой. Напихали нам в мешки бульонных кубиков, переkreстили — по-католически и по-православному, в обе стороны. На вахте нас почти не обыскивали — чудеса!

Так мы и не знали, куда едем, пока не выгрузили нас на пересыльной тюрьме в Потьме. Запили в «камеру для освобождающихся госпреступников» (такая табличка была на двери). И, ничего не сообщая, оставили сидеть. Камера крошечная. Две железные койки одна над другой, параша и тумбочка, все спрессовано так, что не развернуться. Постель, однако, есть, и даже с одеялом. Живем! Но за каким же лешим нас сюда привезли? И куда повезут дальше (это ведь только пересылка)? Как бы то ни было, а валяемся на койках и отдыхаем. До чего же мы, оказывается, устали!

Наутро чин чином пишем заявления про однодневную голодовку (с кратким экскурсом — что такое День политзаключенных) и возвращаем завтрак. Через час появляется местный офицер, молодой парень.

<sup>63</sup> Корвалан Луис (1916—2010) — чилийский политик, Генеральный секретарь Коммунистической партии Чили. В 1973 году, после военного переворота Аугусто Пиночета, был арестован. В 1976 году состоялся обмен Корвалана на известного советского политзаключенного, диссидента Владимира Буковского. Корвалан был отправлен в Москву, Буковский выехал в Цюрих.

— И охота вам, женщины, голодать! Что вам здесь, плохо?

Объясняем ему все по этому поводу: и про традиции узников совести, и про позицию нашей зоны.

— И вы думаете этим что-то изменить? Да я понимаю, что кругом творится, у меня у самого это в печенках сидит! И все это знают, а что можно сделать?

Ну ладно, побеседовали еще и на эту тему.

Парень демонстрирует понимание:

— Раз уж вам надо писать заявления о голодовке — пишите. А голодать-то зачем? Ведь никто ж не узнает. Я вот вам сахару принес, тушенки, хлебушка белого...

Отказываемся от всего этого богатства и опять добросовестно объясняем... Ох, сколько таких объяснений было у нас за эти годы! Офицер уходит и через пару часов возвращается с молодым ээком.

— Вот, женщины, я вам хлопца привел. Я его тут — хотите? — оставлю на пару часиков, позабавитесь. А вот вам и угощение, чтоб веселее было!

Да-да, читатель, предложение более чем недвусмысленное! Понимаю сама, до чего это дико звучит, и написать бы об этом вряд ли рискнула — настолько неправдоподобно. Но есть у меня живой свидетель — Таня Осипова, теперь живущая в Нью-Йорке, а тогда сидевшая рядом со мной на нижней койке, так же, как я, отвесив челюсть.

Деликатно отказались.

— Что, хлопец не нравится? Так я другого приведу!

Очень вежливо объясняем, что хлопец замечательный (зачем было смущать молодого человека!), но у нас такие моральные принципы. И опять, конечно:

— Что, верующие?

— Верующие, верующие!

Таня верующей себя не считала, но тут уж было не до долгих дискуссий. Выпроводили посетитель и свалились на койку в приступе хохота. Это ж надо выдумать! Интересно, как они это себе практически представляли? Отсмеявшись и придя в себя, замечаем, что в камере заметно похолодало. До сих пор не знаю, случайно или нет — но отопление в тот день не работало. А на дворе уже выписывал вензеля первый снежок. Также до сих пор, вспоминая эту историю, мы с Таней не пришли к однозначному выводу — хотел ли этот офицерик нас соблазнить всеми возможными зэковскими благами, чтоб мы отказались от голодовки? Или устроил это все по доброте душевной, чтобы сделать нам приятное, как он это себе представлял? Кто знает? Темна вода во облацех...

Эта однодневная голодовка для меня почему-то была тяжелее всех ей подобных. Все мне казалось, что сердце вот-вот остановится. Я лежала на койке тихо, как мышь, и старательно дышала. Таня была бодрее, но основательно перепугалась за меня: ведь сколько уже голодали, и не по одним суткам, а до сих пор такого со мной не было. Так или иначе, а промерзнув до позвоночника, дотянули мы до утра. Развели в кружке кипятка бульонный кубик, съели по корке хлеба... Тут за нами явились и повели нас в камеру для освобождающихся уголовниц — умыться перед дорогой. Куда дорога, естественно, не сказали.

Пустая комната на двадцать-двадцать пять коек. Даже не очень похожа на камеру. На двери, конечно, замок, на окне решетка, но в стену вмуровано большое зеркало, есть утюг и гладильная доска. Туалет, умывальник... Необычно чисто для тюрьмы. И почему же та комната показалась мне чуть ли не самым жутким из виденных мною мест? Потому ли, что через нее прошли тысячи отбывших срок женщин? Их свозили сюда, на Потьму, изо всех лагерей, держали до юридического конца срока — и в шесть утра в положенный день выпускали со справкой

об освобождении и с направлением на место жительства. Что они думали в последнюю свою тюремную ночь? Многим ли было куда возвращаться, ждал ли их кто-нибудь? Я уже знала, что в дни освобождений под тюрьмой стоят местные бабки с самогоном и продают втридорога, чтоб было чем немедленно отпраздновать. И многие, напившись, даже не успевают с Потьмы уехать, а уже попадаются милиции. А другие доезжают до первого вокзала — и крадут первое подвернувшееся, просто по рефлексу. И зарабатывают новый срок. А третьи, не имеющие дома, направлены на заводы и стройки необъятной нашей страны, и жить им назначено в общежитиях по десять-пятнадцать человек в комнате. Ни одной остаться, ни в себя прийти, ни тем более завести семью. И, не выдержав такой жизни, пускаются они на поиски более «красивой», и опять едут через ту же Потьму в новый лагерь, на новый срок... А которых дома ждет семья, самых счастливых и удачливых, — как встретит прежняя жизнь? Усталые, озлобленные, с исковерканной психикой, с клеймом «сидевшей» — смогут ли они снова встать на ноги?

Сколько лиц отражалось в этом зеркале до наших вытянутых физиономий? Сколько слежавшихся за годы на складе платиц перегладил этот уют? Сколько снов принимали в себя эти затасканные подушки? И — может быть — сколько слез?

Кому не приходилось утешать плачущую женщину:

— Ну что ты, глупенькая, все ведь уже позади!

А потому и плачет, что позади. Это выходят прежний ужас и прежняя усталость. Оставьте ее, пусть плачет. Глядишь — и легче станет.

Нет, не радостью был пропитан воздух этой комнаты, и мы поскорей отвернулись от того зеркала.

Погрузили нас в очередной столыпинский вагон — и с Богом! Куда? Мы теряемся в догадках. И как же расхохотались, когда через пару часов нас вывели на платформу Барашево! Выходит, вся эта комедия была затеяна, чтобы на день голодовки убрать нас из зоны! Видимо, КГБ считал нас «зачинщица-

ми» и надеялся, что без нас зона голодать не станет. Голодали, конечно, а теперь со смехом встречали нас и делились впечатлениями. Им вчера внушали, что мы-то с Таней о голодовке и не помышляем, и ставили нас в пример. Ох, какие дешевки!

Вечером я мирно мыла голову, пользуясь наличием электричества. Так ко мне, намыленной, и ввалились дежурнячки:

— Ратушинская! Где вы запропали? Пятнадцать суток ШИЗО за голодовку, пятнадцать минут на сборы!

Сполоснуться я все-таки успела и так с мокрой головой и полезла в обледеневшую машину. Тане дали те же пятнадцать суток, остальных решили пока не сажать. Кого лишили ларька, кого свидания — и клятвенно пообещали, что в случае голодовки 10 декабря отправят в ШИЗО всю команду.

Вот опять наша знакомая камера, вот мышка Машка высунула острый нос из дырки в плитусе, вот стучат по трубе и здороваются соседи.

Раздели нас вполне добросовестно — балахон на голое тело. А мне что-то совсем плохо. Наверное, простыла. Лежу на отопительной трубе, но без толку — проклятые трубы опять холодные. Дальше был бред, и все в этом бреде меня затягивало в бесформенное пятно на стене, а я цеплялась за трубу. Таня через сутки или двое — не помню — доскандалилась до врача, мне измерили температуру, ахнули и выдали телогрейку. Из всех событий первых десяти дней помню только Таню, висящую на оконной решетке и замазывающую мокрым пайковым хлебом оконные щели. Для нас холод тогда был опаснее голода. Таня занималась этим делом два дня, и весь наш двухдневный паек ушел в щели. Как у нее сил хватило — не понимаю. Потом, больше года спустя, в ПКТ я делала то же самое (только тогда мы уже требовали с администрации оконную замазку) и оценила, что это значит — висеть, цепляясь одной рукой, а вторую с трудом пропихивать в квадратики решетки и дотягиваться до подлой

щели! Рука иногда застревала, и приходилось покрутиться несколько минут, чтобы вытащить ее из очередной ячейки. У меня потом неделю сходили синяки и ссадины с кисти. Не знаю, что было бы со мной в том ШИЗО, если бы не Таня рядом. Через неделю починили нам отопление. Оказалось, просто в трубах был воздушный пузырь. Всего-то надо было привести в камеру слесаря на пятнадцать минут, чтоб отвинтил крантик и выпустил сжатый воздух пополам с ведром грязной воды. Ну а неделя ушла на испрашивание в КГБ разрешения на такой ответственный шаг привести слесаря в камеру особо опасных государственных преступниц. Тем не менее мы остаток срока провели на относительно теплых трубах; я добросовестно глотала назначенные таблетки — и в последние дни пришла в себя. Разумеется, телогрейку с меня немедленно содрали, и когда в последний, кажется, день ШИЗО повели на «беседу» к кагебешнику Тюрину, я представляла собой нетривиальное зрелище. Балахон мне выдали мало того что с бальным декольте, так еще разорванный на груди. При каждом шаге он спадал то с одного плеча, то с другого. Булавок, ниток и иголок в ШИЗО не полагается, скрепить все это хозяйство было нечем. Дежурнячка, выводя меня из камеры, только головой покачала:

64 — Ишь Зоя Космодемьянская<sup>64</sup>!

Смутится гебист моим видом или нет — мне было искренне наплевать. Если он ожидал, что я буду смущаться, то напрасно, я была подготовлена и не к такому благодаря солженицынскому «Архипелагу». Отмолчала свое, пока он привычно ныл про то, что КГБ только хочет мне добра, да вот я упрямяюсь, — и вернулась к Тане. Ее почему-то в тот раз не дергали. Наверное, считали, что из-за болезни я слабее.

64 Космодемьянская Зоя (1923—1941) — московская школьница, боец диверсионно-разведывательного батальона Западного фронта, Герой Советского Союза. В ноябре 1941 г. заброшена в немецкий тыл, во время выполнения задания была схвачена и замучена фашистами. Стала символом героизма и стойкости советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Свидания меня лишили за то, что я такого-то числа в такое-то время переговаривалась по трубе с соседней камерой. Конечно, общались с соседями мы всю, но фокус был в том, что этого-то числа я была весь день без сознания и переговариваться не могла даже с Таней. Но это уже мелкие формальности, и прокуратура не стала вникать в дело. Какая разница, за что лишать, был бы приказ. Когда Таниному мужу надо было добавить пятнадцать суток ШИЗО, то выписали эти сутки «за две минуты разговора с сокамерником после отбоя». И сокамернику — «для справедливости» — те же пятнадцать суток. Почему бы и нет?

В то ШИЗО нас позабавили уголовницы рассказом про своеобразный спорт перед освобождением. Они всей зоной дружно ненавидели начальницу по режиму Рыжову, и было за что. У нее, помимо вымогания взяток и прочих милых качеств, была непонятная страсть к женским трусикам. В ШИЗО ли, в зоне ли она прямо-таки обожала задрать заключенной юбку и проверить, не надела ли та, спасаясь от холода, лишнюю пару штанов. И если находила — сладострастно сдирала. Девчонки, скрежеща зубами, терпели до конца срока — но накануне освобождения отводили душу: материли Рыжову перед всем строем. А что им теперь сделают? Даже в ШИЗО уже не посадят — на Потьму везти пора! Администрация занялась профилактикой — за две недели до освобождения находили предлог и сажали в ШИЗО, чтобы предотвратить скандальную ситуацию. Но раз все равно посадят — материли теперь Рыжову за две недели и шли в карцер за это. В восьмой камере, напротив, сидели как раз две такие — Люба и Катя, от них-то мы и услышали про эту их традицию. Теперь они дословно цитировали, что напоследок сказанули Рыжовой, а все камеры веселились, разрабатывая варианты, что когда-то скажут они.

Вернулись мы в зону, и опять пошла наша обычная жизнь. У всех нас образовалась специализация. Пани Ядвига была спец по лечебным травмам

и медицинским советам; Раечка — по грядкам; Наташа — по всяким ремонтам: уютю ли, обогреватель или что угодно в этом роде; пани Лида — по шитью; Таня — по юридическим вопросам; Оля и Галя — по стирке (мы исхитрились в ту зиму выбить из администрации старую стиральную машину, и обращаться с ней было непросто); я — по вышивке и парикмахерскому делу; Лагле — по дизайну и «строительным» работам. Работали мы тогда мало — опять из-за электричества. Василий Петрович, в отличие от дикарей на «двойке», отнюдь не требовал, чтобы мы крутили колеса руками. Его, наверное, оскорбила бы сама идея такого обращения с электрической машинкой.

Уже не надеясь наладить регулярную переписку, я провела эксперимент: откопала в «Иностранной литературе» текст последнего письма из концлагеря французского поэта Роберта Десноса<sup>65</sup>. Его замучили во Флоссенбюрге, он несколько месяцев не дотянул до конца войны. Это его письмо жене фашистская цензура пропустила. Было интересно, пропустит ли наша. Для того чтобы дать КГБ фору, я переписала не все письмо, только обращение и последнюю фразу: «Целую тебя столько раз, сколько позволит цензура, которая будет читать это письмо». И послала Игорю. Конфисковали, конечно, хоть все послание состояло из трех строчек. Зона долго смеялась.

10 декабря нас отправили в ШИЗО действительно всей компанией, включая наших пани. Всех, кроме Оли. Ее всего лишь лишили ларька. Почему? Да это тоже был интриганский ход, чтобы мы заподозрили Олю в «заслугах» перед КГБ. Эдита и Владимирова в голодовке не принимали участия, Рая голодала неофициально — с ними было все ясно. А вот забить клин между нами и Олей было для наших «воспитателей» очень соблазнительно. В силу особенностей характеров отношения время от времени натягива-

<sup>65</sup> Робер Деснос (1900—1945) — французский поэт, писатель, журналист. В годы Второй мировой войны участник французского Движения Сопротивления. В 1944 году был арестован гестапо, прошел несколько концлагерей. Умер от тифа после освобождения из лагеря Терезин (Чехия).

лись по разным причинам. Так эти идиоты думали, что таким ходом они доведут нас до серьезного конфликта! Мы, конечно, все понимали и, уезжая, успокаивали Олю как могли, понимали, что ей в этой ситуации хуже всех. Оля и не подумала смириться с такой раскладкой. Она в тот же день объявила голодовку — пусть или ее посадят вместе со всеми, или выпустят хотя бы наших пенсионеров. На следующий день ее лишили свидания. Еще через четыре дня — привезли к нам в ШИЗО. В конечном счете ей-таки досталось больше всех — нас хоть ларьков и свиданий не лишили. Но поскольку отоваривались мы все равно вместе, а ехать на свидание к Оле было некому (муж сидел, а родители были больны), она только посмеивалась. Этой голодовкой она раз и навсегда отбила у КГБ охоту к интригам такого рода.

Гвоздем программы этого ШИЗО была борьба администрации с религиозными песнопениями.

Галя и пани Лида давно уже приспособились петь на два голоса псалмы и гимны. Выходило у них очень слаженно, а в камере ШИЗО — чем и заниматься, как не славить Господа. И режимники, никак не протестовавшие против песенок уголовниц, включая нецензурные частушки, на этот раз взбеленились:

— Прекратить!

Пошли угрозы, запреты. Но не на тех напали. Пани Лида и Галя ничего не имели против того, чтобы пострадать за пение псалмов. Мы, безголосые, конечно, ввязались в дискуссию.

— Что вам, собственно, не нравится — сам факт пения или религиозное содержание?

Не нравилось, очевидно, последнее. Пой наши женщины какую-нибудь эстрадную чушь — им бы никто слова не сказал. Но признайся этим политичкам открыто, что запрещено петь именно про Бога, — не будут ли через неделю об этом передавать по зарубежному радио? И пошли разговоры о том, что заключенным вообще петь не положено иначе как в порядке художественной самодеятельности.

- Хорошо, мы организуем ансамбль религиозных песнопений. Считайте, что он существует с этой минуты.
- Самодеятельность может быть организована только начальством лагеря!
- А почему тогда называется — самодеятельность?
- Много разговариваете, женщины!  
Неотразимый аргумент, конечно. Да и правда — что с ними разговаривать, лучше петь. Ну пусть попробуют хоть какую-нибудь расправу учинить над нашими поющими! Честное слово, хоть и нет музыкальных способностей — мы все б тогда запели! Расправ, однако, не было, пригрозили, а к действиям перейти не решились. Так и звучали гимны в гулком коридоре, и уголовницы, попривыкнув к необычным словам, приладились подпевать.

Возвращались мы с Лагле и Таней в зону в самый вечер Рождества. Галя, обе пани и Наташа были уже дома — им дали меньшие сроки. Оля еще оставалась. На прощание мы сняли с себя и надели на нее все стаченные из наших собственных вещей рейтузы и футболки, подмотали все полотенца. Она с трудом поворачивалась, но снаружи заметно не было — у Оли в то время были все ребра наружу. Мы смеялись:

- Пар костей не ломит!

Расцеловались на прощание, и вот машина уже катит по рождественскому снежку. По дороге она, конечно, сломалась, и наши охранники с час ее, чертыхаясь, пытались завести, а мы стучали зубами в железной коробке. Но все же добрались, а с ужином нас ждали.

И вот звучит «Отче наш» — по-литовски, по-латышски, и по-русски, и по-украински, хотя православное Рождество у нас еще впереди. Пани Ядвига ломает освященную в Литве облатку — на всех. Эту тоненькую, как бумага, пластинку ей прислали родные в конверте. Цензорша пропустила: то ли не знала, что это такое, то ли не стала препятствовать без прямого указа. «Тихая ночь, святая

ночь», — поют Галя и пани Лида на двух языках. И мы, каких бы разных убеждений ни были, не сомневаемся, что Бог видит нас всех в эту минуту. Еще звучит молитва за Олю, чтоб ей там было сейчас легче одной. Чтоб не мерзла, чтоб не грустила.

Ужин наши хозяйки приготовили просто потрясающий. Мы только ахаем: знаем ведь, что почти из ничего! А под Новый год пели колядки (это уже Оля была специалистом) и засевали по славянскому обычаю:

«Сейся, родися, рожь и пшеница, на счастье и здоровье, на новый год...»

Только вместо пшеничных зерен были у нас хлебные крошки... А елочка была хоть и маленькая, но настоящая — мастер привез вместе с очередной партией кроя. Мы ее украсили как могли.

## ГЛАВА СОРОКОВАЯ

Стоял уже январь, и подступали крещенские морозы. Таня, Оля и я решили отметить Крещение по всем народным обычаям. Спокон веку и в России, и на Украине принято было в этот праздник обливаться водой на морозе или окунуться в прорубь. По старому поверью, ничего, кроме здоровья, обливание в такой день не приносит, и бояться простуды не надо. Наши старшие, узнав о таком намерении, только головами качают. Но всерьез не отговаривают: если душа требует, стоит ли спорить? Иногда минута радости важнее всех медицинских перестраховок. Кроме того, Татьяна Михайловна, хоть в матери нам годится, тоже обливалась в Крещение из колодца в зоне — и ничего. А простуд нам и так хватает: уже и Оля съездила в карцер, и мы не вылезаем...

Колодца в нашей новой зоне нет, но это нас не смущает. После отбоя, когда все ложатся, мы выносим на дорожку ведра и корыто с водой и устанавливаем их между сугробов. Мороз нештучный,

но звезды такие ясные, и нам так весело в эту ночь! Выносим маленький биметаллический термометр, который ухитрился передать мне Игорь. Ого! Минус двадцать пять! Но в наши шальные головы уже бьет молодое хмельное озорство — ничего с нами не случится в такую ночь! И не увидит никто — ведь глухой забор! По нашей затее, следует раздеться догола, пробежать по снежку до воды, опрокинуть на себя пару ведер — и в дом, обтираться и греться. Первой бежит Таня. Возвращается мокрая и смеющаяся. Батюшки, и волосы намочила!

Потом бегу я. Снег обжигает босые ноги, звезды посмеиваются над моими худыми ребрами, а во мне скачет веселье маленькой огненной шутихой. Вот и ведра. Вода кажется совсем теплой. Чтобы не налить на дорожку (мне же завтра лед скалывать), прыгаю в сугроб и обливаюсь там. Мгновенный ожог, и потом уже не холодно. Бегу в дом. По дороге не удерживаюсь и часть тропинки прохожу лихим вальсом. Таня накидывает мне на плечи полотенце. В эту ночь нам не нужно поводов для смеха.

Оля бежит и надолго пропадает. Потом неожиданно что-то белое, тонкое стучит в темное кухонное окно. Оказывается, она не может найти воду (ведра ставили мы с Таней): по ошибке побежала не на ту дорожку. И теперь в форточку спрашивает — где? Таня дает ей точные ориентиры, и через минуту Оля уже в доме, мокрая и — глазам своим не верим! — с румянцем. Насухо растершись, во всем чистом, завариваем чай. Сердобольная золушка щедро отсыпала нам заварки на ночь: «Чтоб согрелись, сумасшедшие, после вашего обливания!»

Что мы тогда болтали, над чем хохотали — не помню, хоть убей! Потом сообразили, что на Крещение следует гадать: наводить зеркало в зеркало, лить воск, жечь бумагу, смотреть, на что будет похожа тень.

Раз в крещенский вечерок  
Девушки гадали:

За ворота башмачок,  
Сняв с ноги, бросали...

Мы, конечно, солидные замужние дамы, да и вместо башмачков у нас солдатские кирзовые сапоги. Но будьте уверены, что все три наши сапога летят с крыльца через минуту после того, как нас осенила эта идея. Ну-ка, старенький атлас, покажи хоть приблизительно, куда носами легли наши «башмачки»? Олин сапог показывает на Украину, Танин — куда-то на восток (может, в ссылку? У нее этой весной — конец срока), мой — явно в сторону поселка Явас, где лагерь «двойка» и ШИЗО-ПКТ. Что никак не ослабляет нашего веселья. Потом по очереди, в темной комнате, при двух свечах (как положено!) наводим одно облезлое зеркало в другое и всматриваемся в образующийся мутный коридор:

Суженый-ряженный,  
приди ко мне ужинать!

Мне кажется, что в конце коридора я видела какой-то светлый всплеск. Но может быть, только кажется?..

Нет-нет, мы вовсе не были сумасшедшими в ту крещенскую ночь! Просто молодые... И как по писаному, ничего с нами не случилось, даже насморка. Вот только сапожки наши показали вернее, чем хотелось бы. Оля действительно поехала в следующую осень на Украину и обратно спецэтапом КГБ. Умер ее отец, и ей позволили пойти на могилу и дали свидание с измученной горем мамой. Тане по окончании пяти лет лагеря добавили еще два — за голодовки (сработала статья 188-3)! И увезли на восток, в уголовный лагерь Ишимбай. Мне же предстояли в этот год три «гастроли» в ШИЗО, а следующий, 86-й, я встречала в одиночке ПКТ. Мой «суженый-ряженный» в это время распечатывал мои стихи для самиздата, передавал на Запад «Хронику Малой зоны», писал

обращения к парламентам европейских стран. Дрался на улице с гебешниками — на Украине принято «перевоспитывать» диссидентов элементарным избиением. Сбил с ног троих и ушел: карате пригодились. Под одеждой у него был спрятан очередной сборник моих стихов, только полученный и существующий пока в единственном экземпляре. Если задержали бы — обыскали б и отняли. Ему было за что драться. А нам было за что голодать и сидеть по карцерам. Потом, через годы, нас с Игорем спросят в одном английском доме:

- Где ваша присяга? В чем?  
И мы ответим:  
— Права человека.

## ГЛАВА СОРОК ПЕРВАЯ

Снова заносило снегом нашу зону, снова не было писем. Но мы знали, что о нас помнят — в нашей стране и за границей. Только советским подданным помнить о нас было опаснее. Тем более — пытаться помочь.

<sup>66</sup> Через пару недель после моего ареста приехала в Киев Елена Санникова<sup>66</sup>. Сама поэт, она впервые прочла тогда мои стихи. Мы с ней были одного поколения, и традиции русской литературы понимали одинаково. А эти традиции обязывают к определенной линии поведения — на наше горе и на наше счастье. Нет-нет, даже и получив год лагеря и четыре ссылки, Елена не жалела, что подписывала заявления в мою защиту, говорила о моих стихах с иностранными корреспондентами, впечатывала эти стихи и мою биографию в тот самиздатский сборник, который ей потом вменяли в вину на суде.

Следствие и суд заняли больше десяти месяцев. По приговору Елена могла оказаться только

<sup>66</sup> Санникова Елена Никитична (1959) — правозащитник, поэт, публицист. В 1984 году по обвинению в антисоветской агитации была арестована и приговорена к 1 году лишения свободы и 4 годам ссылки, которую отбывала в Томской области.

в нашей зоне. Досидеть у нас пару месяцев до конца своего года, а потом поехать в ссылку — со всей информацией о том, что у нас происходит. Ну могли ли кагебешники это допустить? Как угодно, но им надо было где-то продержаться ее оставшееся время. Елена же рвалась в зону: мол, закон есть закон, там мое место! Дальше пусть рассказывает сама Елена, я только цитирую ее письмо:

«После суда с напряжением стала ждать этапа и зоны, и очень беспокоилась, что не успею к вам попасть. Мне лгали, что на этап возьмут со дня на день, но, как стало ясно потом, тянули умышленно. Сначала приговор мучительно долго не вступал в законную силу. Месяц с небольшим прошел, пока принесли наконец бумажку. Потом — бесконечное ожидание, я впервые чувствовала себя по-настоящему в неволе — казалось, дар внутренней свободы утратила напрочь. Только когда стала в день по две жалобы писать — взяли наконец на этап. И — десять дней продержали в Потьме на пересылке. Когда сидела наконец в Барашеве на вахте — едва верилось, что я уже в зоне. Но каков же был шок, когда меня привели в больничный корпус и заперли одну в так называемой палате. Я совсем забыла, что существует карантин!»

Читатель уже догадывается, что карантин этот сочинили специально для случая Елены. Никого из нас перед зоной в карантине не держали, хотя вообще такая формальность существует. Но не стану более перебивать хорошего человека.

«Когда на 9-й или 10-й день сняли наконец замок с бокса, где меня держали, и я получила в распоряжение (впервые за одиннадцать месяцев) клочок пространства больше камеры — я долгие часы проводила в хождении вдоль корпуса, стояла на крылечке в сумерках, смотрела, не отводя глаза, на Малую зону, на эти два забора и сетку... Оттуда видны были огни в ваших окошках, и я видела, как они зажигались, смотрела, не отрываясь... И если б вы знали, как мне хотелось

в тот момент быть там, с вами, как много я бы за это отдала...

Самым тяжелым за год заключения мне казалась оторванность полная от живых и нормальных людей и необходимость общения с людьми не только чужими по всему, но и — изуродованными... В Лефортове — эти кошмарные взяточницы да эти человекоподобные существа, в лагере — уголовницы (что гораздо легче лефортовского окружения, но тоже — не сахар). Плохо еще, что привыкаешь к этому трудно, принимаешь все слишком близко к сердцу. Думалось порой в усталости полнейшей: и когда же наконец увижу хоть одного человека с неизуродованной душой, с неискверканными, не перевернутыми вверх дном понятиями, мыслями, поступками...

Шалин с первой же встречи мне врал, что в Малую зону меня переведут со дня на день. И так как мне очень этого хотелось, я верила ему как идиотка. Только на третью неделю стала уже приходиться в ужас оттого, что уеду, даже не получив никакой информации о ваших делах.

Обстановка была нервная до посещения. Во-первых, неизвестность, переведут или не переведут к вам, и ожидание. Во-вторых, ложь Шалина абсолютно обо всем, о чем я ни спрашивала. Спросила о переписке и свидании — он сказал, что возможность эту получу через несколько дней, когда переведут в зону. А дней десять спустя сказал как ни в чем не бывало, что для этого вовсе не обязательно ждать перевода в зону и что вечером же ко мне придет цензор за письмом. Цензор, конечно же, не зашла ни вечером, ни на следующий, ни через день. И когда я, потеряв терпение и не обращая внимания на ругань дубачек, подошла с утра к почтовому ящику возле столовой, стала цензора ждать и через час с лишним дождалась — она удивленно мне сказала, что никто ей ничего не говорил и она первый раз обо мне слышит. Я отдала ей письмо, которое, конечно же, до мамы не дошло (хоть

Шалин дал мне слово, что его отправили). И так — во всем.

Еще — очень тяжелое было окружение. Через неделю ко мне подсадили девчонку с «двойки» по фамилии Тихомирова, по кличке Тишка — существо совершенно изломанное и больное, очень нервное и с определенной патологией. Теряюсь в жутких догадках — с какой же целью ее заперли в одном со мной помещении? Ее постоянное присутствие было, конечно, тяжелой нагрузкой. Она все время говорила о своей расположенности к политичкам, рвалась (но только на словах) чем-то и как-то мне помочь (только непонятно, чем и как), рассказывала, что знает Вас и Таню, т. к. сидели в соседних камерах ШИЗО, отдельные эпизоды рассказывала — как Таню насильственно кормили, как она отказалась надеть выдаваемое в ШИЗО платье — и т. д. Все очень правдоподобно. Меня все уверяли, что она ко мне подсажена для стукачества. Так ли это, трудно сказать, но на «больничке» она была не по болезни и, как я узнала в ШИЗО, вернулась на вторую зону в следующий же день после того, как меня увезли с третьей. Она без конца пыталась помочь мне передать вам в зону продукты, клялась, что обязательно сделает это, и я оставила ей всю свою передачу и бандероль, хоть мало надеялась, что она это выполнит.

Невыносимой психической давкой было то, что на каждого человека, с кем приходилось там говорить, окружающие тут же начинали шептывать, что это стукач: в моем присутствии Тишка истерично обвиняла Костенецкую, что та стучит на меня и работает на спецчасть, а Костенецкая в ответ обвиняла ее в том же. Зато обе сходились на том, что уж Ващенко точно на оперчасть работает. Это было что-то невыносимое!»

О, как я узнаю — и Шалина, разучившегося к тому времени краснеть, и Тишку — нашу старую знакомую по ШИЗО (действительно, к Елене ее подсадили не случайно), и то, что Елена деликатно

именует «определенной патологией», лесбийские домогательства, и общий стиль поведения уголовной «больнички»! Чтобы преодолеть естественную первоначальную брезгливость и начать жалеть и понимать — нужно время. У Елены его не было, но в письме ее уже пробивается жалость, и я рада, что Елена это успела почувствовать. А что маленький наш домик, наш свет в окне казался ей недостижимым счастьем — так и я была счастлива, когда после следствия и этапа дорвалась до зоны. Пусть трудно, пусть голодно — но быть среди своих!

Елена к нам так и не попала. Однако сделала героическую попытку прорваться к окну бани, когда нас туда выводили. О, на минуту только, договориться, что вечером она подойдет к нашему забору — в определенное время. А мы чтоб ждали с другой стороны, тогда удастся поговорить.

Одна такая встреча через забор состоялась, и Таня рассказала ей обо всех наших последних событиях. Наспех, конечно. К следующей встрече мы подготовили всю информацию на крошечном листке бумаги, но до забора в тот раз Елена не дошла. Ее перехватили и заперли, а дальше уж не нужно было соображать, где ей провести остаток лагерного года. В ШИЗО, конечно, — «за попытку общения с Малой зоной», той самой, где ей положено было находиться уже месяц назад. В ШИЗО Елена заработала плеврит, и с плевритом этим ее отправили на этап. В ссылку, в Сибирь.

Освободившись, я говорила с ней по телефону. Рвалось сердце — вот я дома, только потому, что вытащили всем миром. А она в ссылке — за то, что была одной из тех, кто вытаскивал. Конечно, не только за это ей дали срок, была и самиздатская «Хроника текущих событий», и правозащитная деятельность. Но история со мной тоже сыграла роль: что же это будет, если русские поэты позволят себе заступаться друг за друга?

А американцы тем временем наивно спрашивали советских членов Союза писателей:

— Что ж вы молчите, когда ваши коллеги сидят? Потому и молчали, что знали: пикни — и будет то, что с Еленой. А ее смелости на них не хватало. Официальные писатели живут безбедно, им есть что терять. Да и какие мы им коллеги — сроду не участвовали в советских пропагандных делах, обязательных для этих самых членов, потому членами и не были. Ибо: «Не можете служить Богу и маммоне». Нужно выбирать. Вот и выбрали: мы — одно, они — другое. Мы не жалеем. Думаю, что они тоже. Что ж, кому что на роду...

А все-таки, а все-таки вывезла тогда Елена хоть часть информации про зону: и как кидают в карцер инвалидов, и как расправляются за голодовки, и как мы их держим — эти голодовки! Никогда я не видела ее в глаза — только голос по телефону, да фотографии, да стихи:

Узор васильковый у края межи,  
Волной растекается поле...  
Кукушка, кукушка, а сколько, скажи,  
Прожить мне осталось на воле?  
И долго ли бьются с всесилием лжи,  
И будет ли в жизни удача?  
Кукушка! Послушай, кукушка, скажи...  
Ну что ж ты умолкла, чудачка...

Одним родным человеком стало у меня больше на этой земле. Родные мои, родные! Сколько вас! И как мы все же счастливы, что — много!

## ГЛАВА СОРОК ВТОРАЯ

Вот и весна подкатила. Вышиваю Тане «выпускную» блузку. Мелочи типа очечников, кошельков да вышитых закладок сооружаю постоянно: и занятие приятное, и наши радуются. Но перед концом срока следует подарить человеку что-то капитальное, и вот мы с пани Лидой входим в заговор: она сошьет,

я вышью, и летом Таня будет щеголять по своей ссылке в умопомрачительном туалете. Таня, разумеется, блузки этой не должна видеть до самого своего дня рождения. А как примерить на нее же, чтоб она не видела? Ну, это для нас не проблема! Завязываем Тане глаза, Лагле и Наташа проверяют, чтоб не подглядывала, а Таня поддразнивает:

— Вижу, вижу! Что-то синее и зеленое!

Остальные зрители валяются по кроватям от смеха — вышивка красная с желтым. Пани Лида с невозмутимым лицом намечает булавками: тут убрать, тут выпустить. Скоро мы Таню проводим за ворота, а там — ссылка, но через полтора года у Ивана тоже конец срока, и будут они в своей вечной мерзлоте хотя бы вместе. Впрочем, что вместе — еще не факт: куда кого сослать, решает государство. А можно ли мужа и жену сослать в разные места? Тогда — еще пять лет разлуки! Таня пишет на сей предмет запрос в Москву, в Главное лагерное управление. Приходит ответ. Нет, по закону супруги не обязательно отправляются в одно и то же место ссылки. Это уж — на усмотрение администрации мест заключения. Нечего сказать, приятное известие! С этих подлецов станется раскидать ребят в разные концы! Мы, конечно, убеждаем Таню, что не рискнут, убоятся скандала. А тем временем наша администрация вместе с КГБ вдумчиво подбирает бумаги на 188-3 статью. По их замыслу, Таня ничего не должна знать до последнего момента. Морально получение второго срока переносится гораздо тяжелее первого, и они — великие психологи! — надеются Таню сломать. Идиоты. Могли бы уже понимать, с кем имеют дело.

А мы-то провожаем ее за ворота с такой надеждой, с такими счастливыми пожеланиями! Таня подлечится, нарожают они с Ванькой за ссылку кучу малышей, таких же сластен, как мама. Друзья будут к ним приезжать, вот съездил же Игорь в ссылку к Татьяне Михайловне и прислал фотографии, где они вместе на фоне казахских камней. Вот интересно:

на чем придется Тане ездить в ссылке — на оленях или на верблюдах?

Ни так, ни так. Повезут нашу Таню в уголовный лагерь Ишимбай строгого режима. Кроме нашей зоны в стране есть только три «строгача» для женщин — Орел, Березняки и Ишимбай. Самым страшным считается Ишимбай: бабы, которых туда посылают, воют от ужаса. Таня слышала, как утешали в Рузаевской тюрьме женщину, едущую на Березняки:

— Чего плачете, мы же вас не в Ишимбай отправляем!

Но неисправимая Таня едет туда с азартом естествоиспытателя. Политических до сих пор в таких лагерях не было, и они почти не описаны. В лагерь строгого режима направляют преступниц-рецидивисток, сидящих уже не в первый и не во второй раз. Карантин в этом лагере есть, три недели. Отбывают его не где-нибудь, а в ШИЗО. Нет других помещений, так чего с ними церемониться! Юридически грамотная Таня ухитряется требовать себе на это время постель, а вообще-то это считается излишней роскошью. Раз уже в ШИЗО — так сидите по карцерному режиму. В ПКТ — и то матрасов не хватает.

В лагере, построенном на 300 человек, содержат 800. Тут уж не до соблюдения законности — два квадратных метра жилья на зэка. Тут этого самого жилья и метра не будет. Как так? А нет ничего проще: пускай спят по двое на одной койке! К тому же можно установить очередь — работают ведь круглые сутки, в три смены. Так пускай одна идет на работу, а другая — спит в это время. Логично и койки нагружать в три смены — чего имуществу пустовать? Ну а кроме того, и на полу их уложить можно — здесь не санаторий! И так — годами...

Быт? Пожалуйста, вот вам баня. Там нет горячей воды, но кто ж вам мешает после работы нагреть воды и принести в баню в бачке? Вот только бачок этот самый — один на пятьдесят человек, а заключенному по Правилам внутреннего распорядка положен

всего один час личного времени в сутки. Баня открыта до семи вечера. Между шестью и семью — ужин, а до того — политчас, обязательный для всех. Каждый божий день извольте слушать в течение часа, какими семимильными шагами мы идем к коммунизму, и попробуйте только не прийти на это слушание! Уж когда вы умудритесь после работы урвать для себя бачок, нагреть воды и помыться — ваше дело. Администрация на вашем мытье не настаивает, это не идеология. Старушки, по неспособности работать выделенные в отдельный отряд, не мылись месяцами: не было у них сил дотащить бачок до бани, даже вдвоем. Иногда (очень редко) им кто-нибудь притаскивал горячую воду из милосердия. Иногда они эту воду покупали за месячный паек чайной заварки. Но чаще попросту заживо гнили. Когда старушечий отряд проходил мимо — все зажимали носы.

Есть и прачечная — семь корыт на 800 человек. Стирайте, пожалуйста! В тот же единственный час личного времени. Да еще извольте успеть высушить. Сушилки не существует, есть несколько натянутых веревок. На место на веревке строгая очередь, всем не хватает. И, повесив свое барахлишко, не вздумайте от веревки отходить — украдут. Несмотря на все уважение к политичке, у Тани все-таки сперли форменное платье: только она его повесила, как вызвали ее зачем-то в оперчасть. Личное время ведь вовсе не означает, что тебя в этот час не имеют права побеспокоить! Вернулась — платья нет. Правда, администрация выдала другое, разумеется, за Танины же деньги. В снег и дождь нельзя стирать, потому что высушить не удастся. И вообще, лучше со стиркой поосторожнее: заключенной положено одно летнее платье, одно зимнее. Если летняя форма одежды — в зимнем ты быть не имеешь права, «нарушение». За это накажут. Сняв с себя и постирав единственное платье, ты, пока то не надето снова на тебе, — вне закона. Ухитришься высушить, не попавшись начальству на глаза, — твое счастье. Нет — надевай

мокрое. Против этого администрация не возражает. Ну и так далее...

Таня попала в привилегированный отряд, закрытый цех. Этим старались создать условия получше, потому что орудием производства были у них ножи. А ну как пырнет доведенная до бешенства? И этот отряд предпочитали не доводить. Они считались богатыми, у них на 50 человек было целых два бачка. И Таня спала на койке одна. Кто ее знает, политичку, она грамотная, вдруг нажалуется в какие-нибудь инстанции?!

Чтобы новый срок ей не показался сахарным, с самого начала она, кроме «карантина», получила 45 суток официального ШИЗО. Дошло до того, что уголовницы рискнули пойти к начальнику лагеря за нее просить. Для этого нужна была большая смелость — самым тяжелым и самым наказуемым преступлением в лагере считалось обратиться к начальству с какой бы то ни было претензией. За это расправлялись еще более жестоко, чем даже за невыполнение нормы. У Тани с этими «жуткими преступницами» были хорошие отношения. Ее уважали, обращались к ней за справедливым решением конфликтных ситуаций. Кроме того, Таня была юридически грамотна, а более благодарной аудитории, чем в Ишимбае, быть не могло. Но самым ценным качеством Тани было умение слушать и сочувствовать — и к ней шли со своими нехитрыми историями по-бабьи излить душу. По Таниной статистике, 97% лагеря сидело за воровство. Многие начинали еще с детства и, пройдя лагерь для малолетних преступников, становились профессиональными воровками. Посади в такой лагерь нормального ребенка — и можно быть уверенным, что за пару лет он научится красть, виртуозно браниться, драться и лгать. А уж если есть в психике какой-то вывих — он только усугубится. Не на то существуют лагеря, чтобы формировать человеческую личность, а на то, чтоб эту личность уничтожить. Ничего, кроме психологии раба (со всем душистым букетом рабских

качеств), в лагере терпимо быть не может. Попробуй защитить свое человеческое достоинство — и на тебя обрушится вся административно-карательная машина. Уж мы-то знали это по себе.

У многих воровство начиналось с детдомовского прошлого. Бедность, одинаковые убогие платья. Зависть к тем, кого одевают и одаривают родители. Нищенский заработок в начале трудовой жизни. Каково это девочкам, представляющим себе «настоящую жизнь» только по кино? Ишь в каких прическах и платьях щеголяют артистки! Вон в какой дубленке пошла женщина по улице! В магазине продаются импортные сапожки — умереть! — за триста рублей, а у нее вся зарплата — восемьдесят в месяц, да еще за общежитие плати, будь оно неладно! Иногда воровали «по любви». В Танином отряде была женщина по кличке Утя (уменьшительное от Утка). Кличку она эту снискала за то, что все свободное время полоскалась в воде — или стирала, или купалась. Если учесть, с какими героическими подвигами эти занятия были сопряжены в Ишимбае, то Утина неуместная чистоплотность вызывала, конечно, всеобщее веселье. Очень добрая, полуграмотная баба. Обожала своего мужа, а ему нужны были деньги на пьянку.

— Добывай как хочешь или уйду!

Ну, залезла Утя в форточку к добрым людям и украла триста рублей, с того и началось.

Раз начав воровать, остановиться трудно. Азарт и легкая добыча бьют в голову, как алкоголь. Воруют уже по рефлексу, без необходимости. Галя Храмова приехала в Ишимбай, проведя на свободе менее получаса. Отбыла предыдущий срок и за годы работы ухитрилась получить даже по зэковским, нищенским расценкам оплаты — две тысячи рублей! С этой огромной суммой в кармане вышла она к вокзалу, чтобы ехать домой. Но видит — на скамейке спит пьяный, а у него на пальце золотая печатка. Ну и польстилась, хоть была богата, как никогда в жизни. Пьяный был не пьяный — в кустах за скамейкой

сидели милиционеры, и эта засада была специально организована, потому что милицейскому отделению нужно было выполнять правительственную директиву об усилении борьбы с воровством. А как ее усилишь? Только поймав побольше воров. Вот и вводили во искушение, и за это искушение получила Галя Храмова очередные пять лет.

После первого срока тянулись к ворам уже от отчаяния; сидевший в тюрьме расплачивается за свою отсидку всю жизнь. Штамп у тебя в паспорте, как клеймо — и ни тебе хорошей работы, ни квартиры. До ста лет доживи — и будет за тобой тянуться этот хвост:

— Она же преступница! Сидела!

А с ворами не стыдно, да и подработать легче. Так стала рецидивисткой Люда — бывшая заведующая детским садиком. Молодая девчонка приняла у предыдущей заведующей материальные ценности и подписала акт приема не глядя. Предшественница убедила ее, что это пустая формальность. Через семь месяцев после работы Люды в новой должности нагрянула комиссия и обнаружила многотысячную недостачу. Тщетно Люда пыталась доказать, что за эти месяцы она физически не могла бы украсть из садика вещей на такую сумму, тщетно нянечки и воспитательницы свидетельствовали, что Люда работала честно. Недостача есть — должен быть и виновный. Получила Люда срок с конфискацией всего имущества, да еще многотысячный иск — выплачивай как знаешь. Отсидела, а по иску еще платить и платить. Начала воровать и потом втянулась.

Большинство заключенных вины своей не отрицают и признают, что арестовали их правильно. Несправедливыми считают, как правило, только свои большие сроки да зверские условия в лагере. Но если жизнь их свихнулась из-за судебной ошибки — несправедливость эта жжет им душу, и успокоиться они не могут. Так, Света Гривнина рассказывала Тане, как, отсидев первых два законных срока за действительное воровство, решила она начать новую жизнь.

Повезло ей устроиться медсестрой, вышла она замуж за хорошего человека, родила ребенка. И надо же так случиться, что однажды пришла к ней на перевязку женщина с порезанной рукой. Света ее перевязала, та ушла, а после ее ухода глядит Света — на полу пачка денег. Четыреста рублей. Поскольку все посетители поликлиники проходят регистрацию, найти адрес и телефон растяпы было легко. Света ей позвонила, успокоила, что деньги найдены, и договорилась, что занесет их ей вечером домой — так просила посетительница, ссылаясь на свою болезнь. Пришла, подает деньги — а тут в комнату врываются милиционеры. И хозяйка, специально вызвавшая милицию к этому времени, кричит, что Света пыталась ее обокрасть и угрожала только что убийством. По ходу следствия выяснилось, что женщина эта ненормальная, только месяц как вышла из психбольницы и до начала суда угодила туда опять. Казалось бы, можно и закрывать дело, мало ли что сумасшедшая наплетет! Со Светой поначалу разговаривали даже сочувственно — было ясно, что попала баба в дурацкую историю. Пока не узнали, что у Светы было две отсидки за воровство. А эта ненормальная обвиняла ее теперь как раз в попытке украсть! Отношение следователя к Свете сразу изменилось. И как та ни плакала, ни доказывала, что уже несколько лет живет честно, — ничего не помогло, по обвинительному заключению вышла она рецидивисткой. В отчаянии она пыталась покончить с собой. Будучи беременной, сделала себе искусственный выкидыш тюремными экзовскими штучками — просто обезумела, и потом, в Ишимбае, никак не могла понять, что ее толкнуло на такой дикий шаг. О первых двух своих сроках она рассказывала спокойно: посадили за дело. Но об этом, третьем, не могла говорить без слез:

— Если бы вправду украла — легче было бы!

А пока Таня жила в этом лагере — уже потеряв здоровье в нашей зоне, голодая по карцерам, а остальное время проводя в вонии и ругани уголовного барака — к нам являлись сияющие кагебешники:

— Вот добавили Осиповой срок — и вам добавим, если за первый не перевоспитаетесь! Шалин пытался плести нам сказки, что Таня уже перевоспиталась и живет теперь с КГБ душа в душу. Но этому вранью мы, конечно, не верили, а Шалину пообещали, что еще раз услышим — подадим на него в суд за клевету. Он утих и больше к этой теме не возвращался — не потому, что суд принял бы такой иск к рассмотрению, но знал, что огласку этому случаю мы обеспечим, а она ему была ни к чему.

Таню выпустили из Ишимбая за полгода до истечения срока. Она ни на шаг не отступила от своих нравственных позиций, ни от чего не отреклась и помилования не просила. Просто подошло такое время — Горбачев выпускал наиболее известных политзаключенных, и мы с Таней попали в их число. Другие сидят до сих пор — и им, наверное, врут то же, что врили нам.

## ГЛАВА СОРОК ТРЕТЬЯ

Свозили еще раз в Саранск — на кагебешное «перевоспитание». На этот раз взяли и Лагле, и меня. Опять нудные монологи: ну хоть как-нибудь зацепить за живое, чтоб хоть как-нибудь ответила! И главный мотив — хотите домой? К мужу, на свободу? Пишите заявление с покаянием! И в качестве образца совали напечатанное в газете заявление Олеся Бердника<sup>67</sup>, бывшего члена Украинской Хельсинкской группы. Он там выполнял всю программу: и от взглядов своих отрекался, мол, возомнил о себе, а теперь сам видит, что куда как лучше положиться во всем на правительство и не умничать, и об угрозе войны рассуждал —

67

<sup>67</sup> Бердник Олесь Павлович (1926—2003) — украинский писатель-фантаст, один из основателей Украинской Хельсинкской группы. В 1950 г. осужден по ст. 54-10 УК УССР на 10 лет лишения свободы. Наказание отбывал в Печорском, Воркутинском и Карагандинском лагерях. В 1955 г. освобожден из лагеря. В 1979 г. осужден «за антисоветскую агитацию и пропаганду» на 6 лет колонии строгого режима и 3 года ссылки. В 1984 г. амнистирован.

дескать, перед лицом такой опасности не время для внутрисударственных разногласий, и прощения просил, и благодарил за снисхождение, и клеймил бывших друзей, оговаривая при этом искреннюю свою надежду на то, что и они «перевоспитаются».

С души воротило все это читать. Помиловка помиловке рознь. Бывает, что не выдержит человек всех издевательств, оговорит себя и такой ценой вырвется из заключения. Но зачем же на других-то клепать? Только потому, что они оказались нравственно сильнее тебя? Нечего сказать, хороший резон для того, чтоб становиться в ряды «перевоспитателей»! Бердник, как я позже узнала, в этой роли вошел во вкус. Недаром все лето 86-го года кагебешники с такой настойчивостью убеждали меня с ним побеседовать. С мужем свидания не давали тогда, а с Бердником — пожалуйста! Они только свистнут — и он прибежит в тюрьму КГБ убеждать меня последовать его примеру. С ними у меня в те последние месяцы было о чем говорить — я требовала безусловного и безоговорочного освобождения всей зоны. Им уже ясно было, что придется меня выпускать. Мне это ясно еще не было, но возможность такую я не исключала. И чтоб не имели они никаких иллюзий — заверяла, что не успокоюсь, пока мои соузницы не будут свободны.

Но вот с Бердником увидеться отказалась. Заявила, что и без того видела в этом здании достаточно подонков. Это было, конечно, грубо, да что поделать, так оно и было, и негоже мне теперь причесывать свою фразу.

А тогда, весной 85-го, ничего лучше гебисты и сделать не могли, чем дать нам прочесть это кудрявое вранье. Если бы и были искушения купить себе свободу исписанным листком бумаги, то физическая тошнота при виде этого заявления размела бы эти искушения в пыль. Промаявшись с нами сколько положено и никак не преуспев, отправили нас обратно этапом. В одном эта поездка пошла нам на пользу — в тюрьме КГБ можно покупать продукты на де-

сять рублей в месяц, и с этим нас не обижали. Тюремная обслуга была невредная, даже странно было видеть на них синие гебешные канты. Они исправно покупали нам все, что мы просили: молоко, яйца, овощи неслыханную, короче, роскошь. Было что привезти в зону тем, кто там остался, было и чем отметить пришедшуюся на тюрьму православную Пасху. Обслуга это воскресенье тоже отмечала — и выведя нас в тюремный дворик на прогулку, наши усатые надзиратели совали нам крашенные пасхальные яички. А мы им свои, разрисованные накануне зеленой.

День рождения Лагле мы праздновали в потьминской пересыльной тюрьме. Чин чином расстелили на голых нарах вышитую скатертку и пировали так же весело, как в любом другом месте. Я вспоминала, как ночевала в этой же самой камере два года назад. Когда меня везли в лагерь. Получалось, что за это время у меня прибавилось жизнерадостности. Удачное зэковское «все нипочем» не подпускало близко к сердцу тюремные бытовые паскудства. И когда вечером на нас повели наступление полки знаменитых потьминских клопов — мы устроили из этого целую комедию. Ввиду численного превосходства противника отбивались мы от них всю ночь, с переменным успехом. Свет в камере вовсе этим тварям не мешал, они привыкли. И мы решили довести это дело до самоуправления. Вывести клопов из тюрьмы — предприятие, конечно, безнадежное, но почему клопы должны портить кровь одним только зэкам? В сущности, нам был интересен сам процесс — как разные инстанции будут отвергать бесспорное клопное существование? Мы твердо вознамерились в лучших традициях марксистско-ленинского материализма дать им на этот раз клопов в ощущениях. Первой жертвой был вызванный нами по этому поводу начальник тюрьмы. Дождавшись дежурной фразы о том, что никакой живности в тюрьме не водится и все это только нам мерещится, мы показали ему стеклянный пузырек из-под валидола с особо резвы-

ми отобранными экземплярами. Нами руководила чисто исследовательская любознательность — будет ли он утверждать, что пузырек пуст, или клясться, что в жизни не видел клопа, а потому не может его идентифицировать? Оказалось — ни то ни другое. Находчивый тюремщик выдвинул версию, что мы привезли клопов с собой. Тут уж мы обиделись за КГБ — нечего на них клеветать, им и от правды хватает отрицательных эмоций! Саранский изолятор КГБ был как раз очень чистенький, и даже в баню нас там водили не раз в неделю, а куда либеральнее — стоило изъявить желание. Опешив от такой неожиданной защиты, начальник тюрьмы забрал пузырек с клопами и ушел, ворча, что нас плохо обыскали, раз не изъяли стеклянные предметы. Наивный человек! Он решил, что отнял у нас вещественное доказательство... Но деревянные нары этими самыми доказательствами кишели и пенились, ничего не стоило отловить еще сколько угодно. Они сами так и лезли: плен или победа — было им все равно, лишь бы быть на людях! Мы, как могли, удовлетворили клопиное тщеславие — один из них, в аккуратном запаянном пластиковом пакете, был нами командирован в медуправление лагерного объединения с соответствующим сопроводительным документом. Другой поехал представлять потьминское клопиное сословие в Прокуратуру РСФСР, третий, самый солидный, — в Прокуратуру СССР. Разумеется, эти конверты мы посылали не с Потьмы (они куда бы не ушли), а уже из нашей зоны. Поскольку никаких жалоб на нашу собственную администрацию в заявлениях не содержалось, то их и отправили по назначению, и Шалин с веселой усмешкой выдал нам квитанции об отправлении.

Через пару месяцев пришли ответы. Никаких клопов в пересыльной тюрьме на Потье не имеется, и заявления наши сочтены необоснованными. Вот и пойми этих материалистов!

Но задолго до этих ответов Лагле и Оля уже ехали в ШИЗО, на десять суток «за варение чифира

в пересыльной тюрьме». Так было написано в постановлении, и ни один человек, не подходивший к тюремной решетке — с той или другой стороны, — ничего бы в этой формулировке не понял. Так что придется мне сделать очередное разъяснительное отступление.

Чифир — специальное эковское изобретение. Пятидесятиграммовая пачка чая высыпается в кружку, заливается водой и кипятится. Жидкости в итоге получается очень мало: разбухшая заварка занимает больше половины объема. Но зато она обладает адской крепостью и вызывает наркотическое опьянение. Уголовники поэтому заваривают чифир при первой возможности, а чайная заварка — предмет спекуляции номер один. Во всех лагерях употребление чифира беспощадно карается — и везде его пьют. Не имея незаконных чайных доходов, это сделать невозможно по простому расчету. 50 граммов чайной заварки максимум, который заключенный может купить в месяц, да и то если его не лишат ларька. Еще по грамму в день заварки положено на паек — но уголовники, как правило, этой заварки в глаза не видят: им выдают желтоватую бурду, именуемую чаем, прямо в столовой. Украденную же заварку весело употребляет хозобслуга.

Не спекулируя чаем, Малая зона чифир не варила, да и варить не могла. Нам и на нормальное-то чаепитие не хватало. Наша охрана это прекрасно знала, администрация — тоже.

Но предлог был не хуже другого, что тут докажешь? И кто станет слушать твои доказательства?

Уезжали Оля с Лагле в прекрасную майскую погоду, и мы надеялись, что они не очень промерзнут. Зря надеялись: через несколько дней были уже заморозки со снегом. Что поделать, мордовский климат... Топить же в мае было не положено. У Лагле, когда она вернулась, долго немела левая рука — у нее был порок сердца, и это ШИЗО оказалось слишком сильной нагрузкой.

Через десять суток отправились мы с Галей — за забастовку в защиту Оли и Лагле. На этот раз нас возили в другой лагерь — на «шестерку». Тут-то мы поняли, что на «двойке» еще либеральничали с кормежкой — уже через неделю у нас обеих головы кружились от голода. Казалось бы, паек по «пониженной норме питания», дальше урезать некуда. Но ведь учили же мы еще в школе, что для советских людей нет ничего невозможного!

Были и еще отличия от привычных уже нам условий на «двойке»: кран и канализация в камере. Поначалу мы обрадовались — умывайся сколько влезет, парашу не таскай, от запаха не вздыхай... Но водопроводные трубы протекали, и из-под досок пола хлюпала вода. Что тут было с Галиными больными суставами! К тому же она заработала ангину уже на третий день, а сидеть нам было пятнадцать суток. Комары с радостным писком ломались в окно — на сырость и свет. Мы хлопали их на стенах тапочками, но дело было безнадежное. Как-то мы вздумали считать, сколько набьем до обеда — в порядке соревнования. Дошли до трехсот и бросили, сбившись со счета. Комары тоненько хихикали над нами, кружась вокруг лампочки. Иногда нам казалось, что вся кусачесть мордовских конвойных собак пошла в комаров. Это заодно объясняло, почему все собаки, с которыми нас возили по мордовским этапам, были ленивы, апатичны, а некоторые и прямо дружелюбны — не сравнить с той киевской бестией, которая выскакивала из шкуры, когда меня грузили в мой первый столыпинский вагон. Не хуже комаров вились вокруг эзков работники режима, здесь уж было не положено буквально все. Девчонка из соседней камеры получила свои пятнадцать суток «за то, что пела в рабочей камере «Арлекино». Популярная советская певица Алла Пугачева, поющая этого «Арлекино» уже много лет — на весь мир, — не подозревает, наверное, что за пение на рабочем месте можно где-то схлопотать карцер. Когда бедняга этот срок отбыла, ей добавили еще пятнадцать суток — по тому же рапорту. Мы свои-

ми ушами слышали, как его зачитывали вслух возле ее камеры. Видимо, произошла какая-то неразбериха с бумагами, и документы на ее ШИЗО пошли по второму кругу. Она пыталась доказывать, что за это преступление уже отсидела, но на этом месте вы, читатель, теперь только понимающе улыбнетесь.

Неположенным оказался здесь и мой натальный крест. Был он мне вдвойне дорог, потому что сделан руками Игоря. В нашей зоне и на «двойке» его при всех обысках предпочитали не замечать — не было приказа КГБ. Здесь сразу прицепились.

— Что это у вас на шее за веревочка?

— На ней крест.

— Немедленно сдать!

— И не подумаю.

— Вызовем наряд и сорвем силой!

— Ну-ну... А все же лучше не берите это на себя, посоветуйтесь с начальством.

Аргумент сработал безотказно. Кому охота лично заводиться с политичками, а потом лично же отвечать за последствия?

Заявился начальник режима Зуйков. Этот был, по крайней мере, смелым солдатом и брал на себя самостоятельные решения.

— Амулеты, кресты, талисманы заключенным не положены.

— Нет такого закона, чтоб запрещать людям носить крест!

— Есть инструкция!

— Так как же мы будем жить — по закону или по инструкции?

— Слушайте, Ратушинская, вы не думайте, что вы — первая политическая, с которой я имею дело. И не таких, как вы, обламывали. Я знаете, сколько лет проработал в Управлении?

— А в какие годы?

— Вас тогда еще здесь не было. С семьдесят девятого. И «бабушек» ваших помню, и Великанову.

- Ну и что, забирали кресты?
- Я не помню, чтоб была такая проблема.
- Небось, попробовали бы — помнили бы.  
А Таню Осипову помните?

Тут на его лице отражается работа мысли.

Прекрасно он помнит Таню с ее «сухой» голодовкой за Библию. Четверо суток без капли воды — это переполошило тогда все их Управление. И как им пришлось сдаться — тоже помнит. Хорошая вещь человеческая память!

- Так вы...

- Чего тут рассуждать, давайте попробуем, что получится, если сорвать с меня крест.  
Зуйков внимательно смотрит мне в глаза.

Он выдерживает дольше, чем они все. И наконец, отвернувшись, бурчит:

- Если б хоть веревочки видно не было!

Но тут уж я ничего не могу поделать —

не я проектировала шизовские костюмы с таким вырезом! Так Танина голодовка избавила меня от необходимости повторения, и всухую мне голодать не пришлось ни разу. Не знаю, как бы это у меня вышло. Хотя — куда б я делась? Но Таня, распятая на топчане, с вонзенными в ноги капельницами — отвоевала тогда и наши Библии, и этот мой крест, и псалмы, что пели Галя с пани Лидой во всех ШИЗО. Таня, считающая себя неверующей.

Все на свете когда-нибудь кончается, и мы вернулись в зону, и опять у нас были все дома — кроме Тани. Она ехала этапом в Ишимбай, а Нюрка, встретив меня у ворот, вопросительно мурлыкала: где ж ее любимая хозяйка? Мы ведь возвращались из ШИЗО обычно вместе...

Я взяла Нюрку на руки и в самых густых зарослях лебеды, возле забора, уткнулась носом в ее усатую морду. И так мы сидели вдвоем и тосковали, а потом пошли в дом. Нюрка тоже умела улыбаться — не хуже Чеширского Кота.

## ГЛАВА СОРОК ЧЕТВЕРТАЯ

Умерла мама Лагле. Телеграмма пришла с опозданием, когда уже успели похоронить. И через день после этой телеграммы — Лагле лишили свидания с сестрой и мужем. Того самого — от суток до трех — которое раз в году... И как нам было тут помочь Лагле в ее горе? Она держалась мужественно, как всегда. Но как бы мы ни хотели разделить ее боль, вряд ли ей было от того легче.

Наплевать нам тогда было на «законный предлог» — нагрудный знак. Мы объявили однодневную голодовку, а Лагле, кроме того, еще и забастовку на пятнадцать суток. На этот раз никого не тронули — побоялись, видно, перегибать палку. И очень разумно сделали. Мы тогда были готовы на все. Бывают такие моменты, когда с человеком лучше не связываться. Тут лучше было не связываться с Малой зоной — организмом по-своему сложным, но в минуты горя и радости — единым.

Обыски шли все чаще, отбирали на них все больше. И вот однажды, когда ввалились с очередным, я чуть было не попалась. Уже при них мне пришлось сглотнуть листок бумаги с информацией и последними стихами. Тут уж нечего было удивляться, что мне дали неделю ШИЗО, — разве тому, что впервые так мало. Но почему одновременно дали ту же неделю Оле, Гале и Наташе? Объяснялось это очень просто — через полчаса после нашего отъезда вломилась в зону целая толпа:

— Женщины, зону переводят на старое место!

Нас, значит, просто убрали, чтобы оставалось поменьше народу. И начался второй погром, в сравнении с которым первый — был ничто. Все письма, все записи — в который раз на проверку! Из вещей отобрали и просто украли все, что плохо лежало, — начиная с Раечкиных трусов и кончая моими вышивками. Непонятно, почему отняли Библию у Гали, а остальные две оставили. Растоптали сапогами освященные облатки пани Ядвиги, утащили у нее

четки с крестом. Даже открытки с репродукциями икон Дионисия и Андрея Рублева, выписанные буклетом через «Книгу — почтой», конфисковали как религиозные. Все рисунки Наташи сожгли, все стихи, что присылали мне в письмах мама и Игорь, — тоже. Не помогло ни то, что они были переписаны из книг советского издания, ни что было перед каждым стихотворением выписано — откуда, издательство, год, том, страница... Который раз корчились в огне строки Пушкина, Тютчева, Фета... Им было не привыкать. Сожгли журналы, которые мы годами выписывали на наши зэковские гроши. Все книги и одежду заперли в каптерке: теперь мы будем брать оттуда свои вещи только в присутствии Шалина и Арапова. Окна в каптерке забили для надежности железными щитами, а электричество там, естественно, не работало. Когда неделю спустя мы вернулись из ШИЗО, оказалось, что наши простыни и белье заперты, а Шалин будет неизвестно когда. Не во что было переодеться — тем более это нас не радовало, что подхватила я на этот раз чесотку от казенного балахона: напялили на меня нестиранным.

Но до этого нам предстояло еще проехаться на «двойку», там нас принимать почему-то отказались и вернули в Барашево. Администрацию «двойки» можно было понять: мы не их ведомства, а мороки с нами не оберешься. Ни тебе ударить, ни матюкнуть, да еще эти заявления бесконечные про холод в камере и про грязь. Каждый раз они клялись, что больше нас в свой ШИЗО не допустят, да только куда денешься супротив приказа КГБ? На этот раз взбунтовались. В Барашеве нас из машины не выпустили. Зато Шалин — красный, с погромными бесами в глазах (мы его таким еще не видели) — скомандовал голосом уже ничего не соображающего человека: — Сдайте все вещи, что взяли с собой!

И тут же в машину влез наряд каких-то прапорщиков и отобрал у нас мешки. Не оставили ни зубной щетки, ни расчески — и снова отправили на ту же

«двойку», тем временем усмиренную телефонным звонком. В довершение всех бед того сумасшедшего дня — машину по пути так трянуло, что все лязгнули зубами, а я потеряла сознание. После первого сотрясения этого толчка оказалось мне достаточно.

Не помню, как, вытащив из машины, довели меня под руки до ШИЗО Оля и Наташа. Потом была комната, где нас переодевали в балахоны. Я сидела на полу, а Оля требовала немедленно врача и умоляла меня пока не трогать. Воспетая уже мною дежурнячка Акимкина решила, однако, первым делом вытряхнуть меня из одежды — и опять я куда-то провалилась и очнулась уже на полу знакомой камеры. Оля и Наташа рассказали мне, что раньше загнали в камеру их, а потом втащили меня за руки, без сознания, и бросили на пол. Пришел местный врач, диагностировал сотрясение мозга, прописал димедрол — и ушел. Вот сколько событий — и я их все пропустила! Зато на мне положенный балахон (я еще не знаю, что он — чесоточный) на голое тело, ноги босые... Все как следует по режиму. Тошнит, и голова раскалывается. Оля осторожно поит меня водой из помятой кружки и уговаривает не двигаться. Охотно подчиняюсь. Куда уж мне сейчас шевелиться! Почему-то я сильно паниковала в первые сутки — все боялась, не утратила ли часть памяти. И вспоминала, вспоминала — будто пыталась закрепить в мозгах самое важное. Сначала всю хронику зоны: кого когда в карцер и на сколько суток, все голодовки и забастовки, кто чем болел, кого и за что лишали свиданий. Вроде помню. Прекрасно, дальше! «Право получать и распространять информацию независимо от государственных границ» — это какая статья Международного пакта? А «право каждого покинуть любую страну и возвращаться в свою страну»? Отлично, все помню. И немного успокаиваюсь.

Затем почему-то очень ярко — в красках и запахах — выплывает из памяти, как мы этим летом праздновали Янов день — прибалтийский аналог славянского Ивана Купалы. Разожгли огонь в само-

дельном камине на дворе, за домом, сплели венки из цветов... Пани Лида сделала квас из черного хлеба, и черный же хлеб мы поджаривали на прутиках в огне. Падала роса, мы сидели на расстеленных телогрейках, и пани Лида пела нам старые латышские дайны, а Оля украинские песни. Огонь вообще притягивает взгляд, а уж от этого было не оторваться. Пришла дежурная Тоня с ночным обходом, но мешать нам не стала. Посидела с нами, хлебнула кваску — и ушла. А когда погас огонь, мы смотрели на звезды...

И вдруг меня точно ожигает — стихи! Может быть, я забыла стихи? Записанный текст хранить я давно уже не рискую, у меня припрятаны в надежных местах только крошечные листки с оглавлением. По этому списку я каждый день восстанавливаю их в памяти. Не все сразу, конечно, по двадцать-тридцать. Так дохожу до конца — и начинаю снова. Не забыла ли теперь? И где оглавление — один-то экземпляр всегда при мне? Слава богу, не нашли. Но доставать его и разворачивать сейчас опасно, то и дело пялятся в глазок. Для них политичка с сотрясением — тоже не подарок. Ладно, пойдем по памяти. Что там было самое последнее?

Если волосы чешешь — забытая прядь  
Означает дорогу.  
Так поехали с Богом — чего нам терять —  
От острога к острогу!  
Нам железная щель повторяет мотив  
Из берез да заборов.  
Напишите нам письма, за все нас простив:  
Мы ответим нескоро.  
Бьется щебень о днище, машину трясет —  
Видно, едем по шпалам.  
И уже не до местных пейзажных красот:  
Вот и щели не стало...  
И какими краями теперь мы пылим,  
И какими веками?  
Все неровности жесткого шара Земли  
Ощущая боками...

Но сойдя — в неизвестно котором году —  
Мы вернемся, быть может.  
Напишите нам письма!  
Пускай не дойдут.  
Мы прочтем их попозже.

Вроде точно. Стоило ли прятать эти стихи, глотать их при обыске, зубрить наизусть и в итоге передать-таки на свободу, рискуя не только собой, но и человеком, чье имя не имею права назвать, но перед Богом вспомню? Не знаю. Не мне судить. Мое дело было тогда так поступать...

И вот мы едем обратно на той же машине. Грязные, как никогда, — ведь ни умыться неделю было без мыла, ни причесаться. Еще не знаем, что нас ждет в зоне. Моя голова лежит у Оли на коленях. Она меня придерживает, чтоб еще раз не трягнуло. Через больничку ведут меня под руки, ноги плохо слушаются. То ли сотрясение сказывается, то ли неделя под димедролом. Первую вижу Лагле. Она смотрит на меня и медленно меняется в лице. Все в порядке, дорогие, все в порядке!

## ГЛАВА СОРОК ПЯТАЯ

Пани Ядвига считает своим большим грехом, что она — слабая и больная — не сумела уберечь от поругания освященные в Литве облатки. Наши утешения на нее не действуют: отпустить ей этот грех мог бы только священник, а священников сюда не пускают. На мужской политзоне сидит католический ксендз, но с мужчинами сейчас нет связи. И пани Ядвига решает наложить на себя покаяние — обет молчания на год. Уговоры тут бесполезны, и мы это понимаем. Единственное, в чем удастся убедить нашу непреклонную пани, — это чтоб она оставила за собой право в случае необходимости объясняться письменно. Это и для семьи облегчение — все же будут получать от нее весточки, и в случае болезни

мы хоть будем знать, что с ней неладно. Много таким способом все равно не наобщаешься, ведь пишем мы друг другу записки, если информация не для подслушивающей аппаратуры, и знаем, насколько труднее письменно, чем устно. Да и по-русски писать пани Ядвига непривычно, так что ограничений более чем достаточно. Даже и на такое — весьма относительное «ослабление» понадобилось несколько дней дискуссии, и непонятно, как бы дело повернулось, если б не железный аргумент:

— Семья-то ничем не виновата! Им и так трудно, а за год без писем с ума можно сойти.

Ладно, писать пани Ядвига будет, но рта не раскроет. Даже свидание с сыном проведет молча, верная взятому обету.

И действительно, наша пани не сказала ни единого слова с 19 августа 85-го по 19 августа 86-го. Только по тому, как она больная стонала во сне (но и во сне — без слов!), мы знали, что у нее и голос изменился без практики, стал глухой и хриплый.

Но чего мы не ожидали — это что так взбесятся КГБ и наша администрация. Пани Ядвига отказалась на этот год от голодовок и заявлений протеста. Она будет только молчать и поститься — больше ничего.

Казалось бы, чем им это может помешать? Но этот ее обет встал им поперек горла похуже голодовок. Потому ли, что, отказываясь от голодовок и заявлений, пани Ядвига оговорила, что она всей душой на стороне тех, кто это продолжает, и молится за нас — просто у нее не хватает сил на все сразу? Потому ли, что это был необычный шаг, и они попросту не знали, что делать? Так или иначе, все было сделано для того, чтобы заставить ее говорить. Приносят нам со склада одежду, которую мы можем покупать раз в год: телогрейки, сапоги, ткань на платья и рубахи. Все, конечно, лимитировано, но без этого и вовсе голой останешься! Мы все выписываем, кому что надо, и пани Ядвига тоже. Не тут-то было!

— Беляускене, Шалин распорядился, чтобы принимать у вас только устный заказ! Никаких записок! Не скажете, что вам надо, — ничего не получите вообще. Так что вы берете?

Пани Ядвига только улыбается. Оставляет на столе список и выходит вон. Мы, конечно, немедленно раскидали ее список по своим заказам — и ничего бухгалтеру не оставалось, как выдать нам все, что пани Ядвиге надо. Такая наша поддержка вызывает еще большую ярость — мы последовательно срываем все воспитательные мероприятия, направленные против мятежной пани. Попробовав пару раз выкаблучиваться с ее ларьком и наткнувшись на ту же тактику зоны, плюнули и отоваривали пани Ядвигу по списку. Пришить ей нарушение режима было нельзя: где это в законе сказано, что зэк должен быть говорящим? Дежурнячки измываться над ее молчанием не были согласны. Ничего, кроме уважения, такая твердость у них не вызывала. Они только ахали:

— Ой, женщины, неужто так год и промолчит? Я бы дня не выдержала! Голодать и то, наверное, легче!

Женская логика: это как же ни в какой ситуации слова не сказать?!

Другим последствием погрома была необходимость вернуть Гале Библию. Мы написали соответствующее заявление и стали ждать. Было договорено, что если наше требование не будет исполнено, Галя, Лагле, пани Лида и я идем в голодовку. Пани Ядвига, хоть от голодовок отказалась, тоже решила присоединиться в этом случае, ведь речь шла о Библии!

Однако неделю спустя после возвращения из ШИЗО мы уже снова катили обратно. Оле дали пять месяцев ПКТ, мне — тоже, Наташе — два. В ту же камеру — только, в отличие от ШИЗО, будут выдавать постель на ночь, можно будет читать и быть в своей одежде (но ничего теплого, разумеется). Не сказать чтоб мы были в восторге от перспективы, но и унывать было ни к чему. Втроем не пропадем! К тому же умы-

вание в ПКТ — не над парашей, а выводят по утрам к крану...

День начала голодовки был оговорен, и я держала бы ее в камере. Успели договориться и насчет условного знака: если Гале Библию вернут — Лагле передает мне в ПКТ носки (я их специально «забыла», а в ПКТ они не возбраняются).

Носки эти, условленного синего цвета, привез мне Шалин. Не зная о том, что привез, заверял меня с большим жаром, что Гале Библию он вернул самолично, из рук в руки. Видимо, они уже знали о нашей готовности голодать. А я, улыбаясь и пропускающая между пальцами штопаные-перештопаные наши «условности», на этот раз не сомневалась, что он не врет.

И потянулось наше ПКТ. Оле и Наташе весной было освобождаться, и зачем их сюда посадили, было ясно: можно будет добавить срок по статье 188-3, можно будет только пошантажировать — в обоих случаях КГБ надеялся на выигрыш, а уж убытку им от этого не было никакого. Почему посадили еще и меня, понятно не было, до конца моего срока оставалось больше четырех лет. Но с другой стороны — почему перевоспитывать надо в последний момент? Обещали мне, что я из карцеров вылезать не буду, — вот и держат слово. Даже чесотку я в зоне не успела залечить — правда, тут в серной мази никому не отказывали: половина была в коросте.

Однако, обсуждая с Олей ситуацию так и эдак, мы все же недоумевали: отпускать их с Наташей домой или добавлять срок — КГБ будет решать в последний момент, в зависимости от международной обстановки. Сейчас особо зверствовать не решатся — вдруг придется-таки выпускать, и они все расскажут. Но тогда и надо мной не слишком поупражняешься — при двух таких свидетелях. Ну, Наташу-то увезут раньше, а Олино ПКТ кончится ведь одновременно с моим! Откуда мы могли тогда знать, что Олю увезут в Киев через два месяца, и тогда-то я останусь одна, и тут-то начнется!

Кое-что началось, впрочем, сразу. В первую же неделю, разворачивая наши убогие матрасики (их выдавали только на ночь, а в шесть утра забирали), мы нашли странную записку, написанную незнакомым почерком, от имени заключенных в камере на другом конце коридора. В ней нам предлагалось изложить письменно наши политические взгляды и суть наших расхождений с властями — в порядке просветительской работы. Ответ нам рекомендовали сунуть в матрац соседней ячейки — утром, когда будем сдавать свою постель. Записка насторожила нас и слогом, нехарактерным для уголовниц, и тем, что способ был выбран уж больно идиотский: дежурные обязаны проверять все постели при сдаче и еще раз — при выдаче. То, что записку, сунутую в матрац нашей камеры, «не заметили», тоже было странно. Похоже было на провокацию, видно, недостаточно КГБ материала на Олю и Наташу. А уж когда через коридор нам начали задавать такие вопросы во всю глотку — заорали соседние камеры:

— Девочки, этим двум не отвечайте! Они на опера работают!

Мы, конечно, никаких записок в матрацы не пихали, но через неделю опять нашли послание — той же рукой, в весьма обидчивой тональности. Мол, как это мы отказываем в ответе людям, жаждущим знания? И так далее. Было указано, что следующая записка будет под огнетушителем в умывальнике, и такого-то числа утром, когда нас выведут туда, — мы должны положить на то же место ответ. Кроме того, от нас хотели адреса людей на свободе, с которыми можно беседовать на диссидентские темы.

Этим утром Наташа — совершенно случайно, разумеется, — забыла в умывальнике зубную щетку и с полдороги вернулась, не дойдя до камеры. Две дежурнячки уже шарили под огнетушителем, а увидев Наташу, разорались — кто ей разрешил вернуться? Третья дежурнячка, недоглядевшая, — получила выговор, а у нас зато не осталось сомнений: это охота на Олю и Наташу. Ну мы и не попадались.

К началу сентября Наташа уже успела простудиться, и мы подматывали ей под одежду все, что удавалось стащить из наших собственных мешков. Осень и весна — самое паршивое время: холодно, а топить не положено. Камеры отсыревают, и все, что на тебе, — тоже. По счастью, в ПКТ выдаются газеты, днем мы подстилали их под себя. Прекрасная теплоизоляция! А мы-то еще недооценивали нашу родную прессу...

Мыши в нашей камере ожили. Им теперь доставались крошки от пайки ПКТ, а это хоть и пониженная норма питания, но все же каждый день и хлеб, и баланда. Жила их у нас целая семья — папа, мама и детишки. Гонять их было бесполезно. Юркнул в норку, а через пару минут вылезает. Уже и из постели их вытряхивали, а однажды Оле во время какого-то очередного физкультурного упражнения мышонок прыгнул прямо в лицо, с явным намерением заскочить в рот. Несознательные личности, что и говорить. Наше счастье, что они нас больше смешили, чем раздражали.

Наташе камера давалась тяжело. И физически она была слабее нас, и мелкие бытовые пакости дежурнячек принимала ближе к сердцу, и росло напряжение — освободят весной или добавят срок? Оля к бытовым деталям относилась презрительно, но уже пришло ей письмо, что отец в тяжелом состоянии. В каком случае родные пишут такое в лагерь — ясно. Стала Оля добиваться, чтоб ее повезли в Киев и дали свидание с родителями, а ПКТ она досидит летом. И тут — телеграмма о смерти. И все Олино горе билось в четырех бетонных стенах. Первую ночь мы проговорили с ней напролет. Неважно о чем — уснуть бы она все равно не уснула. Это было к исходу нашего второго месяца. И тогда же пошли новые придирки: почему мы в ПКТ не носим нагрудные знаки? Почему не отдаем рапорты?

Рапорт — это значит, когда входят дважды в сутки с обыском, дежурная по камере (а как же, есть такая должность) должна заявить:

— Гражданка начальница, в камере столько-то человек, нарушений режима нет (или — есть, и тогда доложить).

Ни начальниками называть их у нас не было охоты, ни помогать им считать до трех (по одному-то классу образования у них есть? Зарплату, небось, считают, а там цифры побольше). Поэтому рапорты мы игнорировали, на вопрос «кто дежурный?» отвечали, что убираем камеру все вместе, а про нагрудные знаки и дискутировать считали излишним. За что нам, как положено, обещали ШИЗО. Однако накануне отъезда Наташи появился на «двойку» Артемьев и провел с Олей беседу: в Киев ее обещал повезти, а насчет ШИЗО заверил, что это недоразумение, и никого за это сажать не будут. Нельзя сказать чтобы такой сладкий разговор кого-нибудь из нас успокоил, скорее наоборот. Однако Наташу действительно благополучно увезли, и мы видели, как, проходя по дорожке мимо нашего окна, она помахала нам рукой: все в порядке! Можно было надеяться, что Оля и вправду скоро увидит мать. Теперь она переживала за меня — что со мной будет, когда я останусь в одиночке? Я ее как могла успокаивала: ну что со мной может быть? Первая это одиночка, что ли? Бить меня вряд ли решатся, посадят ли в ШИЗО — еще неизвестно, после сотрясения я вполне пришла в себя, чесотку мою уже залечили... Ну, будут приходиться и капать на мозги, чтобы писала покаяние, — так нам ли привыкать? А сама чувствовала себя едва ли не виноватой: я же счастливица — и родители у меня живы, и Игорь ждет дома, и писем вон сколько получаю (в ПКТ они почему-то доходили лучше, чем к нам в политзону). Ну чего мне еще?! А у Оли от лица в эти дни остались только глаза, и было больно в них смотреть.

Ее увезли в конце октября, 30-го числа я держала традиционную «однодневку» — День политзаключенных, а 31-го ночью, после отбоя, с меня содрали одежду и перевели на режим ШИЗО. Балахон на голое тело, снежок на подоконнике и радостный гебушник Ершов:

— Ну что, Ирина Борисовна, допрыгались?  
Вы хоть понимаете, что ваше заключение  
может стать пожизненным?

И снова — про добавку срока, про то, что  
из ШИЗО мне не выйти, про помиловку... Тут я ему  
вполне верила: ведь уморят, это было ясно.  
Медленно, не спеша, холодом и голодом. Бить  
не будут, нет, это ни к чему. Просто день за днем  
снова и снова раздевать догола и обшаривать  
липкими лапами — чтоб ничего, кроме балахона  
и трусов! Да еще трусы проверят — вдруг я исхитри-  
лась надеть две пары? Да слушать мне их гнусности,  
да хлебать гнилую баланду — через день... Буду  
я постепенно слабеть, и все меньше останется  
сил противостоять издевательствам, а они будут  
изобретать все новые и новые.

Так нет вам, господа хорошие! Хватит с меня  
этих карцеров и ваших лап! Хотите доконать? Так чем  
быстрее, тем лучше! Я ухожу из ваших стен — на сво-  
боду! Вы думаете, я буду цепляться за жизнь, которую  
вы превратили в пытку? Я вернула им их баланду,  
и моментально примчались:

— Вы что, в голодовке? А где же заявление?

— Я их уже сотни написала — и про голодовки  
в том числе. Мне вам нечего больше сказать.

— Но вы должны есть!

— Вам я ничего не должна!

— Ведь умрете!

— Меня кагебешники как раз и обещали умо-  
рить. Так вам надо растянуть во времени это  
удовольствие? Чтобы подольше помучить?  
Вы видите — в камере пар изо рта? Сколько  
я, по-вашему, протяну, если даже буду есть  
эту бурду?

— Помрете, а нам отвечать?!

— Раньше надо было думать. Все. Прием  
окончен.

— Прискакал Артемьев.

— Ирина Борисовна! Ну что вы вздумали? Ну вот  
врач вас осмотрит, телогрейку вам дадут, раз

холодно. Ершов — парень молодой, горячий, но ничего такого он вам сказать не мог.

А откуда ж ты знаешь, голубчик, ведь я тебе ни слова не говорила? А что это у тебя глаза такие испуганные? Понял теперь, что значит — «сказку сделать былью»? Это тебе не безвестных зэков мордовать! Боишься скандала? Правильно боишься — будет, еще и какой! Трижды подумает после этого КГБ, посадить других в карцер или лучше не надо. Телогрейкой теперь пытаешься умаслить? Будто я не знаю, что ее сдерут с меня сразу, едва я начну есть, и все пойдет сначала. Еще не доупражнялись? Хватит с вас и этого, фашисты!

Все это, разумеется, я ему не говорю, но думаю именно так. Ведет меня дежурнячка в камеру и вздыхает:

- Ой, Ириша! Неужто вправду помирать будешь?
- Это уж как Бог даст. Но пытаться они больше никого не будут. Видала, как нас в ШИЗО таскают — и старух, и всех? Ну и хватит. На этот раз споткнутся. Я буду последней.
- А говорили, о тебе по радио передавали. То ли из Англии, то ли из Америки. Там, небось, о тебе хлопочут?
- Что ж, сейчас — самое время хлопотать, и не только обо мне. Видишь, как из нас помиловки жмут? Хуже, чем при Андропове.
- А говорят, Горбачев насчет свободы старается.
- То-то за нас и взялись. Он же сказал, что нет политзаключенных в СССР, — теперь осталось только нас поубивать или выпустить.
- Ну ладно, счастливо оставаться. У меня смена кончается. Постой, дай-ка я тебе карманы в телогрейке проверю...

Пятый день. Шестой. Неделя. С наслаждением чувствую, как уходит из меня все, что может болеть и мучиться. Так легко-легко. И есть не хочется, и холода уже не чувствую. Еле-еле сочится сквозь

решетку серый дневной свет. Разве такой свет я увижу через неделю-другую? На душе спокойно и мирно, и этот серый цвет меня не раздражает: ни заборы, ни мордовская осень, ни мой драный балахон, ни даже шинели надзирателей.

А за стенкой — своя, обычная жизнь и свои трагедии.

— Женщины, на работу! А эта что лежит?  
Как фамилия?

— Она заболела, не может встать.

— Вот добавим пятнадцать суток — побежит как живая!

— Начальница, я, правда, не могу. Пускай врач придет.

— Все. Считай, что пятнадцать суток заработала — за отказ от работы. Врача еще тебе, симулянтка! Лежи-лежи, готовься в ШИЗО!

Грохочут замки. Прошаркали ноги в рабочую камеру. Одна осталась. Не знаю ее, никогда не видела. Зовут Галя, привели ее недавно. Через несколько часов (я их провожу в забыты) опять звенят ключи:

— Обед, дармоедки!

Рабочая смена возвращается в камеру — есть баланду.

— Ой, начальница! Кровь!

— Какая кровь? Вы чего? Отойдите от двери!

— Она вены себе вскрыла!

— Не вскрыла — перегрызла зубами! Мама моя, страх какой! Начальница, она не дышит!

— А ну, быстро все назад! Тут и без вас разберутся. И — цыц, чтоб я больше ни слова не слышала!

С трудом поднявшись к окну, я вижу санитаров, бегущих рысью с носилками. Потом они проходят обратно. На носилках — бесформенная, прикрытая тряпьем груды. И до вечера слышу, как за стеной шаркают — моют пол. Видно, крови натекло много. За эту смерть никто не будет в ответе, об этом не будет шуметь мировая пресса — дело тихое, никто не узнает. Спишут с убедительным диагнозом,

отчетность будет в порядке, а в Мордовии прибавится еще одна безвестная могила под номером, и из серого неба засыплет ее серым снежком. А через пару лет загребут бульдозером, освобождая место для следующих.

## ГЛАВА СОРОК ШЕСТАЯ

На одиннадцатый день из моей камеры уходят мыши. Гуськом, по очереди, пролезают в щель под дверью — и вот уже последний серый хвост утянулся в коридор. Я наблюдаю это, лежа на полу, без особых эмоций. Рука, что у меня под головой, давно занемела, и я не чувствую ни корявых досок, ни сквозняка из окна. Нет у меня никаких долгов, все счета оплачены и закрыты. Странное тепло охватывает все, что осталось от тела, и качает, и убаюкивает.

Такую ласку дать могла бы  
Мне только детства колыбель...

Где я слышала эту песенку? Ах да, Татьяна Михайловна, ее рука у меня на голове... Игорь с измученными бессонницей глазами... Таня Осипова — с зэковским мешком и поднятым подбородком... Мама — как она на том свидании, первом и последнем, старалась не плакать. Тот таксист, которого я попросила: «Оторви хвост!» (за нами явно не случайно ехала машина), и он оторвал. Мальчишка-конвоир, украдкой берущий наспех заклеенный конверт. Незнакомый химик из Америки по имени Дэвид, приславший Игорю письмо с приветом для меня.

Я, конечно, не знаю, что именно в этот день служат по мне молебны в никогда не виданном мною английском городе, что жмут уже на советских дипломатов, где бы они ни появлялись, что придет завтра новый начальник лагеря (старого быстренько отправят на пенсию), и окажется этот новый начальник Зуйковым — тем самым, что не решился на «шестерке»

сорвать с меня крест. И возопит Зуйков человеческим голосом:

— Не я ж вас в ШИЗО сажал, почему же мне за чужую дурость отвечать, если вы умрете?

— Потому что и вы бы подписали этот приказ как миленький.

— Нет! Обещаю вам — нет! Никаких ШИЗО!

Не подпишу — и конец. Я начальник лагеря!

Называйте меня как хотите, если я обману!

И я ему поверю: по глазам видно, что не под-  
пишет. Так зачем подставлять под удар именно его? Стоит дожидаться, когда кого угодно из нас отправят в очередное ШИЗО с родной «тройки», — и тогда уже я двинусь в последнюю голодовку под лозунгом: «Прекратите пытаться заключенных!» Конечно, с меня его немедленно сорвут, но наши хоть будут знать — с каким требованием я пойду на это. Смотрим мы с Зуйковым друг на друга... Ладно, солдатская твоя душа, ты по-своему прав. Но знал бы ты, до чего мне не хочется из блаженного своего состояния возвращаться назад — только с тем, чтобы начать при первом случае все сначала! И после голодовки есть — это всегда так больно! Небо сводит почему-то, как от ожога.

— Хорошо, переводите на режим ПКТ — начну есть.

— Начинайте сегодня! Врачи опасаются...

— Подождут ваши врачи. Пускай в ПКТ и лечат.

И не обманет Зуйков, прекратятся на этом все мои ШИЗО, а остаток срока в ПКТ он сделает для меня «максимально благоприятным» — насколько это вообще возможно для таких мест. На этом, однако, все и кончилось. Параллельно со мной свои пять суток отсидела Галя (я об этом и не знала), но больше никого из зоны в ШИЗО не сажали, и лозунг мой — написанный заранее зеленкой — пролежал под нашими телогрейками до самого моего отъезда в Киев. Правда, мы как-то утром нашли телогрейки перевернутыми, и лозунг — тоже: видно, проверяли ночью. Что ж, пускай — донесут КГБ о боевой готовности.

К весне 86-го нас начнут по-человечески кормить, а кагебешники — улещать и сулить освобождение безо всяких покаяний. Но, по странному совпадению, окончательно обезумевшая Эдита именно тогда не только присоединится к Владимировой, а и пойдет гораздо дальше нее — начнет пускать в ход руки! Что она норовит затеять драку — я узнаю, вернувшись из ПКТ, — но еще ушам своим не поверю. А уже в мае на пани Ядвигу и меня откроют уголовное дело «за избивание заключенной Абрутене», даром что всем будет известно, что это — чистой воды провокация, и хоть следовало эту дуреху отлупить — я все же воздержалась, а про пани Ядвигу и вовсе смешно говорить — она была чуть не вдвое старше Эдиты и вчетверо слабее.

И закроют это дело так же легко, как открыли, — шантаж уголовной статьей ни на кого не подействует, а затеяна эта вся история только ради последнего шанса: может, испугаются и напишут-таки покаяния? Не сработало, так стоит ли стараться? Им не то что добавлять нам сроки — избавиться от нас надо будет, и поскорей! Потеряв надежду на террор, цыкнут на Эдиту и Владимирову, и те, как по волшебству, утихнут. А на следующий день меня заберут в Киев «освобождаться», и последние три месяца будут вымогать, и стращать, и шантажировать, но одновременно клясться мне, что в «Малой зоне никого уже не осталось», хотя это будет тогда еще враньем. Не добившись желанного покаяния, за два дня до встречи в Рейкьявике глав сверхдержав все же выпустят, по секретному указу за подписью Громыко. На руки мне этот указ не отдадут, но объяснят зато, почему секретный:

- Вы же о помиловании не просили, и официально Президиум Верховного Совета СССР не имеет права вас помиловать.
- Мне помилование не нужно, мне нужна реабилитация!
- Ну, Ирина Борисовна, не все сразу. Может быть, попозже. А вот держать вас здесь мы

не имеем права, раз указ. Соберите вещи,  
мы отвезем вас домой.

Собираю, еще не соображая, врут или  
не врут?

И вот меня везут на черной «Волге»...

## ЭПИЛОГ

Сегодня, в сентябре 87-го года, в Малой зоне действительно никого не осталось. Она прекратила свое существование. Лагле живет в Эстонии, пани Лида — в Латвии, Наташа и Галя — в России, Рая и Оля — на Украине, Таня — в Америке. Но остались пока в ссылке Татьяна Михайловна Великанова и Елена Санникова, но остались сотни политзаключенных по другим лагерям, тюрьмам, ссылкам и психушкам. А эков-рабов, арестованных по уголовным статьям, хоть и не всегда за действительные преступления, — миллионы.

И умер в тюрьме, не дождавшись свободы, Анатолий Марченко, и каждый день кто-то умирает — и сегодня умрут, и завтра. А я живу, и это, наверное, несправедливо. Храню никому не нужную здесь эковскую форму работы пани Лиды. Иногда прижимаюсь к этой лагерной, столько повидавшей шкуре щекой. Серый мой, серый цвет! Цвет надежды! Сколько еще стоять этим лагерям на моей земле? Как я смею заснуть сегодня, когда они все стоят?

Но это у нашей зоны была серая форма. У большинства эков — черная. Им-то на что надеяться? Разве только — на нас с вами.

# КРАТКИЙ СЛОВАРЬ СОВЕТСКОГО ЖАРГОНА

«7+5»

семь лет лагеря и пять лет ссылки.

**БАЛАНДА**

похлебка, изготавливаемая специально для заключенных. Описать трудно — надо попробовать.

**БЛАТНЯШКИ, БЛАТНЫЕ**

люди из уголовного мира невысокой квалификации, иногда просто хулиганы.

**ВОХРЫ, ВОХРОВСКАЯ**

сокращенно: вооруженная охрана и соответствующее прилагательное.

**ВТЭК**

комиссия, определяющая степень трудоспособности.

**ГЕБИСТ, ГЕБУШНИК, КАГЕБЕШНИК**

букет обозначений штатного сотрудника КГБ.

**ГУИТУ**

Главное управление ИТУ (находится в Москве).

**ДЕЖУРНЯЧКИ**

дежурные надзирательницы.

**ДУБАЧКИ, ДУБАЧИ**

лагерные и тюремные надзиратели.

**ЗАКЛАДЫВАТЬ**

предавать.

**ЗНАЧКА**

хорошо припрятанная ценность.

**ЗАПАДЛО**

недостойно.

**ЗАМЕТУТ, ЗАМЕСТИ**

поймают, поймать.

**ЗАЦЕПИЛСЯ**

вошел в конфликт.

**ЗАШУХЕРИТЬ**

поймать с поличным.

**ЗЭК, ЗЭКОВСКИЙ**сокращенное название заключенного  
и соответствующее прилагательное.**ИТУ**Исправительно-трудовое учреждение;  
официальное название лагеря.**КАПТЕРКА**закрытое на замок помещение для вещей,  
которые заключенным позволено хранить.**КОРЕШКИ, КОРЕША**

друзья.

**ЛАБАТЬ**

играть на музыкальном инструменте.

**ЛАФА**

хорошая жизнь.

**ЛЕПИТЬ**

давать срок заключения.

## МАЛОЛЕТКА

лагерь для малолетних преступников. Другое значение — малолетний преступник.

## МАМКИ

женщины, родившие в тюрьме или в лагере.

## МЕНТ

милиционер, сотрудник МВД.

## НАДЫБАЛ

нашел.

## «НА ПОЛУСОГНУТЫХ»

с максимально возможным подхалимажем.

## ОПЕР

оперативный уполномоченный.

## ПОДЛИВА

вранье.

## ПОДОГНАТЬ

нелегально передать.

## ПОКАНАЛ

пошел, двинулся.

## ПОЛИТИЧКИ, ПОЛИТИЧЕСКИЕ

политзаключенные.

## ПОЛИТЧАС

час, выделенный в советских учреждениях для политической пропаганды. В нем обязаны принимать участие все привлекаемые.

## ПРАВИЛКА

уголовный самосуд.

ПРИШИТЬ

убить.

ПРИШИТЬ ДЕЛО

инкриминировать то, что есть, или сочинить то, чего нет.

СОПРУТ, СПЕРЕТЬ

украдут, украсть.

«СТОЛЫПИН», СТОЛЫПИНСКИЙ ВАГОН

несправедливо названный, но оставшийся в фольклоре вагон для перевозки арестантов.

«СТРОГАЧ» И «ОБЩАК»

соответственно — лагерь строгого и общего режима. Шкала советских лагерей — по степени увеличения зверств: общий, усиленный, строгий, особый.

СТУКАЧКИ, СТУКАЧИ

лагерные доносчики. Глагол — «стучать». Тюремный доносчик еще называется — «наседка».

ТРАХНУТЬСЯ

войти в половое сношение.

ТУБИК

туберкулезный больной.

УРКИ

бандиты, уголовники.

УЧАСТКОВЫЙ

участковый милиционер.

ФРАЕР

человек, не имеющий отношения к уголовному миру.

## ХАБАРЬ

взятка.

## ЧЕРНЫЙ ВОРОН

закрытая машина для перевозки заключенных.

## ЧЕТВЕРТНОЙ

двадцать пять рублей.

## ЧП

аббревиатура: чрезвычайное происшествие.

## ШВЕЙКА

швейное производство в лагере.

## ШЕСТЕРИТЬ

заискивать, быть на побегушках.

## ШИЗО

сокращенно — штрафной изолятор,  
по-человечески — карцер.

СКОЛЬКО ЛЕТ, СКЛОНЯЯСЬ  
НАД СТИХАМИ,  
МНЕ ИХ ПРЯТАТЬ,  
СЛЫША ЗВОН КЛЮЧЕЙ?  
СКОЛЬКО ТЫ ОТМЕРИШЬ  
МНЕ ДЫХАНЬЯ,  
СКОЛЬКО ЛЮТЫХ КАМЕРНЫХ  
НОЧЕЙ,  
РОДИНА? В ТВОИХ ТЯЖЕЛЫХ  
ЛАПАХ  
ТАК ДО СТОНА ТРУДНО  
БЫТЬ ЖИВОЙ!  
СКОРО ЛЬ ДЕНЬ ПОСЛЕДНЕГО  
ЭТАПА,  
ЧТОБ МОГЛА ТЫ ПРОРАСТИ  
ТРАВой  
СКВОЗЬ МЕНЯ, ЗАТИХНУТЬ  
НАДО МНОЮ,  
ВЕТЕР УВЕДЯ ЗА ОБЛАКА?  
ВПРОЧЕМ, ПОГОДИ ЕЩЕ  
С ОТБОЕМ:  
ВИДИШЬ — НЕ ДОПИСАНА  
СТРОКА  
ГЛАВНАЯ.  
1985, ТЮРЬМА КГБ, САРАНСК

# ИРИНА РАТУШИНСКАЯ. СТИХИ

Избранные стихотворения,  
написанные в период с 1970  
по 2017 год.

\* \* \*

Под соборными сводами вечными,  
Босиком по пыльным дорогам,  
С обнаженно дрожащими свечками  
Люди ищут доброго Бога.

Чтобы Он пожалел и понял  
Сквозь убийства, бред и обманы,  
Чтобы Он положил ладони  
На висок, как на злую рану,

Чтоб увидел кричащие лица,  
Темень душ и глаза без света,  
Чтоб простил дурака, и блудницу,  
И священника, и поэта.

Чтобы спас беглеца от погони,  
Чтобы дал голодающим хлеба...  
Может, Бог — это крест на ладони?  
Может, Бог — это темное небо?

Как к Нему отыскать дорогу?  
Чем надежду и боль измерить?  
Люди ищут доброго Бога.  
Дай им Бог найти и поверить.

1970, ОДЕССА

\* \* \*

Будет время — в темном покое  
Без расчета  
И без обмана  
Чье-то сердце возьму  
Рукою —  
И перчатку снимать не стану!  
Променяю  
Слабость на силу,  
Никого не прося о чуде —

Без оглядки на то, что было!  
Без опаски за то, что будет!  
Пусть мне будут черные кони  
Вместо бледных цветов в конверте!  
Я пройду по чьей-то ладони  
Параллельно  
Линии смерти.  
Уведу с дороги, посмею,  
Брошу в ноги —  
Свою причуду...  
Я свою судьбу в лотерею  
Проиграю —  
И позабуду!

И без жалости расставаясь,  
Не допив до конца стакана,  
Может быть,  
Я в грехах покаюсь.  
Но, скорее всего,  
Не стану.

1972, ОДЕССА

\* \* \*

Нет, не спаси, не сохрани.  
Мы так отвыкли от защиты!  
О, мы совсем не те пииты,  
В стихах искавшие брони, —  
Мы не холопы и не свита.  
В своей гордыне — что ж, карай! —  
Не преклонившие колена...  
Не допусти в последний рай,  
Но только сбереги от тлена,  
Что нам одно — закон и честь,  
Что мы растим своим дыханьем  
И называем вслух стихами,  
Не смея имя произнести.

1977, ОДЕССА

\* \* \*

Мне двадцать лет спустя не суждено  
Забыть свою свободу молодую,  
Склонить повинно голову седую —  
И затворить весеннее окно.

Мне не судьба однажды повстречать  
Друзей с надорванными голосами,  
И слышать суд над ними — и смолчать,  
И проводить беспомощно глазами,  
И ощутить предательства печать.

Пускай вершит законы большинство —  
Ему дано иное время года.  
А мне за право первого ухода  
Благодарить неведомо кого.

1977, ОДЕССА



А Четверг смотрел, а потом ушел —  
И никто не заметил, когда.  
И Пятница следом взошла на престол,  
Прекрасна и молода.

1978, ТАШКЕНТ

\* \* \*

Ах, как холодно в нашей долине —  
Здесьним ангелам снега не жаль.  
Злые ящерки пляшут в камине  
И не греет зеленая шаль.

Ты не в духе, ты пишешь и правишь —  
В черных брызгах рукав и тетрадь —  
И в досаде касаешься клавиш.  
Я уйду, я не буду мешать.

Присмотреть за домашней работой  
Со старушечьей связкой ключей,  
Для тебя переписывать ноты  
Да срезать огонек на свече.

В нашей церкви, добротной и грубой,  
Ни лампад, ни лукавых мадонн.  
Неподвижны органные трубы  
И безгрешен суровый канон.

Да четыре стихии впридачу,  
Да засаленный мудрый колпак...  
Я не плачу, мой милый, не плачу!  
Ты пиши, это я просто так.

Ну, пускай не веронское лето,  
И не черного кружева вздох —  
Напиши для меня канцонетту.  
Мой любимый, одну канцонетту!  
За одну не обидится Бог.

1979, КИЕВ

## БАЛЛАДА О СТЕНКЕ

Да воздастся нам высшей мерой!  
Пели вместе —  
Поставят врозь,  
Однократные кавалеры  
Орден — через грудь насквозь!  
Это быстро.  
Уже в прицеле  
Белый рот и разлом бровей.  
Да воздастся!  
И нет постели  
Вертикальнее и белей.  
Из кошмаров ночного крика  
Выступаешь наперерез,  
О, мое причисленье к лику,  
Не допевшему  
До небес!  
Подошли.  
И на кладке выжженной,  
Где лопатки вжимать дотла,  
С двух последних шагов я вижу —  
Отпечатаны  
Два крыла.

1979, КИЕВ

\* \* \*

Ах, какая была весна!  
Весь апрель — под знаком вокзала.  
Как преступно она дрожала —  
Вкось заброшенная блесна!

Деревянную крестовину  
Вышибала настезь — луной,  
Шла бессонными мостовыми —  
Тень раздваивала за мной.

Как в объятьях душила, бестия,  
Как лечила: не умирай!  
Ни России — ни выюг — ни Пестеля —  
Вот он, твой завещанный край!

Узнаёшь ли — листок с оскоминой,  
Старой музыки бледный круг,  
Смех соленый да свет соломенный —  
Не разнять окаянных рук!

Как вступала свирель приливами,  
Как отлив горчил — не беда —  
До чего мы были счастливыми  
В двух неделях от «навсегда»!

Как отважно читали повесть  
С эпилогом про сладкий дым...  
Он ушел, тот весенний поезд.  
Слава богу, ушел живым.

1980, КИЕВ

\* \* \*

Где вместо воздуха — автобусная брань,  
Где храп барака вместо новоселья...  
Ах, родина, зачем в такую рань,  
Как сонного ребенка из постели,  
Ты подняла меня?  
Татары ли насели?  
Да нет — молчок!  
Лишь тьма да таракань,  
Да русский дух.  
А гуси улетели.

1980, КИЕВ

\* \* \*

Где ты, княже мой?  
На каких нарах?  
Нет, не плачу: ведь обещала!  
Мои очи — суше пожара.  
Это только начало.  
Как ты держишься?  
(Нет, я знаю: лучше всех!)  
О, взять бы за руку!  
Занавеска зимы сквозная  
Гонит, гонит ветра по кругу —  
До отчаянья.  
Изнемог воздух  
На решетке оставлять ключья.  
Засыпаешь ли?  
Уже поздно.  
Я приснюсь тебе этой ночью.  
1981, МОСКВА, БУТЫРКА\*

\*

\* Стихотворение написано в дни первого ареста: 10 декабря 1981 г. Ирина Ратушинская и Игорь Герашенко были арестованы во время митинга в честь Дня прав человека, проходившего в Москве, возле памятника Пушкину. Приговор — десять суток административного ареста. Ирина была направлена в Бутырский следственный изолятор, Игорь — в Лианозовскую тюрьму.

\* \* \*

Самый легкий мне дан смех,  
Самый смертный мне дан век,  
Самый вещий мне дан свет —  
Накрахмаленный вхруст снег.  
И ни папертью, ни конем,  
Ни разбитой стекляшкой вен  
Не унять остыванья в нем  
До четвертого из колен.  
И куражится хрипый смерд,  
Ветхой сказочки не щадя,  
Как до плахи простелен след  
По заплаканным площадям:

«Выдыхай, выдыхай слова —  
Не впервой городить кресты!  
Ай, горячая голова —  
Кабы горлышку не простыть!»

Вот и замкнут мой первый круг:  
В опозореннейшей из стран  
Самый честный поэт — друг,  
Самый грубый солдат — страж.  
Так и жить на едином «нет»,  
Промерзать на любом углу,  
Бунтовать воробьем в окне —  
Птичьим пульсом да по стеклу!  
И не ведать, кому прочесть,  
Не сожженный листок храня...  
Изо всех обреченных здесь  
Есть ли кто счастливей меня?

1981, МОСКВА

\* \* \*

Вот он над нами — их жертвенный плат,  
Мазанный кровью.  
Выйди пророчить мор и глад —  
Никто и бровью...

Стоит ли спрашивать, что тебя ждет  
На повороте?  
Молча Кассандра чаю нальет,  
Сядет напротив.

Молча постелет, заштопает рвань,  
Кинет на кресле...  
Молча разбудит в бездонную рань  
И перекрестит.

Нет еще колера для твоего  
Смертного флага.  
Больно уж молод,  
Да что ж, ничего —  
Гож для ГУЛАГа!

1981, ЛЕНИНГРАД

\* \* \*

Молоко на строке не обсохло,  
А отчизна уже поняла,  
И по нас уже плакали ВОХРЫ,  
И бумаги вшивали в дела.  
Мы дышали стихами свободы,  
Мы друзьям оставались верны,  
Нас крестили холодные воды  
Отвергающей Бога страны.  
А суды громыхали сроками,  
А холопы вершили приказ —  
Поскорее прикрыть медяками  
Преступление поднятых глаз.  
Убиенны ли, проданы ль братьями —  
Покидаем свои города —  
Кто в безвестность,  
        а кто в хрестоматию —  
Так ли важно, который куда?  
Сколько выдержат смертные узы,  
На какой перетрутся строке?  
Оборванка российская муза  
Не умеет гадать по руке.  
Лишь печалится: ай, молодые!  
Неужели и этих в расход?  
Погрустит и пойдет по России.  
Озари ей дорогу, Господь!

1982, ТЮРЬМА КГБ, КИЕВ

\* \* \*

Господи, как он там? Присмотри за ним,  
Чтоб с ума не сошел в пустом закутке квартиры.  
Устыди его боль, от отчаянья охрани —  
Чтобы с ясным лицом — за двоих —  
Он встал перед миром.  
Подымаю чашу — да будет воля Твоя!  
Видишь: руки спокойны, легко беру и не трушу.  
Но на черно-белой эмульсии бытия —  
Укрепи его душу!  
Мне светлей, чем ему, и дорога моя проста:  
Отшлифована сколькими!  
    Вызубрен каждый камень!  
Мне не трудно на ней — гляди!  
    Лишь его не оставь  
В сумасшедших углах, размеченных пауками!  
Только руку не отними от его плеча,  
Только не лиши опоры — Твоей твердыни,  
И ошейник он скуёт на нашу печаль  
Из бессмертного сплава верности и гордыни.  
А когда мы вместе встанем пред Тобой,  
Ни о чём не прося —  
    что больше, когда мы рядом? —  
Ни клинком не разнять,  
    ни архангельскою трубой! —  
Мы ответим Тебе, не опуская взгляда.  
1982, ТЮРЬМА КГБ, КИЕВ

\* \* \*

Не может быть! Тюремный домовой —  
Совсем уж нереальная фигура!  
Ну, козни. Ну, лукавая натура...  
Но где он спрячется?  
С большою головой,  
Косматый, седенький...  
    В подушке? Под кроватью?  
Найдут при обыске. За тумбочкой? Опять  
Найдут... Куда же? Заползет под платье?  
Но платье утром будут надевать...  
А вот завелся, бестия! Шуршит  
И возится. То форточку откроет  
И дунет так, что черновик слетит,  
То под окном тихонечко завоет,  
Как если дуть в порожний пузырек.  
То ночью грохнет мыльницей с полки,  
То утром я расчесываю челку,  
А в ней — косичка. Ласковый намек!  
И тоненький скребется хохоток —  
За батареей, что ли? Кошки-мышки!  
Кого ловить? И кто на чьем хвосте?  
Зачем закладку вынимать из книжки  
И, трубочкой свернув, пихать в постель?  
Ну ладно: лампочка сторает раз в неделю —  
По вторникам. И бесится конвой,  
Натужно постигая: в чем же дело?  
Хорошенькое дело — домовой!  
Ну что ему пришьешь? И как допросишь?  
Какую, к черту, выберешь статью?  
Хотя статью найдут, и к ней — доносы...  
Ну а кого посадишь на скамью?  
Допустим, бутерброды все без масла  
И потому не падают. И он  
Тут ни при чем. Но мне еще неясно:  
Когда на отдаленной башне звон  
И бьет четырнадцать — какое это время?  
И кто там бьет? И, может быть, кого?  
Ох, шестипалое лихое племя!

Ужо я доберусь! Но тут совок  
Для мусора тихонечко съезжает  
По стенке... Трах! Как громко для совка!  
Обиделся! Мол, пусть не обижают  
Нахалки разные седого старика!  
А впрочем, он не дуется подолгу!  
Лукавец от ушей и до хвоста —  
Хихикнул, хрюкнул — и полез на полку.  
И там затихло. Видимо, устал.  
А тут и спать пора. Закрывать от света  
Глаза ладонью. Самый лучший сон  
Заказываю! Что я дам за это?  
— А что с тебя возьмешь? — смеется он.  
И вот я вижу: поле зверобоя,  
И кто-то там летит над ним, летит...  
И мне кричит: «Беру тебя с собою!»  
А за спиною вдруг как захрустит!  
Ах ты, лохматый! Маленький дикарь!  
Кончай шалить, уж на сегодня хватит!  
Гляжу спросонок... Лежа на кровати,  
Сокамерница кушает сухарь.

1982, ТЮРЬМА КГБ, КИЕВ

\* \* \*

Я письмо пишу сегодня  
На тот свет. А что же —  
Если с этого ни строчки,  
Ни вести? А рожи  
Тюремные — не людские,  
Не ясные лица —  
Так и сунутся в кормушку:  
Что ж, мол, не боится?  
Может, все-таки заплачет,  
А там и пощады —  
Заскулит? Глазок незрячий,  
Конвоир прыщавый...  
И не страшно, да ведь пакость!  
Воздух липнет к коже.  
Не учили в детстве плакать —  
Царствие им Божье —  
Бабка с дедом — а все буквам,  
Латинским и нашим...  
Не пугали меня букой,  
Не пихали кашей.  
Только выучить успели  
Доброе от злого  
Отличать — как у постели  
С крестом в изголовье  
Все сиротство отревела  
Я вперед, на годы...  
Дед, не шляхетское дело —  
Плакать перед сбродом,  
Правда? Бабушка, в любистке  
Ты меня купала,  
Чтоб по камерам гебистским  
Свежесть не пропала,  
Да? Шептала и крестила,  
Платком укрывала,  
Чтобы горло не простыло  
В тюремных подвалах!  
А сейчас бы передачу  
Принесла, и гордо

Посмотрела бы — без плача! —  
В служебные морды.  
Яснейшая моя пани  
В ботах из починки!  
Хороши ли под стопами  
Облаков овчинки?  
Деду, самый первый рыцарь,  
Твердыня кристалла!  
Помнишь: «Трижды разориться —  
Лишь бы честь осталась!»  
Видишь, крепко заучила.  
Доволен ли мною?  
Мне ль набрасывать кручину  
На плечи весною?  
Улыбнитесь мне, родные,  
И благословите  
На пути мои земные —  
Не в холопье свите,  
И не в свалке за погоны  
Да черную «Волгу»,  
А в столыпинском вагоне  
На верхнюю полку,  
Да на ватник не по росту,  
На платок измятый,  
На легкую мою поступь  
Меж двух автоматов.

1982, ТЮРЬМА КГБ, КИЕВ

\* \* \*

Сложно жить летучей кошке:  
Натянули провода.  
Промахнешься хоть немножко —  
И калека навсегда!  
Развели тоску такую,  
Понавешали тряпье...  
Но лечу! Кто не рискует —  
Тот шампанское не пьет!  
Вирази кручу я лихо,  
Лучшим асам нос утру...  
Догоняю воробьюху,  
Хоть и в рот их не беру.  
Мне приятно по привычке  
Развлекаться по пути:  
Выдрать хвостик Божьей птичке  
И по ветру распустить.  
Я люблю качать антенны,  
Портить нервы паукам,  
И заглядывать за стены,  
И ходить по потолкам.  
Я могу влететь в окошко  
На девятом этаже,  
Тихо скушать курью ножку,  
Торт и мятное драже,  
Глянуть в зеркало с улыбкой,

В ванной краны повертеть,  
Изловить из банки рыбку —  
И на крышу — песни петь.  
Там уже под мокрым снегом  
Пахнет мятой и луной,  
Там не терпится коллегам  
Поздороваться со мной.  
Сколько рыжих, сколько серых  
Стонет от моей красы!  
Там такие кавалеры —  
Со спины видны усы!  
Март, апрель... Наверно, в мае  
Буду нянчить я котят.  
Ни за что не отвечаю,  
Если тоже полетят!

1982, ТЮРЬМА КГБ, КИЕВ



\* \* \*

Морозом пахнет от коня,  
Заряжено ружье,  
И не размокшая стерня,  
А звонкий путь ведет меня:  
Скорей, скорей — поет.  
Еще не езжена тропа.  
Как тихо дышит лес!  
Под ясным снегом сладко спать,  
Но нас выводит убивать  
Небесный знак — Стрелец.  
Горя предутренним костром,  
Его глаза светлы...  
Мой хлоп играет топором,  
И самородным серебром  
Я зарядил стволы.  
Мой зверь залег, и нет следов,  
И стынут стремяна.  
Но сердце чует дымный зов:  
Моя охота, как любовь,  
Смертельна и хмельна.  
Глаза в глаза — мы встанем с ним  
На свежий холст зимы,  
И кровь прольется под одним:  
Моя — лазурь, его — кармин...  
Друг друга стоим мы!  
Я спешусь у твоих ворот  
И шкуру в дом внесу.  
А хочешь — пусть наоборот,  
И мой медведь меня уьет  
В серебряном лесу.  
Легко дышать и сладко жить,  
Но лес уже притих,  
И пар над логовом дрожит.  
Ты обещала ворожить —  
Кому из нас двоих?

1982, ТЮРЬМА КГБ, КИЕВ

\* \* \*

*Моему другу Валерию Сендерову*

Мне как-то снилось: кони и попоны,  
Рука с колючим перстнем на плече,  
И горький лик коричневой иконы,  
И твердый ропот тысячи мечей.  
Потом не помню. Травы уставали  
Оплакивать надломы, волки — выть,  
И кто-то пел по мертвым на привале,  
И сохли раны, и хотелось пить.  
Был месяц август. Дозревали звезды  
И падали в походные костры,  
И родину спасти еще не поздно  
Казалось нам. Мы дождались поры,  
Мы встали и, в который раз спасая,  
Ушли в траву и перестали быть.  
Юродивая девочка босая  
По нас бежала с криком.  
Не убить —  
Так просто. Кажется, сейчас усвоит  
Моя земля бесхитростный урок...  
Но нет! Ржавеют воды, бабы воют.  
А мы встаем, когда приходит срок.

1983, ТЮРЬМА КГБ, КИЕВ

\* \* \*

Дай мне кличку, тюрьма,  
В этот первый апрель,  
В этот вечер печали,  
С тобой разделённый.  
В этот час твоих песен  
О зле и добре,  
Да любовных признаний,  
Да шуток солёных.  
У меня отобрали  
Друзей и родных,  
Крест сорвали с цепочки  
И сняли одежду,  
А потом сапогами  
Лупили под дых,  
Выбивая с пристрастьем  
Остатки надежды.  
Мое имя подшито,  
И профиль, и фас —  
В нумерованном деле,  
Под стражей закона —  
Ничего моего!  
Так же, как и у вас —  
Никого, ничего!  
На решетке оконной —  
Вот я весь — окрести,  
Дай мне имя, тюрьма,  
Проводи на этап  
Не мальчишку, а зэка,  
Чтоб встречала меня  
Потеплей Колыма,  
Место ссылок и казней  
Двадцатого века.

1983, ЖХ-385/3-4, МОРДОВИЯ

\* \* \*

Помню брошенный храм под Москвою:  
 Двери настезь, и купол разбит.  
 И дитя заслоняя рукою,  
 Богородица тихо скорбит —  
 Что у мальчика ножки босые,  
 А опять впереди холода,  
 Что так страшно по снегу России —  
 Навсегда — неизвестно куда —  
 Отпускать темноглазое чадо,  
 Чтоб и в этом народе — распять...  
 — Не бросайте камня,  
 не надо!

Неужели опять и опять —  
 За любовь, за спасенье и чудо,  
 За открытый бестрепетный взгляд —  
 Здесь найдется российский Иуда,  
 Повторится российский Пилат?  
 А у нас, у вошедших, —  
 ни крика,

Ни дыхания —

горло свело:

По ее материнскому лику  
 Процарапаны битым стеклом  
 Матерщины корявые буквы!  
 И Младенец глядит, как в расстрел:  
 — Ожидайте, Я скоро приду к вам!  
 В вашем северном декабре  
 Обожжет Мне лицо, но кровавый  
 Русский путь Я пройду до конца,  
 Но спрошу вас — из силы и славы:  
 Что вы сделали с домом Отца?  
 И стоим перед Ним изваянно,  
 По подобию сотворены,  
 И стучит нам в виски, окаянным,  
 Ощущение общей вины.  
 Сколько нам — на крестах и на плахах —  
 Сквозь пожар материнских тревог  
 Очищать от позора и праха

В нас поруганный образ Его?  
Сколько нам отмывать эту землю  
От насилия и ото лжи?  
Внемлешь, Господи? Если внемлешь,  
Дай нам силы, чтоб ей служить.

1983, ЖХ-385/3-4, МОРДОВИЯ

\* \* \*

Вот и кончена пляска по синим огням,  
По каленым орешкам углей.  
Вот и роздых оранжевым пылким коням,  
А тепло все смуглей и смуглей.  
Оскудевшей ладошкой остатки лови —  
Не держи — отпуская на скаку!  
Остыванье камина печальней любви,  
Обреченной котенка в снегу.  
А когда догорит, отлетит и умрет,  
Как цыганский костер на песке,  
То останется маленький грустный зверек,  
Охвативший колени в тоске.  
Что ж, не всё танцевать этой долгой зимой,  
Раз никак не кончается год!  
И теряется в сумерках тоненький вой,  
Унесенный в пустой дымоход.  
Что ж, не всё баловаться, свиваясь кольцом,  
Да хвостом разводить вензеля...  
И хотелось бы года с хорошим концом —  
Да остыла под лапкой зола...  
Не скули, дурачок, мы газету зажжем,  
Всю подшивку — в разбойничий дым!  
Хоть и мало тепла, да горит хорошо!  
Потанцуем, а там поглядим.

1983, ЖХ-385/3-4, МОРДОВИЯ

\* \* \*

Когда-нибудь, когда-нибудь  
Мы молча завершим свой путь  
И сбросим в донник рюкзаки и годы.  
И, невесомо распрямясь,  
Порвем мучительную связь  
Между собой и дальним поворотом.  
И мы увидим, что пришли  
К такому берегу Земли,  
Что нет безмолвной, выжженной и чище.  
За степью сливы расцветут,  
Но наше сердце дрогнет тут:  
Как это грустно — находить, что ищем!  
Нам будет странно без долгов,  
Доброжелателей, врагов,  
Чумных пиров, осатанелых скачек.  
Мы расседлаем день — пасться,  
Мы удержать песок в горсти  
Не попытаемся — теперь ведь все иначе.  
Пусть победы нашим счет  
Другая летопись ведет,  
А мы свободны — будто после школы.  
Жара спадает, стынет шлях,  
Но на оставленных полях  
Еще звенят медлительные пчелы.  
Ручей нам на руки польет,  
И можно будет смыть налет  
Дорожной пыли — ласковой и горькой.  
И в предвечерней синеве  
Конь переступит по траве  
К моей руке — с последней хлебной коркой.

1984, ЖХ-385/3-4, МОРДОВИЯ

\* \* \*

Нас Россией клеймит  
Добела раскаленная вьюга,  
Мракобесие темных воронок —  
Провалов под снег.  
— Прочь, безглазая, прочь!  
Только как нам уйти друг от друга —  
В бесконечном круженье,  
В родстве и сражении с ней?  
А когда наконец отобьешься  
От нежности тяжелой  
Самовластных объятий,  
В которых уснуть — так навек,  
Все плывет в голове,  
Как от первой ребячьей затяжки,  
И разодраны легкие,  
Как нестандартный конверт.  
А потом, ожидая, пока отойдет от наркоза  
Все, что вышло живьем  
Из безлюдных ее холодов, —  
Знать, что русские ангелы,  
Как воробьи на морозах,  
Замерзают под утро  
И падают в снег с проводов.

1984, ЖХ-385/3-4, ПКТ, МОРДОВИЯ

\* \* \*

Научились, наверно, закатывать время  
в консервы,  
И сгущенную ночь подмешали во все времена.  
Этот век все темней,  
И не скоро придет двадцать первый,  
Чтоб стереть со вчерашней тюремной стены  
имена.

Мы его нагружали ушедших друзей голосами,  
Нерожденных детей именами —  
для новой стены.

Мы с такою любовью его снаряжали, но сами  
Мы ему не гребцы, даже на борт его не званы.

Но отмеренный груз укрывая рогожею грубой,  
Мы еще успеваем горстями просеять зерно —  
Чтоб изранить ладони, но выбрать драконовы  
зубы

Из посева, которому встать после нас суждено.  
1984, ЖХ-385/2 ШИЗО, МОРДОВИЯ

## ПРИЗВАНИЕ

Сегодня Господу облака  
Вылепил Микеланджело.  
Ты видишь — это его рука  
Над брошенными пляжами.  
Над морем и городом их несет  
И над шкурой дальнего леса,  
И — слышишь — уже грохочет с высот  
Торжественная месса!  
Сегодня строгую ткань надень  
И подставь библейскому ветру.  
Смотри, какой невиданный день —  
Первый от сотворенья света!  
Исполнится все — лишь посмей желать,  
Тебе — и резец, и право!  
Ликуют тяжелые колокола,  
И рвется дыханье, и вечность мала:  
Безмерна твоя держава!  
Отныне ты — мастер своих небес:  
Назначишь ли путь планетам?  
Изо всех чудес — поверить себе —  
Труднейшее чудо света!  
Но какими ты вылепишь облака —  
Таким и взойти над твердью...  
Так встань перед миром!  
Прямей!  
Ну как?  
Отважишься ли — в бессмертье?

1985, ЖХ-385/3-4, МОРДОВИЯ

\* \* \*

Родина, ты мне вырастаешь в ребра!  
Погоди, помедли, не теперь!  
Я тебя так редко помню доброй.  
Ты свирепа, как библейский зверь.  
Снова дождик лупит по бетону,  
Хлещет по решеточной броне.  
Надышаться ветром законным  
Дай мне сквозь намордник на окне!  
Знаю: этой ласки ждать нелепо,  
И смолчу, и боль не покажу.  
Я возьму сегодня пайку хлеба  
И на завтра корку отложу.  
Сколько лет, склоняясь над стихами,  
Мне их прятать, слыша звон ключей?  
Сколько ты отмеришь мне дыханья,  
Сколько лютых камерных ночей,  
Родина? В твоих тяжелых лапах  
Так до стога трудно быть живой!  
Скоро ль день последнего этапа,  
Чтоб могла ты прорасти травой  
Сквозь меня, затихнуть надо мною,  
Ветер уведя за облака?  
Впрочем, погоди еще с отбоем:  
Видишь — не дописана строка  
Главная.

1985, ТЮРЬМА КГБ, САРАНСК (?)

## СВИДАНИЕ

Все равно нам с тобою не знать никогда,  
Что нам завтра судьба обещает.  
Наше дело — бесстрашие, если беда,  
И спокойствие, если прощанье.  
Улыбнись через силу, смотри мне в глаза —  
Чтобы так и запомнить друг друга!  
Нам не время еще отпустить тормоза,  
Не пройдя даже первого круга.  
Мне не время по-бабьи еще зареветь  
На плече твоём, твердом от муки.  
Пять минут — и меня уведут запереть  
За воротами новой разлуки.  
Громычайте, ключи: нам души не сомнут  
Штемпеля на обратном билете!  
Будет время — и пять этих лютых минут  
Нам зачтутся — за сколько столетий?

1986, ТЮРЬМА КГБ, КИЕВ

\* \* \*

Царь Приам проходит по стенам,  
А внизу клубится осада.  
Как душа расстается с телом —  
Без отчаянья и досады —  
Из немислимого покоя  
Глядя в город — уже вчерашний,  
Присягнув обреченной Трое,  
Он не двинется с этой башни.  
За высокий глоток прощанья  
Он Ахилла просил о сыне.  
Все исполнено. И отныне —  
Никаких забот за плечами.  
Посмотрите, люди и боги:  
На лице — ни страха, ни боли.  
Вот стоит он, седой и строгий, —  
Как раба отпустив на волю.  
Вот еще посмотреть на кровли,  
Да на храм — беззащитно белый.  
А потом захлебнуться кровью  
От стрелы, что уже запела.

1986, КИЕВ

\* \* \*

Засвети мне зеленый огонь среди ночи,  
Я пойду на него напролом,  
        как на свет из окна.  
Что ты странно глядишь,  
        почему так измучены очи,  
Моя грустная кровь,  
        моя вросшая в сердце страна?  
Что ты поровну хлеба на всех не ломаешь, Россия,  
Ты, меня научившая пайку делить пополам?  
Что так горько в разлуке щемит  
        перехваченной ксивой,  
И от каждой свечи  
        что за тени встают по углам?  
Засвети одинокий огонь, расстели свое поле —  
Мне дорогу во тьме все же легче найти,  
  чем тебе.  
Хочешь — я напороочу:  
        не будет ни страха, ни боли —  
Только ласковый свет на твоей непутевой  
  судьбе.  
Погоди убивать — я тебе доброты напороочу,  
И простят тебя дети твои,  
        только слезы не лей.  
Лишь огонь засвети,  
        лишь решишь на огонь среди ночи!  
И не бойся: вот видишь — тебе уже стало  
  светлей.

1987, ЛОНДОН

\* \* \*

У вулканов зловеще дымили кратеры.  
Стерegli границы — и днем, и ночью.  
Популярные римские императоры  
Уменьшали плату своим доносчикам:  
Вдвое, втрое — в меру гражданской совести.  
Все дороги вели неизменно к Риму.  
Вдоль дорог распинали. Из римских офисов  
Шли приказы. Последствия были зримы  
На крестах. Не надо валить на гуннов!  
Пропыленным когортам светила слава.  
Безнадежная цезарская фортуна  
Улыбалась двусмысленно и лукаво,  
Зная: каждый сей олимпийцам равен,  
А по всем законам земли и неба —  
Облеченный властью никак не вправе  
Отказать доносчику в пайке хлеба.

1987, ЧИКАГО

## ГОВОРИТ ВЕТЕР

Доигрался, князь, до рабской клячи,  
И, по чести, так тебе и надо!  
Если бы не то, что Фрося плачет, —  
Я б тебе, бессмысленное чадо,  
Облаками не темнил побега,  
Травы б не разнеживал дождями:  
Тешься с половчанкой под телегой,  
Заедай обиду лебедями!  
Ну да ладно: свищут за рекою,  
Кони ждут; хлебни Донца по-волчьи!  
И не бойся: смелым хватит боя,  
А погони — это дело сволочи.  
Ты уйдешь, противника не встрети,  
Ты бобром рубец утрешь кровавый.  
А тобой положенные кмети  
Прорастут травой во княжью славу.  
Но твои наследники в России,  
Восходя на крепостные стены,  
Прежде вспомнят бабку Ефросинью,  
А уж там — бежавшего из плена.

1987, ЧИКАГО

## ПОБЕДИТЕЛЬ ДРАКОНА

— Выноси меня, белый конь,  
Выноси с перебитой жилой;  
Отдыхать не судьба: мы живы  
После всех боев и погонь.  
Пролетай небеса, и воды,  
И снега — из последних сил:  
Кто однажды глотнул свободы —  
Не вернется во тьму могил.  
Выноси! Оживи ветрами  
И травой, что кроет холмы,  
Дай увидеть Того — над нами,  
И Того, кто мудрей, чем мы!  
Выноси!  
И последним вздохом  
Помоги мне сладить с мечом,  
Разделив «хорошо» и «плохо» —  
Красной струйкой. Ты ни при чем,  
Белый конь!  
Тебя не пятнает  
Эта грань — уходи, белей  
Всех, кто знает и кто не знает  
Сей черты,  
И плач матерей —  
Да не метит пути, и звезды —  
Да не властны над бегом влёт!  
Выноси!  
Да еще не поздно —  
Всех друзей простить наперед.

1987, ЧИКАГО

\* \* \*

Радуйся, дикий мой сокол:  
Нам день для охоты,  
Радуйся, дикий мой конь:  
Позабудь про узду.  
По июньским холмам  
Пронесёмся мы бегом и летом,  
А под вечер Господь  
Нам затеплит большую звезду.  
Приютивших нас на ночь  
Мы щедро одарим добычей,  
Разбудившую девушку  
Звонким одарим кольцом...  
Улыбнись, моя радость,  
Услышав, как соколы кличут!  
Если сына родишь —  
Извести меня первым гонцом.

1988, НЬЮКАСЛ

\* \* \*

Пошли меня, Боже, в морские коньки  
И дай мне осанку дракона,  
Ребристую шкуру, шипы-плавники,  
И море — судьбой вместо трона.  
Умножь беззаботное племя мое,  
Храни жеребят и кобылок,  
Волнуй ненадежное наше жильё,  
Чтоб страшно и весело было!  
Пусть море чернеет, гремит и встает  
Стеной меж собою и сводом!  
Я вспомню забытое имя Твое —  
Лишь только даруй мне свободу!  
Да будет зеленая плотная соль  
Мне вместо дворца и темницы...  
Шаги.  
Я смогу умереть как король.  
Но я не хотел им родиться!

1988, ИТАКА

\* \* \*

Взрослым ангелам нужно терпенье:  
И у них там своя малышня.  
Соберешься лететь с порученьем —  
Так и плачут: Возьмите меня!

Объясняешь: там боль и ненастье,  
Там война и чужая вина,  
Там так трудно мечтают о счастье —  
Том, что тут вам навеки — сполна!

Но глядят убежденно и свято:  
Мы большие... Возьмите сейчас!  
Мы слышали: зовут из кроваток  
Те, что очень похожи на нас!

И потом, вечерами, по-детски  
Повторяют земные слова:  
— Как зовут то созвездье?  
— Донецком.  
— А вон то, что побольше?  
— Москва.

1988, ЧИКАГО



\* \* \*

Кого в степи настигли вскачь,  
Кого казнят на площади...  
Святая Дева, ты не плачь.  
Ты наших женщин пощади.

Ты помоги рожать мальцов,  
Дай молока в пустую грудь.  
Они сочтутся за отцов.  
Когда-нибудь. Когда-нибудь.

Кто — из обугленных бойниц,  
Кто — из-под каменной пыли...  
Ты изо всех небесных птиц  
Нам белых аистов пошли.

И помоги, чтоб встали те,  
Кому в назначенном «потом»  
Тебе в последней простоте  
Шептать слова разбитым ртом.

Святая Дева, ты не плачь.  
Ты наших женщин сохрани.  
Пусть нам — застенок и палач,  
А продолжают нас они.

Дай им поднять таких сынов,  
Чтобы — глаза в глаза — как мы.  
Убереги от страшных снов,  
От мора, глада и тюрьмы,

Пока младенцы, а когда  
Подымут головы — забудь  
Бойцов — до Страшного Суда,  
Но матерям наполни грудь.

1988, ЛОНДОН

\* \* \*

Волк,  
Скулящий: «Не стало на свете волков», —  
Не проси в утешенье жакана!  
Этой чести достойней любой из щенков,  
И никто из упившихся смертью стрелков  
За тебя не подымет стакана.  
Не на шкуру забытого точится нож;  
Принимай же собачью присягу!  
Чтоб оскалился молча на пёсий скулёж  
Твой подраненный брат из оврага.  
Он залижет бока,  
Он учует: пора —  
Не взыскую ответного зова.  
И на целой земле не найдут серебра,  
Чтобы пулю отлить на такого.

1991, ЛОНДОН

\*

## АНГЛИЯ\*

В этой стране хорошо стареть,  
В этой стране хорошо расти.  
Первая треть, последняя треть.  
Время собаку себе завести:  
Пёсего мальчика — глаз из шерсти  
Не разгрести.

В этой стране — ходить по траве,  
Вдумчиво разжигать камин,  
Считать корабли в ночной синеве.  
У них и флаг — синева, кармин,  
Но все-таки белое во главе:  
На каждом их льве.

Странно, как здесь уважают львов.  
Это эстетика всех ворот,  
Стен, и оград, и старых домов —  
С римских времен, с южных широт.  
Станный народ.

Юным положено уезжать.  
В Австралию или еще куда.  
В этом сходятся плебс и знать:  
Выросли — стало быть, из гнезда.  
Плачут ли мамы?  
Нет.

\* Следующие четыре стихотворения не имеют указанной автором даты. Включены в сборник «Ветер в городе» (2011 г.).

## ПЕСНЯ БОЙЦОВ СВЯТОСЛАВА

А ну-ка, девочки,  
Скидайте льны!  
Идущий в бой  
Пускай найдет подругу.  
Чтоб знали все:  
Испробуют сыны  
Хазарский череп, пущенный по кругу.  
Ваш праздник, отроки:  
Они идут на ны!

Мы встретим их,  
Когда роса спадет,  
Где наши травы  
И могилы наши.  
Пускай прамаць  
Наливает мед  
В хазарский череп — круговую чашу.  
Отцы, ваш праздник:  
Да продлится род!

Они идут,  
Их бог не утолен,  
И отказать  
Они ему не вправе.  
Так постигай  
Чужой земли закон,  
Хазарский череп в золотой оправе!  
Ваш праздник, женщины:  
Вам есть где сеять лен!

## РЕДЬЯРДУ КИПЛИНГУ — С ЛЮБОВЬЮ

Посмотри, чужак:  
Вот мои сыновья,  
Вот земля — в перекате ржи.  
Это ты сказал,  
Но попомню — я,  
Что нельзя вам любить чужих.

Что хороший чужой —  
Значит мертвый чужой —  
Это правда твоя и ложь.  
И ты сам, чужак,  
За такой чертой,  
Что не спросишь и не найдешь.

Там солдатам — сон,  
Покой и приют,  
Но за землю спорить — живым.  
И мои сыновья  
У костра споют  
То, что ты завещал своим.

\* \* \*

Как выдает боязнь пространства  
Желание вписаться в круг,  
Как самозванное дворянство  
Изобличает форма рук,  
Как светят контуры погостов  
Из-под разметки площадей,  
Как бродят, царственно и просто,  
Лакуны бывших лошадей  
По преданным бесплодию землям —  
Так, слепком каждому листу  
И каждой птице на кусту —  
Хранит природа пустоту,  
Подмен надменно не приемля.

## БЕЛЫЙ ОЛЕНЬ

Белый олень, золотые рога,  
Девочка спит на краю четверга.  
Маятник ходит за Млечным Путем.  
Как мы летаем, когда мы растем!

Девочка спит. Под щекой кулачок.  
Сторож над пропастью — серый волчок.  
Сыплются звезды, и светится снег.  
Сказочных санок нездешний разбег —

Свист под полозьями — треск — разворот...  
Это во сне, или землю трясет?  
Где я?  
Подвал, и труха с потолка.  
Сани, куда же вы без седока?

— Серый волчок, что там сверху за вой?  
— Слышишь снаряд — значит, это не твой.  
Ты не тревожься, ты спи и расти.  
Знаешь ведь: нас обещали спасти.

3 ЯНВАРЯ 2015 Г., МОСКВА

\* \* \*

В маленький домик с зеленой трубой  
Кот мой ушел и зовет за собой.  
Миску поставить, налить молока.  
Я ненадолго, наверно.  
Пока.

4 НОЯБРЯ 2011 Г., МОСКВА

\* \* \*

Над грохотом сфер мы не властны,  
С кругов не сорваться ветрам,  
Но скрипка вступает — так ясно,  
Как юная девочка в храм.

Весь мир разделен и поделен.  
Нелепо грустить не о том.  
Но скрипка вступает,  
Как зелень  
Вступает в заброшенный дом.

Мой город фальшиво спокоен,  
Лишь сдавленный плач за стеной.  
Но скрипка вступает,  
Как воин  
Вступает в решительный бой.

Пусть ноты в пожаре сгорели,  
Оркестра собрать не смогли,  
Но скрипка вступает апрелем  
В озябшую душу Земли.

Вселенную вспять не завертит.  
Конец — у любого пути.  
Но скрипка вступает в бессмертье.  
И мы уступаем бессмертью,  
И это не больно.  
Почти.

10 СЕНТЯБРЯ 2014 Г., МОСКВА

## АННА

Сколько ангелов у Анны  
На конце иглы?  
А она их не считает,  
Вышьет — сразу выпускает.  
Небеса белы  
Над пресветлым садом Анны,  
Вышитым крестом.  
Там среди растений странных —  
Настежь красный дом.  
Заходите, пойте песни,  
Люди и коты.  
Здесь, как в сердце, — все на месте...  
Анна, где же ты?  
Только теплое дыханье  
Там — за тканью, там — за гранью,  
Там — над зимней мглой.  
Это с бережным вниманьем  
Анна чинит мирозданье  
Тонкою иглой.

24 МАРТА 2013 Г., МОСКВА

\*

## АНГЕЛЫ\*

Ангелы, ангелы, спойте вместе со мной!  
Столько радости на лугу цветет,  
Столько радости в облаках плывет,  
А в кустах там смотрит ежик, такой смешной.

Ангелы, ангелы, потанцуйте со мной!  
Я хоть маленькая, в хоровод могу.  
Вместе весело, в хоровод же нельзя одной.  
А нельзя — плохое слово тут, на лугу.

Ангелы, ангелы, возьмите меня летать!  
Ну, пожалуйста, не говорите «нет».  
Ой, как здорово... Ясно, и все видать!  
Выше, выше — где башни, и этот свет!

16 ИЮНЯ 2017 Г., МОСКВА

\*

«Ангелы» — последнее стихотворение Ирины Ратушинской.



Ramirez



ИРИНА БЫЛА ПОЭТОМ  
И ПИСАТЕЛЕМ. КАКОЕ  
ПРИЗНАНИЕ ПОЛУЧИЛИ ЕЕ  
СТИХИ? ШЕСТЬ ПРЕСТИЖНЫХ  
МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРЕМИЙ,  
ИЗДАНИЕ КНИГ БОЛЕЕ ЧЕМ  
В ДВАДЦАТИ СТРАНАХ,  
ЧЛЕНСТВО В НЕСКОЛЬКИХ  
СОЮЗАХ ПИСАТЕЛЕЙ И...  
САМЫЙ БОЛЬШОЙ СРОК  
ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ,  
НА КОТОРЫЙ БЫЛА  
ОСУЖДЕНА ЖЕНЩИНА  
В СССР ПО ПОЛИТИЧЕСКОЙ  
СТАТЬЕ ПОСЛЕ СМЕРТИ СТАЛИНА.

# БИОГРАФИЯ ИРИНЫ РАТУШИНСКОЙ, НАПИСАННАЯ ЕЕ МУЖЕМ ИГОРЕМ ГЕРАЩЕНКО

С приложением перечней  
литературных работ и между-  
народных наград Ирины  
Ратушинской.

## БИОГРАФИЯ ИРИНЫ РАТУШИНСКОЙ

Биография любого писателя и поэта — это написанные им книги. Истинное творчество всегда от Бога, и без Его участия не рождается. Поэтому я буду в первую очередь писать о том, как события жизни Ирины Ратушинской повлияли на ее творчество. А основные даты, список книг и перечень наград приведу в конце.

Ирина была поэтом и писателем. Какое признание получили ее стихи? Шесть престижных международных премий, издание книг более чем в двадцати странах, членство в нескольких союзах писателей и... самый большой срок лишения свободы, на который была осуждена женщина в СССР по политической статье после смерти Сталина.

Написание стихов, да и прозы, было для Ирины побочным продуктом ее общения с Богом. И этим определялось все.

Ирина родилась 4 марта 1954 года в Одессе. Она обладала замечательным чувством юмора, свойственным многим одесситам. Со студенческих лет Ирина писала сценарии для КВН и была одним из лучших авторов в этой области.

Она родилась в семье инженера и учительницы русской литературы. Ее воспитанием занимались в основном дедушка и две бабушки. Все трое до революции окончили гимназии. Правильная русская речь дореволюционного стиля и твердые принципы дворянской чести были естественной частью этого воспитания.

В 1977 году Ирина окончила физический факультет Одесского университета. Она была необыкновенно умна и логикой пользовалась математической, а не женской. Хотя и чисто женской интуицией была не обделена.

В начале 1980-х стихи Ирины стали широко известны среди интересующихся поэзией. Они печат-

тались в зарубежных русскоязычных журналах («Грани», «Посев») и ходили по всему Советскому Союзу в машинописных копиях.

В это время Ирина уже находилась в оперативной разработке КГБ. Интересен псевдоним, присвоенный ей органами, — «Неугомонная». К сожалению, о том, как именно велась слежка, мы уже не узнаем: согласно ответу, полученному из Отраслевого государственного архива Службы безопасности Украины, где ныне хранятся 13 томов следственного дела Ирины, «дело оперативного наблюдения (ДОН) № 168 в отношении Ратушинской И. Б. («Неугомонная») было уничтожено в 1990 году».

17 сентября 1982 года Ирина была арестована. Под следствием она не ответила ни на один вопрос и не подписала ни одного протокола допроса.

Суд проходил в Киеве. 3 марта 1983 года, накануне дня рождения, Ирина была осуждена по статье 70 (антисоветская агитация и пропаганда) на семь лет лагеря строгого режима с последующей пятилетней ссылкой. Пять пунктов приговора составляли ее стихи, квалифицированные как «клеветнические документы в стихотворной форме».

Из двенадцати отмеренных лет Ирина отбыла в неволе четыре года и три недели: 9 октября 1986 года ее досрочно освободили без помилования по ходатайству Прокуратуры СССР и КГБ СССР. За два дня до встречи Горбачева и Рейгана в Рейкьявике.

Прошения о помиловании она не писала, поскольку не признавала себя виновной.

★ ★ ★

В декабре 1986 года мы поехали в Англию по приглашению Союза писателей Великобритании. В аэропорту Хитроу нас встречало множество журналистов, а через день после приезда мы были приглашены на Даунинг-стрит на встречу с премьер-министром Маргарет Тэтчер.

В мае 1987 года мы приехали в Роттердам на поэтический фестиваль, где ежегодно вручается Poetry International Rotterdam Award — самая престижная международная премия, присуждаемая поэтам. Ирина стала лауреатом этой премии еще во время заключения, а в 1987 году ее пригласили на фестиваль в качестве почетного гостя. В Роттердаме нас застала новость о том, что мы лишены советского гражданства<sup>1</sup>.

Мы получили вид на жительство в Великобритании и поселились в Лондоне. В 1992 году родились наши сыновья-двойняшки. Когда дети подросли, мы решили вернуться на Родину. Подали документы на российское гражданство, но дело затягивалось, ответа не было более года. После того как письма в нашу поддержку подписали Василий Аксенов, Белла Ахмадулина, Андрей Битов, Фазиль Искандер, Владимир Буковский, Гарри Каспаров, гражданство нам наконец вернули.

Мы провели за границей в общей сложности 12 лет: уехали из СССР в декабре 1986 года, а вернуться смогли только в декабре 1998-го — уже в Россию.

\*\*\*

Как повлияло пребывание в заключении на творчество? Утверждаю, что крайне мало, хотя это многим покажется странным. Звучит парадоксально, но я знаю, о чем говорю. И это притом что ее заключение было запредельно тяжелым. 331 сутки карце-

<sup>1</sup> Институт лишения гражданства был закреплен в советском законодательстве и иногда использовался властями для расправы над инакомыслящими. В 60—80-е гг. Президиум Верховного Совета СССР лишил гражданства целый ряд видных деятелей культуры, в том числе писателя А. И. Солженицына, М. Л. Ростроповича, Г. П. Вишневскую и многих других. Закон о гражданстве 1991 г. впервые в отечественной истории указал, что каждый человек имеет право на гражданство и никто не может быть лишен гражданства или права изменить его. В 1993 году это правило стало конституционной нормой: в ст. 6 действующей Конституции РФ прямо говорится о том, что гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства. См.: Кутафин О. Е. Российское гражданство. М., 2011. С. 311.

ра — к этому ничего добавлять не нужно. В отсидке она строго следовала правилу, сформулированному Александром Исаевичем Солженицыным: «Не верь, не бойся, не проси».

То, что она выжила в лагере, было Божьим чудом.

Если читать Иринины стихи не глядя на даты написания, в большинстве случаев невозможно определить, созданы ли они в карцере или на воле.

Вот стихотворение, которое Ирина начала за год до ареста, а дописала в 1983 году в ЖХ-385/3-4, в Мордовии, в Малой зоне для особо опасных государственных преступниц.

Что ты помнишь о нас, мой печальный,  
Посылая мне легкие сны?  
Чем ты бредишь пустыми ночами,  
Когда стены дыханью тесны?  
Вспоминаешь ли первые встречи,  
Дальний стан, перекрестки веков?  
Говорит ли неведомой речью  
Голубое биенье висков?  
Помнишь варваров дикое стадо,  
И на гребне последней стены  
Мы — последние — держим осаду  
И одною стрелой сражены?  
Помнишь дерзкий побег на рассвете,  
Вдохновенный озноб беглецов,  
И кудрявый восточный ветер,  
Мне закидывающий лицо?  
Я не помню, была ли погоня,  
Но, наверно, отстала вдали,  
И морские веселые кони  
Донесли нас до теплой земли.  
Помнишь странное синее платье —  
И ребенок под шалью затих...  
В этот год исполнялось проклятье,  
И кому-то кричали: «Мы — братья!»  
А кого-то вздымали на штык...  
Как тогда мы друг друга теряли —

В суматохе, в дорожной пыли —  
И не знали: на день, навсегда ли?  
И опять — узнаешь ли — нашли!  
Через смерть, через годы и годы,  
Через новых рождений черты,  
Сквозь забвения темные воды,  
Сквозь решетку шепчу: это ты!

Как повлияла семейная жизнь на ее творчество? Ирина была исключительно счастливой женщиной. 39 лет в браке, в котором любовь на смертном одре была такой же, как и в медовый месяц. Все эти 39 лет, от венчания и до последнего ее вздоха. Она умерла в своей постели, на руках своего мужа, с его поцелуем на устах.

Ирина шутила, что ей не место в Союзе писателей России хотя бы потому, что вся ее любовная лирика посвящена мужу.

Тщеславия она была лишена напрочь, а известность ее тяготила. Затащить ее на литературную тусовку было нелегко. На беседу с журналистами соглашалась только тогда, когда могла в этом интервью кого-то поддержать. При этом она вовсе не была нелюдимым человеком — с любым собеседником говорила легко и умела слушать, как никто другой. Я часто спрашивал мою Ирку: как она может общаться с неумными людьми? На что она отвечала, что видит в каждом человеке образ и подобие Творца, пусть сколь угодно искаженный. Да и как писателю ей это полезно: образы надо знать и чувствовать, а не придумывать. А образам в творчестве она уделяла большое внимание.

Любую литературную работу, будь то стихи, проза или статьи, Ирина выпускала из рук, только доведя до совершенства. Никакой редактурой не допускала даже на уровне запятой, поэтому во всех изданиях имела репутацию несговорчивого автора. Исключения составляли лишь сценарии для кино и телевидения: в сценарий всегда вмешивались продюсер и редактор. Но эту часть своей работы

Ирина литературой не считала, а воспринимала просто как источник заработка, что не мешало ей делать свое дело на очень высоком уровне.

Ирина была убежденной сторонницей свободного распространения литературы и все свои работы выкладывала в открытый доступ, заявляя, что дает полное право всем пересылать ее тексты кому угодно, цитировать без спроса и писать песни на ее стихи. То, что она написала и выпустила из рук, она больше не считала своей собственностью.

А вот публиковать личные письма Ирина считала недопустимым. Еще задолго до ее болезни мы решили, что вся наша лагерная переписка будет получена нашими сыновьями после смерти последнего из нас. Получена сроком на год, а потом они ее сожгут, никому не показывая. Сыновья дали Ирке и мне слово, что исполнят нашу волю. Это личная переписка — она не для посторонних глаз.

Правозащитная деятельность Ирины была направлена на борьбу с нарушениями прав человека в СССР — борьбу за свободу нашего народа. Россия для Ирины всегда была Родиной, а русский народ — своим и родным, что отличало ее от подавляющего большинства диссидентов. Она никогда не получала никаких грантов и на все предложения действовать вразрез с интересами России и русского народа отвечала отказом.

Ее духовная целостность определялась тем, что она никогда не шла наперекор своей совести.

Книга «Серый — цвет надежды» необычна не только потому, что это единственная книга о женском политическом лагере строгого режима постсталинской эпохи. Ирина смогла предельно точно описать атмосферу той жути, которая царила на зоне, а главное, она смогла показать, что можно вынести все испытания, не сломавшись и сохранив себя, и даже выйти из этой борьбы победителем... мертвым или живым, но победителем.

Игорь Геращенко

## ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ ИРИНЫ РАТУШИНСКОЙ

4 марта 1954 г. Родилась в Одессе.

1977 г. Окончила физический факультет  
Одесского университета.

Апрель 1979 г. Переехала в Киев.

16 ноября 1979 г. Вышла замуж.

17 сентября 1982 г. Арестована.

4 марта 1983 г. Приговорена за «антисовет-  
скую агитацию и пропаганду» к семи годам строгого  
режима с последующей пятилетней ссылкой.

9 октября 1986 г. Освобождена из заключения.

Декабрь 1986 г. Поехала с визитом в Велико-  
британию.

Май 1987 г. Лишена советского гражданства.

Следующие 12 лет провела в Великобритании и США.

11 февраля 1992 г. Родила двоих сыновей.

1 июня 1998 г. Получила российское граждан-  
ство.

Декабрь 1998 г. Вернулась в Россию.

5 июля 2017 г. Умерла.

## ЛИТЕРАТУРНЫЕ РАБОТЫ

Сборники стихов

Уцелевшие ранние стихи. 1977 г.

Предчувствие. 1982 г.

Перед этапом. 1983 г.

Вне лимита. 1984 г.

Страна задумчивых вокзалов. 1986 г.

Письмо домой. 1988 г.

Птичьи темы. 1991 г.

Ветер в городе. 2011 г.

Не формат. 2017 г.

Книги в прозе

Сказка о трех головах. 1986 г. Сборник рас-  
сказов.

Серый — цвет надежды. 1987 г. Книга о лагере.  
Откуда что берется. 1989 г. Мемуары.  
Золотой эшелон. 1990 г. Плотовской роман  
(в соавторстве).  
Одесситы. 1996 г. Роман.  
Тень портрета. 1999 г. Роман.  
Наследники минного поля. 2001 г. Роман.  
Новые русские сказки. 2003 г. Сборник юмо-  
ристических сказок.  
Лапа Азора. 2017 г. Роман (не окончен).

## ПРЕМИИ

Individual Templeton UK Award 1993, Велико-  
британия  
(Темплтоновская премия, присуждается  
за достижения, способствующие духовному прогрес-  
су в Великобритании)

Poetry International Rotterdam Award, 1986,  
Голландия  
(Роттердамская международная поэтическая  
премия)

The Ross McWhirter Foundation Award 1987,  
Великобритания  
(Премия, присуждаемая за личное мужество)

Religion Freedom Award 1987, США  
(Премия, присуждаемая за отстаивание сво-  
боды вероисповедания)

Christopher Award 1988, США  
(Премия за лучшую религиозную книгу года.  
За роман «Серый — цвет надежды»)

Il Comune di Milano Citizen Award 1989, Италия  
(За литературную и общественную деятель-  
ность)



ИРИНА РАТУШИНСКАЯ. ОДЕССА. 1957 Г.  
СПРАВА: ИРИНА РАТУШИНСКАЯ, ШКОЛЬНИЦА. ОДЕССА. 1966 Г.





ИРИНА РАТУШИНСКАЯ. ОДЕССА. 1972 Г.  
СПРАВА: ИРИНА РАТУШИНСКАЯ. ОДЕССА. 1976 Г.  
ИРИНА РАТУШИНСКАЯ. ОДЕССА. 1977 Г.





ИРИНА РАТУШИНСКАЯ С МУЖЕМ ИГОРЕМ ГЕРАЩЕНКО. КИЕВ. 1982 Г.  
ИРИНА РАТУШИНСКАЯ ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ПОСЛЕ  
ОСВОБОЖДЕНИЯ ИЗ ЗАКЛЮЧЕНИЯ. КИЕВ. ОКТЯБРЬ 1986 Г.  
СПРАВА: ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ  
ИЗ ЗАКЛЮЧЕНИЯ. КИЕВ. ОКТЯБРЬ 1986 Г.





В АЭРОПОРТУ ХИТРОУ, ЛОНДОН. 1986 Г.  
С ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОМ ВЕЛИКОБРИТАНИИ МАРГАРЕТ ТЭТЧЕР.  
ЛОНДОН, ДАУНИНГ-СТРИТ, 10. ДЕКАБРЬ 1986 Г.  
СПРАВА: С ПРЕЗИДЕНТОМ США РОНАЛЬДОМ РЕЙГАНОМ.  
БЕЛЫЙ ДОМ. 1987 Г.



*To Irina Ratushinskaya  
With best wishes,*

*Ronald Reagan*













ЛОНДОН. 1991 Г.  
СПРАВА: ИРИНА РАТУШИНСКАЯ С СЫНОВЬЯМИ.  
ЛОНДОН. ФЕВРАЛЬ 1992 Г.





ИРИНА РАТУШИНСКАЯ И ИГОРЬ ГЕРАЩЕНКО С ДЕТЬМИ  
В САДУ У ДОМА. ЛОНДОН. 1994 Г.  
СПРАВА: ИРИНА РАТУШИНСКАЯ С СЫНОВЬЯМИ.





ИРИНА РАТУШИНСКАЯ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ  
МЕМОРИАЛА ЖЕРТВАМ РЕПРЕССИЙ, НАСИЛИЯ И ВОЙН  
В ВЕСТМИНСТЕРСКОМ АББАТСТВЕ. ЛОНДОН. 1996 Г.  
СПРАВА: ИРИНА РАТУШИНСКАЯ И ИГОРЬ ГЕРАЩЕНКО.  
АВСТРАЛИЯ. 1998 Г.





ИРИНА РАТУШИНСКАЯ И ИГОРЬ ГЕРАЩЕНКО.  
ПОСЛЕДНЯЯ СОВМЕСТНАЯ ФОТОГРАФИЯ. АПРЕЛЬ 2017 Г.  
СПРАВА: ИРИНА РАТУШИНСКАЯ. АПРЕЛЬ 2017 Г.



**СТАТЬЯ 70 «АНТИСОВЕТСКАЯ АГИТАЦИЯ И ПРОПАГАНДА» ВХОДИЛА В ОСОБЕННУЮ ЧАСТЬ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РСФСР 1960 Г. (ОСОБО ОПАСНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. СТ. 64-73). В СООТВЕТСТВИИ СО СТ. 24 УК РСФСР ОСУЖДАЕМЫЕ ЗА ОСОБО ОПАСНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ НАПРАВЛЯЛИСЬ В КОЛОНИИ СТРОГОГО РЕЖИМА. ПО ДАННЫМ КГБ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР, С 1956 ПО 1987 Г. ЗА АНТИСОВЕТСКУЮ АГИТАЦИЮ И ПРОПАГАНДУ И ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЗАВЕДОМО ЛОЖНЫХ ИЗМЫШЛЕНИЙ, ПОРОЧАЩИХ СОВЕТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННЫЙ СТРОЙ, БЫЛО ОСУЖДЕНО 8152 ЧЕЛОВЕКА. («О МАССОВЫХ БЕСПОРЯДКАХ С 1957 ГОДА...» ИСТОЧНИК. 1995. № 6. С. 153 / СТАРАЯ ПЛОЩАДЬ. ВЕСТНИК АРХИВА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)**

# СОУЗНИЦЫ МАЛОЙ ЗОНЫ

Текст печатается  
по изданию A Chronicle  
of the Women's Political Prison  
Camp at Barashevo. Copyright  
1986 by Foundation for Soviet  
Studies. Silver Spring, MD 20902,  
USA.

АБРУТЕНЕ ЭДИТА. Арестована 08.12.1982.

<sup>1</sup> 4 стр. + 2 ссылки<sup>1</sup>. Конец срока — дек. 1988 г.

<sup>2</sup> Статья 70<sup>2</sup>. Встречи с иностранными журналистами, распространение литературы, участие в распространении листовок.

БАРАЦ ГАЛИНА. Род. 1946 г., историк.

Арестована 09.03.1983. 6 стр. + 3 ссылки.

Конец срока — февраль 1992 г. Статья 70.

<sup>3.4</sup> Пятидесятница<sup>3</sup>, член группы «Право на эмиграцию»<sup>4</sup>.

БЕЛЯУСКЕНЕ ЯДВИГА. Литовка, арестована 29.10.1982. 4 стр. + 3 ссылки. Конец срока — октябрь 1989 г. Статья 70. Размножение националистической и религиозной литературы, сбор подписей под правозащитными документами, хранение и распространение самиздата, воспитание детей в националистическом духе. 1948—1956 гг. — в сталинских лагерях за участие в партизанском движении.

ВЕЛИКАНОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА.

Род. 03.02.1932, математик. Арестована 01.11.1979.

4 стр. + 5 ссылки. Конец срока — октябрь 1988 г.

Статья 70. Участие в работе Инициативной группы по защите прав человека в СССР<sup>5</sup>, издание и рас-

<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Здесь и далее имеется в виду срок приговора: «4 стр. + 2 ссылки» — четыре года колонии строгого режима и два года ссылки.

<sup>2</sup> Статья 70 УК РСФСР 1960 г. (Антисоветская агитация и пропаганда).

<sup>3</sup> Пятидесятники — евангельские христиане, последователи пятидесятничества, одного из направлений протестантизма. Пятидесятники в СССР находились на нелегальном положении, лидеры и члены общин подвергались преследованию со стороны советской власти.

<sup>4</sup> «Право на эмиграцию» — группа, созданная в 1979 г. Цели группы: принятие закона об эмиграции, упорядочивание эмиграционной политики и приведение ее к общедемократическим нормам, сбор и предание гласности фактов нарушения прав граждан на выезд из СССР.

<sup>5</sup> «Инициативная группа по защите прав человека в СССР» — первая в СССР правозащитная организация, основанная в 1969 г. Члены группы готовили открытые тексты о нарушении прав человека в СССР, главным образом для обращения в ООН. Все участники подвергались преследованиям со стороны власти, большинство было арестовано.

6 пространство «Хроники текущих событий»<sup>6</sup>, правозащитная деятельность.

ДОРОНИНА ЛИДИЯ АНДРЕЕВНА.

7 Род. 28.07.1925, латышка, медсестра. В 1947 г. осуждена по ст. 17-58-1 УК РСФСР<sup>7</sup>. 5 стр. + 3 ссылки.  
8 В 1970 г. — по ст. 183-1 УК Лат. ССР (аналог ст. 190-1  
9 УК РСФСР<sup>8</sup>) на 2 года за распространение самиздата.  
10 Арест 06.01.1983. Ч. 1 ст. 65 УК Лат. ССР<sup>9</sup>. 5 стр. +  
11 3 ссылки. Распространение трех фотопленок, полученных нелегально из-за границы, распространение книги Аншлавса Эглитиса «Пять дней»<sup>10</sup>, сборника «Память»<sup>11</sup>, а также передач заграничных радиостанций, которые она записывала на магнитофон и давала прослушивать знакомым.

ЛАЗАРЕВА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА.

12 Род. 1947, мастер по изготовлению кукол-марионеток. Арестована 13.03.1982. 4 стр. + 2 ссылки. Конец срока — 1988 г. Статья 70. Участие в издании женского альманаха «Мария»<sup>12</sup>, передача и получение материалов из-за рубежа. 1980-81, статья 190-1.

6 «Хроника текущих событий» — первый в СССР неподцензурный правозащитный информационный бюллетень. Распространялся через самиздат. Выпускался регулярно, в среднем раз в два месяца с 1968 по 1983 г. Всего вышло 63 выпуска. Редакторы «Хроники» подвергались гонениям со стороны государственной власти.

7 Статья 17-58-1 УК РСФСР 1922 г.; ред. 1926 г. и более поздние редакции — «Контрреволюционная деятельность, измена родине (состояние хронической душевной болезни)».

8 Статья 190-1 УК РСФСР 1960 г. (Распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй).

9 Статья 65 УК Латвийской ССР (Антисоветская агитация и пропаганда).

10 Эглитис Аншлавс (1906—1993) — латышский писатель. В 1944 году эмигрировал в Германию, в 1950-м — в США. Написал более 50 произведений, посвященных родине.

11 «Память» — исторические сборники, выпускавшиеся самиздатом в 1976—1981 гг. Инициатором создания и главным редактором сборников был историк Арсений Рогинский. В «Памяти» публиковались воспоминания, научные исследования по отечественной истории XX века (история репрессий, инакомыслия, история дипломатии и т. д.).

12 Альманах «Мария» — феминистский журнал самиздата. Первый номер журнала вышел в 1980 г. Охватывал множество тем — от философских и политических до вопросов воспитания детей, женского творчества и религии. Члены редколлегии подвергались преследованиям со стороны власти, многие были арестованы. В 1982 году выпуск альманаха был прекращен.

## МАТУСЕВИЧ ОЛЬГА ДМИТРИЕВНА.

Род. 09.09.1953, филолог. Арестована 12.03.1980.

3 общ. Статья 190-1. Участие в работе Украинской Хельсинкской группы<sup>13</sup>, намерение эмигрировать.

Арестована вторично в лагере в марте 1983 г. 3 стр. Конец срока — 12.03.1986. Статья 70. Устные высказывания, передача информации из лагеря с помощью тайнописи.

## ОСИПОВА ТАТЬЯНА СЕМЕНОВНА.

Род. 15.03.1949, инженер-программист. Арестована

27.05.1980. 5 стр. + 5 ссылки. Конец срока — 1990 г.

Статья 70. Участие в работе Московской Хельсинкской группы<sup>14</sup>, распространение самиздата и книг, изданных за рубежом, авторство самиздатских статей, правозащитная деятельность.

## РАТУШИНСКАЯ ИРИНА БОРИСОВНА.

Род. 04.03.1954, физик. Арестована 17.09.1982. 7 стр.

+ 5 ссылки. Конец срока — сентябрь 1994 г. Статья 70.

Авторство сборника стихов, авторство критического стихотворения.

## РУДЕНКО РАИСА АФНАСЬЕВНА.

Род. 1939. Арестована 15.04.1981. 5 стр. + 5 ссылки.

Конец срока — апрель 1991 г. Статья 70. Распростра-

нение самиздата и передача за рубеж писем, полученных из лагеря.

## ПАРЕК ЛАГЛЕ.

Род. 17.04.1941, эстонка. Арестована 05.03.1983

по ч. 1 ст. 68 УК Эст. ССР (соотв. ч. 1 ст. 70 УК РСФСР).

6 стр. + 3 ссылки.

<sup>13</sup> Украинская Хельсинкская группа — объединение украинских правозащитных деятелей. Создана в 1976 г. с целью контроля за выполнением Хельсинкских соглашений в СССР. В 1981 г. все члены группы были арестованы.

<sup>14</sup> Московская Хельсинкская группа — правозащитная организация в СССР и России. Создана в 1976 г. Цель группы — содействие выполнению Хельсинкских соглашений в СССР. Деятельность МХГ заключалась в сборе данных о нарушениях прав человека в СССР и информировании правительств стран — участниц Хельсинкских соглашений. Члены МХГ подвергались давлению со стороны КГБ, к концу 1981 г. большинство участников группы было арестовано.





СЛЕВА НАПРАВО СВЕРХУ ВНИЗ: НАТАЛЪЯ ЛАЗАРЕВА, РАИСА  
РУДЕНКО, ГАЛИНА БАРАЦ, ЯДВИГА БЕЛЯУСКЕНЕ, ЛАГЛЕ ПАРЕК











ТАК, В ОКТЯБРЕ 1977 ГОДА  
РАТУШИНСКАЯ, ПРОЖИВАЯ  
В Г. ОДЕССЕ, С ЦЕЛЮ ПОДРЫВА  
И ОСЛАБЛЕНИЯ СОВЕТСКОЙ  
ВЛАСТИ ИЗГОТОВИЛА  
В СТИХОТВОРНОЙ ФОРМЕ  
ДОКУМЕНТ, НАЧИНАЮЩИЙСЯ  
СЛОВАМИ: «НЕНАВИСТНАЯ  
МОЯ РОДИНА!...»,  
В КОТОРОМ ВОЗВОДИТ  
КЛЕВЕТУ НА СОВЕТСКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННЫЙ СТРОЙ,  
В ЧАСТНОСТИ, ОНА УТВЕРЖДАЕТ,  
ЧТО НАША СТРАНА ЯВЛЯЕТСЯ  
ЯКОБЫ «УБОГОЙ», «ПЛОДЯЩЕЙ  
ВЕРНОПОДДАННЫХ И ХОЛОПОВ»  
И ЧТО В НЕИ БУДТО БЫ  
СУЩЕСТВУЕТ ТЕРРОР ПРОТИВ  
ИНАКОМЫСЛЯЩИХ.

ПРИГОВОР

ПО ДЕЛУ № 1-С/83, СТР. 2

# ПРИГОВОР ПО ДЕЛУ № I-C/83 ОТ 3 МАРТА 1983 ГОДА

Мы приводим полный  
текст приговора по делу Ирины  
Ратушинской и факсимиле  
избранных страниц этого  
документа.

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ УКРАИНСКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

1983 года, марта, 3 дня Судебная коллегия по уголовным делам  
Киевского городского суда в составе :

председательствующего - Зам. председателя Киевского город-  
ского суда Зубин Г. И.  
народных заседателей - Овсюк Т. А., Антвицкая Т. К.  
или секретаре - Думеник Г. А.  
с участием прокурора - Исгоренко В. П.  
с участием адвоката - Корчицкий А. П.

рассмотрела в открытом судебном заседании в г. Киеве дело по  
обвинению

РАТУНИЦКОЙ Ирины Евросовны.

рождения 4 марта 1954 года, уроженка г. Одессы, русской, гр-ка  
СССР, беспартийная, о высшем образовании, замужней - детей не  
имеет, из служебных, неженщинского, ранее не судимая, до ареста  
не работавшей, проживавшей в г. Киеве по проспекту Вернадского  
дсм 86 кв. 59, -

- в совершении преступления, предусмотренного ст. 62 ч. I  
УК УССР, 70 ч. I УК РСФСР. -

У с т а н о в и л а :

Подсудимая Ратуницкая И. Е., проживая в г. Одессе, а с июля  
апреля 1979 года - в г. Киеве, на почве враждебных убеждений,  
эгоистичных у нее в результате проделанных антисоветских переводов  
зарубежных радиослужб, общения с враждебно настроенными лицами  
и другими средствами, в том числе с привлечением и уголовной  
ответственности за совершение особо опасных государственных  
преступлений, несмотря на объявленное ей 15 августа 1981 года  
органом КГБ в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета  
СССР от 25 декабря 1972 года сформированное предупреждение о недо-  
пустимости антисоветских действий, противоречащих интересам  
государственной безопасности Союза ССР, на протяжении 1977-1982  
годов, с целью подкупа и ослабления Советской власти, систематиче-  
ски проводила антисоветскую агитацию и пропаганду путем наготсале-  
ния хранения и распространения документов, содержащих клевет-  
нические заявления, порочащие советский государственный и об-  
щественный строй. Отдельные враждебные содержания документы о  
той же целью передала на Запад, где они широко использовались  
зарубежными антисоветскими организациями и буржуазными пропаган-  
дистскими центрами в преследовании подрывных целей против СССР.

2.-

Наряду с этим сна с той же целью проводила антисоветскую агитацию и пропаганду в устной форме, распространяя среди советской интеллигенции клеветнические измышления на советский государственный и общественный строй.

Так, в сентябре 1977 года Ратушинская, проживая в г. Сосносе, с целью подкупа и ослабления Советской власти изготовила в стихотворной форме документ, начинающийся словами: "Безвосточная моя родина!...", в котором возводит клевету на советский государственный и общественный строй, в частности, сна утверждает, что наша страна является якобы "убогей", "последней версией подданных и холопов" и что в ней будет-ся осуществлен террор против интеллигентных.

В 1979 году, прибыв на постоянное жительство в г. Киев, Ратушинская разместила на принадлежащей ей личной машине "Оптим-Электрик" этот пасквиль не менее чем в 8 экземплярах и распространяла его:

- 9 мая 1979 г. в зоне отдыха в г. Киеве прочитала указанный документ жителю названного города Остапчукскому В.И. и хозяйнице г. Ленинграда Епистовой (Зеленской) К.И.;

- В мае того же года во время нахождения ее в г. Киеве квартире, принадлежащей супругам Миняевым А.В. и Игорью Г.А., связалась с ним хозяйнице этого города Оксидой Т.И.;

- В 1979-1980 годах, находясь в г. Ленинграде, связалась с указанным, так называемым, стихотворением жителем упомянутого города Уманцевым Д.В.;

- По одному из стечательных ее машинописных экземпляров данного документа Ратушинская в 1981-1982 годах передала в Москве для санназначенного жителя названного города Сеидерову В.А. и Каварскому Е.И. (эти лица в настоящее время привлечены и уголовной ответственности за антисоветскую деятельность), у которых сна была изъята в ходе обысков по их уголовному делу соответственно 6 апреля и 22 июня 1982 года;

- Один его машинописный экземпляр изъят в процессе обыска 22 июня 1982 года в квартире жителей г. Киева Барвака Л.П. и его жены Барвак Л.В., где тогда в их отсутствие временно проживала Ратушинская.

Еще один из размещенных ею экземпляров документа "Безвосточная моя родина!...", а также один машинописный экземпляр этого пасквиля и четыре его фотокопии, изготовленные неустановленными лицами, сна в тех же целях хранила в своей квартире до изъятия их во время обысков 22 июня и 17 сентября 1982 года.

Судьбу остальных четырех машинописных экземпляров этого документа в ходе следствия установить не представлялось возможным.

Названный клеветнический текст получил дальнейшее широкое распространение. Разношерстные неустановленные лицами его машинописные экземпляры были изъяты в 1982 году в процессе обыска в квартирах жителей г. Москвы: 6 апреля у Сендерса В.А., 21 июня у Каневского К.И. и 15 июля у Широва С.И. соответственно 3, 1 и 3 экземпляра. Во время обыска 17 сентября 1982 года в квартире жителя г. Киева Остроумовского М.А. изъяты также стенограмма и в том числе принадлежащего ему фотосапирета "Практика" фотосъемка с машинописным текстом названного документа и один его экземпляр.

В начале 1979 года в г. Сосное в тех же целях Ратушнская изготовила документ в стихотворной форме, начинающийся со слов: "А мы собираем...", в котором содержится клеветническое изображение, порочащее советский государственный и общественный строй. С враждебных позиций она утверждает в нем, что наша страна якобы представляет собой "клетки чудовищных пазух", где будто бы существует преследование не в чем не повинных граждан и нарушаются их права.

В 1979 году, находясь в г. Емве, Ратушнская разослала на почте по адресу "Оптика-Электрон" указанный клеветнический документ не менее чем в 20 экземплярах и распространила его следующим образом:

- В мае 1979 года ознакомил с ним Осинову Т.И. в квартире супругов Милосей А.В. и Пихтова Г.А. в г. Емве.;

- В 1979-1980 годах, находясь в г. Ленинграде, ознакомил с указанным документом Ушакова А.В.;

- В 1981-1982 годах в Москве Ратушнская передала по одному экземпляру для ознакомления жителям названного города Сендерсу В.А. и Каневскому К.И., в квартирах которых они были изъяты в ходе обыска соответственно 6 апреля и 22 июня 1982 года;

- Один экземпляр этого пасквиля изъят в процессе обыска 22 июня 1982 года в квартире жителей г. Киева Барвака А.П. и Барвак А.В., где в их отсутствие Ратушнская временно проживала.

Из разосланных ею экземпляров клеветнического документа "А мы собираем...", а также 2 машинописных и 4 его фотоснимка, изготовленные неустановленными лицами, она в тех же целях хранила в своей квартире до изъятия их во время обыска 22 июня и 17 сентября 1982 года. Судьбу остальных 6 машинописных экземпляров названного документа в ходе следствия установить не представлялось возможным.

4.-

Указанный киветнический текст получил дальнейшее широкое распространение. Размещенные неустановленными лицами его многочисленные экземпляры были изъяты в 1962 году в процессе обыска в квартире жителя г. Москвы: 6 апреля у Сеидерса В. А. и 21 июня у Кавезского Б. И. соответственно 3 и 1 экземпляр. 17 сентября 1962 года во время обыска в квартире жителя г. Киева Остремскийского М. А. изъяты также стоящая им в личном фотоаппарате "Практика" фотографии с машинным текстом этого документа и одна его фотокопия.

Кроме того, этот пасквиль Ратушинская при неустановленных обстоятельствах передала для распространения на Запад, где он был опубликован в англоязычном журнале НТС "Трайп" № 123 за 1962 год, издающемся в г. Крайфурте-на-Майне (ФРГ).

В мае-августе 1979 года в г. Киеве Ратушинская совместно со своим мужем Герасеник М. О. в тех же целях изготовила для последующего распространения на Западе рукописный документ в виде дневниковых записей в 2-х обложках тетрадок, начинавшихся словами: "27. V. 79 мы решили писать эти записи 20 мая 1979 года.. Указанную рукопись хранила в своей квартире до изъятия ее во время обыска 22 июня 1980 года.

В этом документе она вместила киветнические измышления на советской государственной и совместной территории, на деятельность КНС по коммунистическому воспитанию подростков в нашей стране, заявляя при этом, что Советское государство является ясной "чуждой" бюрократической машиной с тоталитарным режимом, где будт-он царят беззаконие.

В 1979 году в г. Киеве с целью подкупа и содействия Киевской власти изготовила на принадлежащей ей личной машине "Оттава-Электрик" не менее 10 экземпляров документа в стихотворной форме под названием "Письмо в 21 год".

В этом так называемом стихотворении киветнические называет ванду страну "жесткая", где будт-он "гисмет" война", а восты подвергнутся преследованиям. Указанный пасквиль Ратушинская распространила таким путем:

- В 1979-1980 годах в г. Ленинграде сажаксомла с его текстом Уанкса И. В.;

- По одному из этих ответственных экземпляров Ратушинская в 1961-1962 годах передала в Москве для ознакомления жителю названного города Сеидерсу В. А. и Киевскому Б. И., у которых они были изъяты в ходе обыска соответственно 6 апреля и 22 июня 1962 года;

В 1980 году по месту жительства в г. Киеве Ратушинская в целях подкупа и ослабления Советской власти изготовила на пишущей машинке "Октябрь-Спектр" не менее 10 экземпляров документа в виде стихотворения, начинавшегося словами: "Не берись осматривать...", в котором она возводит клеветнически измышленную на советскую действительность, сравнивая ее с "Тарамси и кланом сумасшедшего деда", клеветнически утверждает, что в СССР якобы существует беззаконие, преследуются ни в чем не повинные люди. Этот документ она распространила следующим образом.

- В 1980 году, находясь в г. Ленинграде, связалась с ним Уланова Д.В.;

- По списку из размысленных ею экземпляров указанного текста Ратушинская в 1981-1982 годах передала в Москве для связываемых жителям названного города Сендерсову В.А. и Ивановскому В.И., у которых они были изъяты в ходе обыска соответственно 6 апреля и 22 июня 1982 года;

- Один экземпляр изъят в процессе обыска 22 июня 1982 года в квартире жителей г. Киева Вурмана Д.П. и Верак А.В., где в их отсутствие временно проживала Ратушинская.

Максимальный его экземпляр, изготовленный неустойчивым лицом, передала в 1980 году для связываемых жителям г. Киева Гриншину О.И. и Гриншину М.И., у которых он был изъят при обыске 17 сентября 1982 года.

Один из размысленных ею экземпляров документа "Не берись осматривать...", а также 4 его фотоскопии, изготовленные неустойчивым лицом, она хранила с той же целью в своей квартире до изъятия их в процессе обыска 22 июня 1982 года.

Судьба остальных 6 экземпляров названного документа в ходе следствия не установлена.

Указанный паспорт получил дальнейшее широкое распространение. Максимальные его экземпляры, изготовленные неустойчивым лицом, были изъяты в ходе обысков в квартирах жителей г. Москвы: 6 апреля у Сендерсова В.А. - 3 экземпляра; 21 июня у Ивановского В.И. - 1 экземпляр и 18 июля 1982 года у бинского Ф.И. - 3 экземпляра, а 17 сентября 1982 года во время обыска в квартире жителя г. Киева Остромигильского М.И. изъяты также сфотографированный "Практика" фотосъемкой с максимальной текстурой этого документа и один его фотоскопия.

В начале 1981 года у себя дома в г. Киеве Ратушинская в тех же целях изготовила на пишущей машинке "Октябрь-Спектр" не менее 4-х экземпляров документа, начинавшийся со слов: "Мирна Константиновна, исследования Гринина...", в котором содержится

9.-

Тогда же, в декабре 1961 года, Ратушинская у себя дома в г. Киеве в целях подрыва и ослабления Советской власти изготовила на пишущей машинке "Оптимизм-Электрик" не менее 9 экземпляров документа под названием "К волженику в Польше". В нем содержатся клеветнические измышления, порочащие советский государственный и общественный строй. В частности, с враждебных позиций СССР оценил сна, пытался очернить миролюбивую внешнюю политику нашего государства и воссоздать вражду между советским и польским народами, клеветнически утверждает с ясным умыслом место его вмешательства во внутренние дела Польши и других стран, заявляет далее, что Советский Союз будет-ся вынужденно намереваясь "физически уничтожить польский народ".

Письмo "К волженику в Польше" скрывалось на Заваде, где активно использовался буржуазной пропагандой в просветительских антисоветских измышлениях, в частности, 23 ноября 1962 года, его текст передавался на русском языке радиостанцией "Свобода".

5 машинописных экземпляров этого враждебного текста хранила в своей квартире до изъятия их во время обыска 22 июня и 17 сентября 1962 года. Судьбу остальных экземпляров названного документа в ходе следствия установить не представлялось возможным.

3 марта 1962 года Ратушинская с той же целью изготовила в своей квартире в г. Киеве не менее 3 экземпляров рукописного текста в виде письма, начинающегося словами: "Полом, дорсгой Гальман!...". В этом документе, адресованном жителю Израиля Гальману Шачерскому, она возводит клевету на советский государственный и общественный строй, утверждает, что в СССР яким существуют демократические свободы, в частности, будто бы нарушаются "права человека в отношении евреев" и других советских граждан. В нем также она заявляет с своей готсности продолжать осуд враждебную деятельность.

Подлинник указанного клеветнического документа при неустановленных обстоятельствах передан жителю г. Москвы Саидерсу В. А., в квартире которого он был изъят в ходе обыска 6 апреля 1962 года. Второй его экземпляр Ратушинская хранила в своей квартире до изъятия его во время обыска 22 июня 1962 года. Судьба третьего изготовленного ею экземпляра не установлена.

17 апреля 1962 года у себя дома в г. Киеве Ратушинская с указанной целью изготовила на пишущей машинке "Оптимизм-Электрик" не менее 7 экземпляров документа в виде стихотворения, начинающегося словами: "Семидесятые - тоска!...", в котором помещала клеветнические измышления на советскую действительность. В нем она, в частности, пишет с ясным умыслом место в СССР нарушения прав человека, преследования советских граждан будто бы за политические взгляды.

122-71-27

ИР-111 75-22

20.-  
281-17 16

Судебная коллегия считает, что наказание Ратушинской следует возложить в виде лишения свободы и определить отбывание ее в соответствии с требованиями ст. 25 УК УССР в исправительно-трудовой колонии строгого режима, т.к. она совершила осознанное государственное преступление. Суд также считает необходимым с учетом характера совершаемого преступления применить и дополнительное наказание в виде ссылки.

Вещественные доказательства: пишущая машинка "Оптимизатор" № 105433, пишущая машинка "Москва" № 114545, фотосаппарат "Практика" № 136300 и доска от кадровой рамки, как средства преступной деятельности, следует изъять в доход государства; стихотворения и другие документы - составить на хранение при деле.

Судебные надержки по делу в сумме 61 руб. необходимо возместить с Ратушинской в доход государства.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 323, 324 УК УССР, судебная коллегия,

Приговорила:

РАТУШИНСКОЮ Ивину Евгеньевну

- по ч. I ст. 62 УК УССР к 7 годам лишения свободы и 5 годам ссылки после отбоя отбывания меры наказания, по ч. I ст. 70 УК УССР к 5 годам лишения свободы и 3 годам ссылки после отбоя отбывания меры наказания.

На основании ст. 42 УК УССР считать осужденной Ратушинскую И.Е. путем исполнения менее строгого наказания более строгим к 7 (семи) годам лишения свободы в исправительно-трудовой колонии строгого режима со ссылкой на 5 (пять) лет после отбоя отбывания меры наказания.

Срок отбоя отбывания назначенного наказания в виде лишения свободы исчислять с 17 сентября 1982 года, меру пресечения Ратушинской И.Е. до вступления приговора в законную силу оставить содержание под стражей в следственном изоляторе КГБ УССР.

Изъять с Ратушинской И.Е. в доход государства 61 руб. судебных надержек по делу.

Вещественные доказательства: пишущие машинки "Оптимизатор" № 105433 и "Москва" № 114545, фотосаппарат "Практика" № 136300 с объективом № 5405-430 и доска от кадровой рамки размером 37 x 30 - изъять в доход государства; стихотворения и другие документы - составить на хранение при деле.

Б. 90 56

293

Дача  
Р.И. ?  
20-20

21.-

Приговор может быть обжалован в Верховный Суд УССР  
осужденный в течение семи суток с момента вручения ей копии  
приговора, а остальными участниками судебного разбирательства  
в тот же срок с момента представления приговора.

01.01.83 1.01.83  
65.30 2.01.83



Председательствующий - Зубец Г.И.  
Курские заседатели - две подписи

1.01.83

2.

В е р н о с Председательствующий

*Г. И. Зубец* Г. И. Зубец

ar

Дело № I-C/83  
1983 г.

## ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНСКОЙ СОВЕТСКОЙ  
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
1983 года, марта, 3 дня Судебная коллегия по уголов-  
ным делам Киевского городского суда в составе:  
председательствующего — Зам. председателя  
Киевского городского суда Зубца Г. И.  
народных заседателей — Олещук Т. Ю.,  
Литвиновой Т. К.

при секретаре — Гуменюк Г. А.  
с участием прокурора — Погорелого В. П.  
с участием адвоката — Корытченко Л. П.  
рассмотрела в открытом судебном заседании  
в г. Киеве дело по обвинению  
РАТУШИНСКОЙ Ирины Борисовны,  
рождения 4 марта 1954 года, уроженки г. Одессы,  
русской, гр-ки СССР, беспартийной, с высшим обра-  
зованием, замужней — детей не имеет, из служащих,  
невоеннообязанной, ранее несудимой, до ареста  
не работавшей, проживавшей в г. Киеве по проспекту  
Вернадского дом 85 кв. 59,  
— в совершении преступления, предусмотренного  
ст. ст. 62 ч. I УК УССР, 70 ч. I УК УССР

Установила:

Подсудимая Ратушинская И. Б., проживая в г. Одессе,  
а с конца апреля 1979 г. — в г. Киеве, на почве враж-  
дебных убеждений, возникших у нее в результате  
прослушивания антисоветских передач зарубежных  
радиостанций, общения с враждебно настроенными  
лицами и другими отщепенцами, в том числе с при-  
влеченными к уголовной ответственности за совер-  
шение особо опасных государственных преступле-  
ний, несмотря на объявленное ей 15 августа 1981 года  
органами КГБ в соответствии с Указом Президиума

Верховного Совета СССР от 25 декабря 1972 года официальное предостережение о недопустимости антиобщественных действий, противоречащих интересам государственной безопасности Союза ССР, на протяжении 1977—1982 годов, с целью подрыва и ослабления Советской власти, систематически проводила антисоветскую агитацию и пропаганду путем изготовления, хранения и распространения документов, содержащих клеветнические измышления, порочащие советский государственный и общественный строй. Отдельные враждебного содержания документы с той же целью передала на Запад, где они широко использовались зарубежными антисоветскими организациями и буржуазными пропагандистскими центрами в проведении подрывных акций против СССР. Наряду с этим она с той же целью проводила антисоветскую агитацию и пропаганду в устной форме, распространяя среди своего окружения злобные клеветнические измышления на советский государственный и общественный строй.

Так, в октябре 1977 года Ратушинская, проживая в г. Одессе, с целью подрыва и ослабления Советской власти изготовила в стихотворной форме документ, начинающийся словами: «Ненавистная моя родина!..», в котором возводит клевету на советский государственный и общественный строй, в частности, она утверждает, что наша страна является якобы «убогой», «плодящей верноподданных и холопов» и что в ней будто бы существует террор против инакомыслящих.

В 1979 году, прибыв на постоянное жительство в г. Киев, Ратушинская размножила на принадлежащей ей пишущей машинке «Оптима-Электрик» этот пасквиль не менее чем в 8 экземплярах и распространила его: 9 мая 1979 г. в зоне отдыха в г. Киеве прочитала указанный документ жителю названного города Остаповскому В. И. и жительнице г. Ленинграда Шопотовой (Зелинской) Е. К.;

В мае того же года во временно занимаемой ею в г. Киеве квартире, принадлежащей супругам

Мининой Л. В. и Плютову Г. А., познакомила с ним жительницу этого города Окондзу Т. И.;

В 1979—1980 годах, находясь в г. Ленинграде, познакомила с указанным, так называемым, стихотворением жителя упомянутого города Ушакова Ю. В.;

По одному из отпечатанных ею машинописных экземпляров данного документа Ратушинская в 1981—1982 годах передала в Москве для ознакомления жителям названного города Сендерову В. А. и Каневскому Б. И. (эти лица в настоящее время привлечены к уголовной ответственности за антисоветскую деятельность), у которых они были изъяты в ходе обысков по их уголовному делу соответственно 6 апреля и 22 июня 1982 года;

Один его машинописный экземпляр изъят в процессе обыска 22 июня 1982 года в квартире жителей г. Киева Варвака Л. П. и его жены Варвак Л. В., где тогда в их отсутствие временно проживала Ратушинская. Еще один из размноженных ею экземпляров документа «Ненавистная моя родина!..», а также один машинописный экземпляр этого пасквиля и четыре его фотокопии, изготовленные неустановленными лицами, она в тех же целях хранила в своей квартире до изъятия их во время обысков 22 июня и 17 сентября 1982 года.

Судьбу остальных четырех машинописных экземпляров этого документа в ходе следствия установить не представилось возможным.

Названный клеветнический текст получил дальнейшее широкое распространение. Размноженные неустановленными лицами его машинописные экземпляры были изъяты в 1982 году в процессе обысков в квартирах жителей г. Москвы: 6 апреля у Сендерова В. А., 21 июня у Каневского Б. И. и 15 июля у Финкеля Ф. Е. соответственно 3, 1 и 3 экземпляра. Во время обыска 17 сентября 1982 года в квартире жителя г. Киева Остромогильского М. Л. изъяты также отснятая им с помощью принадлежащего ему фотоаппарата «Практика» фотопленка с машинописным текстом названного документа и одна его фотокопия.

В начале 1979 года в г. Одессе в тех же целях Ратушинская изготовила документ в стихотворной форме, начинающийся со слов «А мы остаемся...», в котором содержатся клеветнические измышления, порочащие советский государственный и общественный строй. С враждебных позиций она утверждает в нем, что наша страна якобы представляет собой «клетки чудовищных шахмат», где будто бы существует преследование ни в чем не повинных граждан и нарушаются их права.

В 1979 году, проживая в г. Киеве, Ратушинская размножила на пишущей машинке «Оптим-Электрик» указанный клеветнический документ не менее чем в 20 экземплярах и распространила его следующим образом:

В мае 1979 года ознакомила с ним Окондзу Т. И. в квартире супругов Мининой Л. В. и Плютова Г. А. в г. Киеве;

В 1979—1980 годах, находясь в г. Ленинграде, ознакомила с указанным документом Ушакова Ю. В.;  
В 1981—1982 годах в Москве Ратушинская передала по одному экземпляру для ознакомления жителям названного города Сендерову В. А. и Каневскому Б. И., в квартирах которых они были изъяты в ходе обысков соответственно 6 апреля и 22 июня 1982 года;  
Один экземпляр этого пасквиля изъят в процессе обыска 22 июня 1982 года в квартире жителей г. Киева Варвака Л. П. и Варвак Л. В., где в их отсутствие Ратушинская временно проживала.

11 из размноженных ею экземпляров клеветнического документа «А мы остаемся...», а также 2 машинописных и 4 его фотокопии, изготовленные неустановленными лицами, она в тех же целях хранила в своей квартире до изъятия их во время обысков 22 июня и 17 сентября 1982 года. Судьбу остальных 6 машинописных экземпляров названного документа в ходе следствия установить не представилось возможным. Указанный клеветнический текст получил дальнейшее широкое распространение. Размноженные неустановленными лицами его машинописные экзем-

пляры были изъяты в 1982 году в процессе обысков в квартирах жителей г. Москвы: 6 апреля у Сендерова В. А. и 21 июня у Каневского Б. И. соответственно 3 и 1 экземпляр. 17 сентября 1982 года во время обыска в квартире жителя г. Киева Остромогильского М. Л. изъяты также отснятая им с помощью фотоаппарата «Практика» фотопленка с машинописным текстом этого документа и одна его фотокопия.

Кроме того, этот пасквиль Ратушинская при неустановленных обстоятельствах передала для распространения на Запад, где он был опубликован в антисоветском журнале НТС «Грани» № 123 за 1982 год, издающемся в г. Франкфурте-на-Майне (ФРГ).

В мае-августе 1979 года в г. Киеве Ратушинская совместно со своим мужем Геращенко И. О. в тех же целях изготовила для последующего распространения на Западе рукописный документ в виде дневниковых записей в 2-х общих тетрадях, начинающийся словами: «27. V. 79 Мы решили писать эти записи 20 мая 1979 года...». Указанную рукопись хранила в своей квартире до изъятия ее во время обыска 22 июня 1980 года.

В этом документе она поместила клеветнические измышления на советский государственный и общественный строй, на деятельность КПСС по коммунистическому воспитанию подрастающего поколения в нашей стране, заявляя при этом, что Советское государство является якобы «чудовищной бюрократической машиной с тоталитарным режимом, где будто бы царит беззаконие.

В 1979 году в г. Киеве с целью подрыва и ослабления Советской власти изготовила на принадлежащей ей пишущей машинке «Оптим-Электрик» не менее 10 экземпляров документа в стихотворной форме под названием «Письмо в 21 год».

В этом так называемом стихотворении клеветнически называла нашу страну «жесточкой», где будто бы «гибнет поэзия», а поэты подвергаются преследованиям. Указанный пасквиль Ратушинская распространила таким путем:

В 1979—1980 годах в г. Ленинграде ознакомила с его текстом Ушакова Ю. В.;

По одному из этих отпечатанных экземпляров Ратушинская в 1981—1982 годах передала в Москве для ознакомления жителям названного города Сендерову В. А. и Каневскому Б. И., у которых они были изъяты в ходе обысков соответственно 6 апреля и 22 июня 1982 года;

Еще один экземпляр изъят в процессе обыска 22 июня 1982 года в квартире жителей г. Киева Варвака Л. П. и Варвак Л. В., где в их отсутствие временно проживала Ратушинская.

Один из изготовленных ею экземпляров документа «Письмо в 21 год», а также 2 машинописных экземпляра этого пасквиля и 4 его фотокопии, изготовленные неустановленными лицами, она хранила с указанной целью в своей квартире до изъятия их в процессе обысков 22 июня и 17 сентября 1982 года. Судьба остальных 6 экземпляров названного клеветнического документа не установлена.

Кроме того, изготовленные неустановленными лицами машинописные экземпляры документа «Письмо в 21 год» были изъяты во время обысков у жителей г. Москвы: 6 апреля у Сендерова В. А. — 3 экземпляра и 21 июня 1982 года у Каневского Б. И. — 1 экземпляр. При обыске 17 сентября 1982 года в квартире жителя г. Киева Остромогильского М. Л. также изъяты отснятая им фотоаппаратом «Практика» фото пленка с машинописным текстом этого документа и одна его фотокопия.

2 ноября 1979 года в г. Киеве Ратушинская с указанной целью изготовила рукописный текст в стихотворной форме, начинающийся словами «Нащо мені довгі вії...» («Зачем мне длинные ресницы...»)<sup>1</sup>, в котором содержатся клеветнические измышления, порочащие советский государственный и общественный строй,

1

<sup>1</sup> По воспоминаниям мужа Ирины Ратушинской, Игоря Герашенко, это шутивное стихотворение, написанное на трех языках — русском, английском и украинском, было адресовано одному из их общих знакомых. Текст не был предназначен для публичного распространения и поэтому существовал только в виде рукописи.

в частности, в нем утверждается, что в СССР будто бы отсутствует свобода слова, право на труд и народовластие.

Этот документ хранила у себя в квартире до изъятия его во время обыска 22 июня 1982 года.

13 февраля 1980 года по месту своего жительства в г. Киеве Ратушинская с той же целью изготовила для последующего распространения рукописный документ под названием «Обращение к советскому правительству» и подписала его вместе со своим мужем Геращенко И. О. В нем она возводит клевету на советский государственный и общественный строй, в частности, заявляет, что в Советском Союзе якобы имеет место нарушение прав человека, и при этом восхваляет противоправную деятельность отщепенца Сахарова.

Электрографическую копию этого клеветнического документа она хранила у себя дома до изъятия ее в ходе обыска 22 июня 1982 года. Местонахождение подлинника этого пасквиля и обстоятельство его размножения в ходе следствия установить не представлялось возможным.

В 1980 году по месту жительства в г. Киеве Ратушинская в целях подрыва и ослабления Советской власти изготовила на пишущей машинке «Оптим-Электрик» не менее 10 экземпляров документа в виде стихотворения, начинающегося словами: «Не берись совладать...», в котором она возводит клеветнические измышления на советскую действительность, сравнивая ее с «Тюрьмой и кошмаром сумасшедшего дома», клеветнически утверждает, что в СССР якобы существует беззаконие, преследуются ни в чем не повинные люди. Этот документ она распространила следующим образом:

— В 1980 году, находясь в Ленинграде, ознакомила с ним Ушакова Ю. В.;

— По одному из размноженных ею экземпляров указанного текста Ратушинская в 1981—1982 годах передала в Москве для ознакомления жителям названного города Сендерову В. А. и Каневскому Б. И., у кото-

рых они были изъяты в ходе обысков соответственно 6 апреля и 22 июня 1982 года;

— Один экземпляр изъят в процессе обыска 22 июня 1982 года в квартире жителей г. Киева Варвака Л. П. и Варвак Л. В., где в их отсутствие временно проживала Ратушинская.

Машинописный его экземпляр, изготовленный неустановленным лицом, передала в 1980 году для ознакомления жителям г. Киева Гришину О. М. и Гришиной М. К., у которых он был изъят при обыске 17 сентября 1982 года.

Один из размноженных ею экземпляров документа «Не берись совладать...», а также 4 его фотокопии, изготовленные неустановленным лицом, она хранила с той же целью в своей квартире до изъятия их в процессе обыска 22 июня 1982 года.

Судьба остальных 6 экземпляров названного документа в ходе следствия не установлена.

Указанный пасквиль получил дальнейшее широкое распространение. Машинописные его экземпляры, изготовленные неустановленными лицами, были изъяты в ходе обыска в квартирах жителей г. Москвы: 6 апреля у Сендерова В. А. — 3 экземпляра; 21 июня у Каневского Б. И. — 1 экземпляр и 15 июля 1982 года у Финкеля Ф. Л. — 3 экземпляра, а 17 сентября 1982 года во время обыска в квартире жителя г. Киева Остромогильского М. Л. изъяты также отснятая им фотоаппаратом «Практика» фотопленка с машинописным текстом этого документа и одна его фотокопия.

В начале 1981 года у себя дома в г. Киеве Ратушинская в тех же целях изготовила на пишущей машинке «Оптим-Электрик» не менее 4-х экземпляров документа, начинающийся со слов: «Марина Константиновна, впоследствии Гришина...»<sup>2</sup>, в котором содержится

2

<sup>2</sup> Игоря Герашенко вспоминает: «Марина Константиновна Гришина — наша приятельница, волевая женщина и физически очень сильная. Ко дню ее рождения мы с Ириной написали стихотворение, в котором по-дружески шутили на тему образа могучей женщины. А когда началось следствие, экспертиза неожиданно для нас установила, что под Мариной Константиновной мы подразумевали советскую власть».

клевета на советский государственный и общественный строй, миролюбивую политику нашего государства. В нем с враждебных позиций она утверждает, что Советский Союз якобы проводит агрессивную внешнюю политику, будто бы оказывает давление на другие страны, пытаясь подчинить их своему влиянию, вмешивается во внутренние дела Афганистана и Польши. При этом клеветает также на экономическую систему в нашей стране, которая, по ее словам, будто бы «окончательно приобрела характер стихийного бедствия».

Один машинописный экземпляр этого документа с наклеенными на нем вырезками из иностранных газет и журналов в начале марта 1981 года передали для ознакомления жительнице г. Киева Гришиной М. К., в квартире которой он был изъят во время обыска 17 сентября 1982 года. Другой из размноженных ею экземпляров хранила в своей квартире до изъятия его при обыске 22 июня 1982 года. Судьбу остальных экземпляров этого документа в ходе следствия установить не представилось возможным.

Несмотря на объявленное Ратушинской 15 августа 1981 года в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 декабря 1972 года официальное предостережение о недопустимости действий, которые противоречат интересам государственной безопасности СССР, она не только не прекратила изготовление, хранение и распространение антисоветских, клеветнических документов, а наоборот, активизировала свою враждебную деятельность. Так, во второй половине 1981 года, с целью подрыва и ослабления Советской власти, Ратушинская совместно с жителями г. Киева Беренштейном И. Я., Варваком Л. П., Корсунским Л. И., Островским Г. М. и со своим мужем Геращенко И. О. изготовила клеветнический документ под названием «Бейлисовский юбилей в Киеве».

В этом документе с враждебных СССР позиций указывается, что в нашей стране якобы существует произвол и нарушение социалистической законности,

советские органы власти будто бы преследуют евреев за их национальную принадлежность. Этот клеветнический документ был размножен на пишущей машинке неустановленным лицом в количестве не менее 6 экземпляров, один из которых Ратушинская хранила в своей квартире до изъятия его во время обыска 17 сентября 1982 года.

Пасквиль «Бейлисовский юбилей в Киеве» оказался на Западе, где активно использовался буржуазной пропагандой в провокационных антисоветских кампаниях, в частности, 6 ноября 1981 года его текст передавался на русском языке радиостанцией «Свобода», а в первой половине 1982 года он был опубликован в реакционной прессе под заглавием «Дело Владимира Кислика — Бейлисовский юбилей в Киеве». Судьба остальных экземпляров указанного документа не установлена.

10 декабря 1981 года в г. Киеве Ратушинская в тех же целях изготовила не менее 6 экземпляров рукописного текста клеветнического содержания в виде «открытого письма» в защиту Сахарова и подписала его вместе со своим мужем Геращенко И. О., в котором советский государственный и общественный строй клеветнически называет «тоталитарным режимом», где, как она утверждает, будто бы «нарушаются элементарные права человека».

По одному экземпляру указанного клеветнического документа при неустановленных обстоятельствах передала жителю г. Москвы Сендерову В. А. и жителям г. Киева Варваку Л. П. и Варвак Л. В., в квартирах которых они были изъяты во время обысков соответственно 6 апреля и 17 сентября 1982 года.

Черновой вариант так называемого «Открытого письма» хранила до изъятия у нее при личном обыске 11 декабря 1981 года органами милиции в г. Москве, а 2 рукописных экземпляра этого текста были изъяты в ходе обыска по месту ее жительства в г. Киеве 22 июня 1982 года.

Судьбу еще одного размноженного ею рукописного экземпляра в ходе следствия установить не представилось возможным.

В декабре 1981 года совместно со своим мужем Геращенко И. О. в г. Киеве с указанной выше целью Ратушинская изготовила рукописный документ под названием «Административный арест — борьба с хулиганством или потребность экономики?», в котором, с враждебных СССР позиций, возводится клевета на советскую действительность и органы власти. В частности, административные меры, применяемые в нашей стране к нарушителям общественного порядка, клеветнически оцениваются как «источник использования подневольного труда».

Тогда же на пишущей машинке «Оптима-Электрик» размножила этот клеветнический текст не менее чем в 9 экземплярах, один из которых при неустановленных обстоятельствах оказался у жителя г. Москвы Уханова Н. Ю. и был изъят у него во время обыска 17 июня 1982 года.

Этот пасквиль был также помещен в нелегальном антисоветском «Информационном бюллетене» № 32 за 1982 год, распространяемом от имени так называемого СМОТа (свободное межпрофессиональное объединение трудящихся).

Рукопись и 4 машинописных экземпляра названного документа она хранила у себя в квартире до изъятия их в ходе обысков 22 июня и 17 сентября 1982 года.

Судьбу остальных 4 размноженных ею экземпляров установить не представилось возможным.

Тогда же, в декабре 1981 года, Ратушинская у себя дома в г. Киеве в целях подрыва и ослабления Советской власти изготовила на пишущей машинке «Оптима-Электрик» не менее 9 экземпляров документа под названием «К положению в Польше». В нем содержатся клеветнические измышления, порочащие советский государственный и общественный строй. В частности, с враждебных СССР позиций она, пытаясь очернить миролюбивую внешнюю политику нашего государства и посеять вражду между советским

и польским народами, клеветнически утверждает о якобы имевшем место его вмешательстве во внутренние дела Польши и других стран, заявляет далее, что Советский Союз будто бы вынашивает намерение «физически уничтожить польский народ».

Пасквиль «К положению в Польше» оказался на Западе, где активно использовался буржуазной пропагандой в провокационных антисоветских кампаниях, в частности, 23 ноября 1982 года его текст передавался на русском языке радиостанцией «Свобода». 5 машинописных экземпляров этого враждебного текста хранила в своей квартире до изъятия их во время обысков 22 июня и 17 сентября 1982 года. Судьбу остальных экземпляров названного документа в ходе следствия установить не представилось возможным.

3 марта 1982 года Ратушинская с той же целью изготовила в своей квартире в г. Киеве не менее 3 экземпляров рукописного текста в виде письма, начинающегося словами: «Шолом, дорогой Тальмон!...». В этом документе, адресованном жителю Израиля Тальмону Пачевскому, она возводит клевету на советский государственный и общественный строй, утверждая, что в СССР якобы отсутствуют демократические свободы, в частности, будто бы нарушаются «права человека в отношении евреев» и других советских граждан. В нем также она заявляет о своей готовности продолжать свою враждебную деятельность.

Подлинник указанного клеветнического документа при неустановленных обстоятельствах передала жителю г. Москвы Сендерову В. А., в квартире которого он был изъят в ходе обыска 6 апреля 1982 года. Второй его экземпляр Ратушинская хранила в своей квартире до изъятия его во время обыска 22 июня 1982 года. Судьба третьего изготовленного ею экземпляра не установлена.

17 апреля 1982 года у себя дома в г. Киеве Ратушинская с указанной целью изготовила на пишущей машинке «Оптима-Электрик» не менее 7 экземпляров

документа в виде стихотворения, начинающегося словами: «Семидесятые — тоска!..», в котором поместила клеветнические измышления на советскую действительность. В нем она, в частности, пишет о якобы имеющем место в СССР нарушении прав человека, преследовании советских граждан будто бы за политические взгляды.

Указанный клеветнический документ получил широкое распространение. Изготовленные неустановленными лицами его машинописные экземпляры были изъяты в 1982 году у жителей г. Москвы: 6 апреля у Сендерова В. А. — 1 экземпляр; 22 июня у Каневского Б. И. — 7 экземпляров и 15 июля у Кулинской Е. В. — 1 экземпляр. Кроме того, 17 сентября 1982 года в квартире жителя г. Киева Остромогильского М. Л. изъяты также отснятая им фотоаппаратом «Практика» фото пленка с машинописным текстом этого документа и одна его фотокопия.

2 изготовленных ею машинописных экземпляра этого документа хранила в своей квартире до изъятия во время обысков 22 июня и 17 сентября 1982 года. Судьба остальных 5 экземпляров в ходе следствия не установлена.

В июне 1982 года в целях подрыва и ослабления Советской власти Ратушинская совместно со своим мужем Герашенко И. О. и жительницей г. Москвы Плетневой Т. И. изготовила рукописный текст документа под названием «Обращение к мировой общественности».

В этом пасквиле с антисоветских позиций возводит злобную клевету на советский государственный и общественный строй, миролюбивую внешнюю политику КПСС и советского правительства. В нем с враждебных позиций отождествляет Советский Союз с фашистской Германией, клеветнически утверждает при этом, что наше государство якобы имеет «тоталитарный характер» и что будто бы ему присущи «стремление к военной экспансии, нарушение собственных законов, попираание элементарных прав человека».

Текст указанного документа был помещен в нелегальном антисоветском «Информационном бюллетене» № 34 за 1982 год, распространяемом от имени так называемого СМОТа.

Наряду с этим, в течение 1979—1982 годов Ратушинская с целью подрыва и ослабления Советской власти хранила по месту своего жительства в г. Киеве полученные от неустановленных лиц для использования в своей враждебной деятельности и дальнейшего распространения антисоветские и клеветнические документы:

машинописный документ М. Берштама под названием «Очерки экономического строя, экономической истории государственного социализма. Очерк I.

Поднятая целина реального социализма и ленинский кооперативный план». В нем содержатся злобные клеветнические измышления, порочащие советский государственный и общественный строй, с враждебных позиций предпринимается попытка ревизовать марксистско-ленинское учение о развитии общества и государства, а также опорочить линию КПСС

и Советского правительства по построению коммунизма в нашей стране; отрицается наличие в Советском Союзе развитого социалистического общества; клеветнически утверждается, что Великая Октябрьская социалистическая революция, злобно автором именуемая «октябрьским переворотом», привела якобы к созданию в нашей стране строя, который будто бы является «древневосточным режимом, соединением государственно-крепостнической эксплуатации рабочих и военно-феодальной эксплуатации крестьянства»;

машинописный документ под названием «Сбоку бантик (романтический сумбур)» неизвестного автора.

В нем порочится советская действительность, с враждебных позиций искажается принцип партийности в советской литературе и искусстве, клеветнически утверждается о якобы имеющих место в Советском Союзе преследованиях ни в чем не повинных граждан;

машинописный документ Е. Нестеровой под названием «Вшивый эпизод карьеры его величества», в котором содержится клевета на Советский государственный и общественный строй. В частности, в нем делается попытка подорвать авторитет СССР на международной арене путем сравнения олимпийских сооружений в Москве и других городах Советского Союза с «потемкинскими деревнями», в искаженной форме преподносится система народного образования в нашей стране и условия жизни советских людей, которые якобы живут в «антисанитарных условиях»; машинописный документ стихотворения под названием «Из России не уеду» не установленного автора, в котором содержатся клеветнические измышления, порочащие советский государственный и общественный строй. В этом документе, в частности, делается попытка доказать, что Советская власть якобы принесла нашему народу «голодные годы», лишила его свободы и будто бы такая участь ожидает другие страны, в которых происходят революционные процессы;

машинописный текст стихотворения под названием «Баллада об историческом недосыпе» (автор не указан), в котором возводится клевета на марксистско-ленинское учение о социалистическом обществе, с враждебных буржуазных позиций в искаженной форме преподносится историческая роль основателя Советского государства и совершенной под его руководством Великой Октябрьской социалистической революции;

машинописный документ под заглавием «Призыв СМОТ ко всем гражданам России и национальных республик по поводу «ленинских субботников». В этом документе возводится злобная клевета на советский государственный и общественный строй, внутреннюю и внешнюю политику КПСС и Советского правительства, делается попытка убедить читателя, что в Советском Союзе будто бы отсутствуют демократические свободы и нарушаются права граждан; заявляется о якобы имеющем место экспансиониз-

ме, агрессивности Советского государства, которое будто бы осуществляет «планы подавления общенародного движения польских трудящихся», а также содержатся враждебные СССР призывы к борьбе против существующего государственного и общественного строя путем бойкота ленинских субботников, к организации забастовок и т. п.

Указанные документы были изъяты в квартире Ратушинской в г. Киеве во время обыска 22 июня 1982 года.

машинописный документ в 2 экземплярах под названием «Позиция», изготовленный от имени привлеченного к уголовной ответственности за антисоветскую деятельность Сендерова В. А. В нем содержатся злобные клеветнические измышления, порочащие советский государственный и общественный строй. С враждебных СССР позиций утверждает, что в 1917 году большевики, узурпировав власть в России и установив «коммунистическую диктатуру», за 65 лет своего существования якобы ознаменовали себя «уничтожением Веры и культуры, истреблением русского народа и геноцидом малых наций, агрессивными войнами, концлагерями и психиатрическими душегубками». Советское государство автором клеветнически называется «империей лжи и насилия», в котором будто бы господствует «партократическая конституция и произвол захватчиков», делается провокационное заявление о якобы предстоящей скорой «гибели» Советской власти;

машинописный текст стихотворения М. Волошина под названием «Северо-восток»<sup>3</sup>, в котором возводится клевета на советский государственный и общественный строй. В частности, Советская власть отождествляется с царским самодержавием и утверждается, что в нашей стране якобы существует «гнет оков свинцовых», а Советская действитель-

<sup>3</sup> Стихотворение поэта Максимилиана Волошина (1877—1932) «Северо-восток» написано в 1920 году. По воспоминаниям Игоря Герашенко, в следственных материалах по делу Ирины Ратушинской фигурировали показания М. Волошина, которые он давал в 1982 году (!), через 50 лет после своей кончины.

ность будто бы представляет собой «сплошной сыск и кухню тайных канцелярий».

Названные документы были изъяты у Ратушинской в ходе обыска 17 сентября 1982 года.

С той же целью она хранила у себя дома полученный в начале 1980 года от жительницы г. Киева Варвак Л. В. изготовленный последней машинописный документ под названием «Господин Генеральный секретарь!». В нем с враждебных позиций возводится клевета на советский государственный и общественный строй, в частности, клеветнически утверждается о том, что наша страна якобы отказывается «от выполнения своих международных обязательств в области прав человека» и будто бы в СССР имеют место «массовые нарушения» этих прав. Этот клеветнический текст изъят у Ратушинской во время обыска 22 июня 1982 года.

Одновременно с изготовлением, распространением и хранением враждебных документов Ратушинская, проживая в г. Киеве, в течение 1979—1982 годов, с целью подрыва и ослабления Советской власти проводила агитацию и пропаганду в устной форме, систематически распространяя среди своего окружения клеветнические измышления, порочащие советский государственный и общественный строй.

Так, в мае-июне 1979 года с указанной целью в неоднократных разговорах со своими знакомыми Окондзой Т. И. и ее братом Остаповским В. И. распространяла клевету на советский государственный и общественный строй, по месту своего временного жительства в квартире Мининой Л. В. и Плютова Г. А. в г. Киеве.

В частности, утверждала, что Советская власть якобы не дает реальной возможности развиваться человеку и что в нашей стране будто бы существует неравенство граждан, отсутствуют демократические свободы; клеветала на советскую избирательную систему, заявляя, что она приводит якобы к отсутствию в СССР демократии и свободы выборов и при этом подстрекательски высказывалась о якобы имеющейся, по ее

словам, «необходимости изменения советского государственного строя и возрождения капитализма в нашей стране».

В период с апреля 1980 года по февраль 1981 года, посещая квартиру жителя г. Киева Гришина О. М., в присутствии проживавшего в ней Рыбака А. Ф. неоднократно возводила клеветнические измышления, порочащие советский государственный и общественный строй, заявляя, что в СССР будто бы недостаточно демократических свобод и ущемляются права граждан; клеветнически характеризуя нашу страну как якобы отставшую от уровня развития капиталистических стран, твердила, что подлинная демократия будто бы существует только на Западе.

4 августа 1981 года у себя дома в разговоре со своим знакомым Коздобой Л. А. Ратушинская высказывала клеветнические измышления на демократические основы советского общества и заявляла о том, что в нашей стране якобы отсутствуют права и свободы граждан.

В начале октября 1981 года в своей квартире в разговоре с жителем г. Киева Лежениным Ф. Ф. клеветала на советский государственный и общественный строй, пыталась убедить его в том, что в СССР будто бы отсутствуют демократические свободы и якобы имеют место «беспорядок и хаос». При этом демонстративно проявляя свою вражду к Советской власти, заявляла о своем намерении бороться против существующего в нашей стране государственного строя.

В феврале 1982 года, находясь в квартире жителя г. Киева Остаповского В. И., в его присутствии высказывала клеветнические измышления о якобы бесперспективности построения коммунизма в нашей стране, а также заявляла, что в СССР будто бы отсутствуют конституционные права и свободы.

В июне-июле 1982 года, давая в частном порядке консультации по физике и математике жительнице г. Киева Густы Т. П., в ходе общения с ней высказывала клеветнические измышления, порочащие советский государственный и общественный строй, в частно-

сти, заявляла о предстоящем якобы «конце Советской власти», пыталась опорочить проводимую комсомолом работу по коммунистическому воспитанию молодежи, склоняла Густу к отказу от участия в общественной деятельности.

В период с октября 1981 года по август 1982 года в присутствии жительницы г. Киева Монаенковой Е. Н. (при даче последней в частном порядке консультаций по математике) неоднократно высказывала клеветнические измышления о якобы бесперспективности построения в нашей стране коммунистического общества, подстрекательски твердила о будто бы неминуемой реставрации капитализма в СССР, клеветнически отзывалась о КПСС, ее деятельности и заявляла, что в Советском Союзе якобы отсутствуют подлинные права и свободы граждан; пыталась также опорочить внешнюю политику советского правительства, клеветнически утверждая, что СССР будто бы «под любыми предлогами уклоняется от мирных переговоров с США».

В первой половине сентября 1982 года в период временной работы на уборке яблок в колхозе имени XXI съезда КПСС в селе Лишня Макаровского района Киевской области в присутствии работавших там жителей г. Киева Лебедева В. Г., Деревянко И. П., Гаевской В. П., Сергиенко А. П. и Школьникова А. А. с целью подрыва и ослабления Советской власти неоднократно высказывала клеветнические измышления, порочащие советский государственный и общественный строй. В частности, с враждебных СССР позиций заявляла, что Советский Союз будто бы насильно присоединил к себе Латвию, Литву и Эстонию и что в нашей стране средства массовой информации — печать, радио и телевидение якобы сообщают заведомо ложную информацию и вводят в заблуждение советский народ; пыталась убедить их в том, что в СССР якобы отсутствуют демократические свободы, а советские люди будто бы живут «в бесправии и страхе перед органами власти». Клеветнически утверждала, что в нашей стране рабочие якобы

на свою заработную плату не могут обеспечить свои семьи. При этом также пыталась опорочить внешнюю политику КПСС и Советского государства, клеветнически заявляла, что советские войска в Афганистане будто бы используются для подавления национально-освободительного движения в этой стране, а правительство ПНР при поддержке СССР будто бы с помощью террора заставляет народ «выполнять указания советского правительства вопреки своим национальным интересам». Тогда же она открыто заявляла о своем враждебном отношении к существующему в СССР государственному строю, высказывала намерение продолжать против него борьбу под предлогом защиты «прав человека».

В судебном заседании подсудимая Ратушинская свою виновность в совершенном ею преступлении не признала, давать показания и отвечать на вопросы участников судебного разбирательства по существу предъявленного ей обвинения — отказалась.

Однако виновность Ратушинской И. Б. в том, что она на протяжении 1977—1982 годов систематически проводила антисоветскую агитацию и пропаганду как в устной форме, так и путем изготовления, хранения и распространения документов, содержащих клеветнические измышления, порочащие советский государственный и общественный строй, с целью подрыва и ослабления Советской власти, — полностью доказана.

Допрошенные в суде свидетели Окондза Т. И. и Остаповский В. И. показали, что Ратушинская, проживая временно в квартире Мининой Л. В. и Плютова Г. А. в г. Киеве, в мае-июне 1979 года в неоднократных разговорах с ними, а также в феврале 1982 г., находясь в квартире Остаповского В. И. и в его присутствии, распространяла клеветнические измышления, порочащие советский государственный и общественный строй, высказывалась за необходимость изменения существующего в СССР строя и заявляла, что в СССР будто бы отсутствуют конституционные права и свободы.

Свидетель Рыбак А. Ф. показал, что Ратушинская в период с апреля 1980 года по февраль 1981 года, посещая квартиру жителя г. Киева Гришина О. М., неоднократно в его присутствии возводила клевету на советский государственный и общественный строй, утверждая, что в СССР якобы ущемляются права граждан.

Из показаний свидетелей Коздобы Л. А. и Леженина Ф. Ф., допрошенных в стадии предварительного следствия и проверенных в судебном заседании, видно, что Ратушинская 4 августа и в октябре 1981 года у себя дома высказывала в их присутствии клеветнические измышления на демократические основы советского общества, заявляла о том, будто бы в нашей стране отсутствуют права и свободы граждан, что она намерена бороться против существующего в СССР государственного строя.

(т. 2, лд. 143—147, 215—231)

Свидетели Густы Т. П. и Монаенкова Е. Н. подтвердили, что Ратушинская в 1981—1982 гг., давая в частном порядке консультации по физике и математике и общаясь с ними, неоднократно высказывала клеветнические измышления, порочащие советский государственный и общественный строй, миролюбивую политику Советского правительства, заявляла о якобы бесперспективности построения коммунизма и будто бы неминуемой реставрации капитализма в нашей стране, пыталась опорочить проводимую комсомолом работу по коммунистическому воспитанию молодежи, склоняла Густы к отказу от участия в общественной деятельности.

Показаниями свидетелей Лебедева В. Г., Гаевской В. П., Школьниковой А. А. и Сергиенко А. П., допрошенных в суде, а также показаниями свидетеля Деревянко И. П., допрошенного на предварительном следствии (т. 2, лд. 237—248), установлено, что подсудимая Ратушинская в первой половине сентября 1982 года в период временной работы на уборке яблок в колхозе имени XXI съезда КПСС в селе Лишня

Макаровского района Киевской области в их присутствии возводила злобные клеветнические измышления, порочащие советский государственный и общественный строй. При этом она пыталась опорочить внешнюю политику КПСС и Советского государства, открыто заявляла о своем враждебном отношении к существующему в нашей стране строю и высказывала намерение продолжать против него борьбу. Из протоколов обысков по месту жительства Ратушинской И. Б. от 22 июня и 17 сентября 1982 года усматривается, что в ходе их проведения было обнаружено и изъято множество экземпляров написанных и изготовленных ею стихотворений под названием «Ненавистная моя родина!..», «А мы остаемся...», «Письмо в 21 год», «Нащо мені довгі віі» («Зачем мне длинные ресницы»), «Семидесятые — тоска!..» и др.; документов под названием «Обращение к советскому правительству», «Марина Константиновна, впоследствии Гришина...», «Бейлисовский юбилей в Киеве», «К положению в Польше» и др.

Тогда же были изъяты записная книжка с рукописным перечнем изготовленных Ратушинской стихотворений, пишущая машинка «Оптима-Электрик», машинописный документ М. Бернштама под названием «Очерки экономического строя и экономической истории государственного социализма. Очерк I. Поднятая целина реального социализма и Ленинский кооперативный план», машинописный документ «Сбоку бантик (романтический сумбур)» неизвестного автора, машинописный документ Е. Нестеровой под названием «Вшивый эпизод карьеры его величества», машинописный текст стихотворения под названием «Из России не уеду», неустановленного автора, машинописный документ под заглавием «Призыв СМОТ ко всем гражданам России и национальных республик по поводу «ленинских субботников» и др. (т. 1, лд. 10—20, т. 5, лд. 2—23).

Допрошенные в суде свидетели Окондза Т. И., Остановский В. И., а на предварительном следствии и Ушаков Ю. В. (т. 4, лд. 85—92), Каневский Б. И.

(т. 3, лд. 247—253), Мельгорский В. И. (т. 3, лд. 157—166), Варвак Л. В. (т. 2, лд. 148—165) — подтвердили, что автором изъятых при обыске стихотворений и многих других документов является Ратушинская. Показания этих свидетелей объективно подтверждаются и выводами судебно-почерковедческой экспертизы о том, что рукописный перечень стихотворений в записной книжке Ратушинской и ряд других документов (дневниковые записи, «Нащо мені довгі віі», «Обращение к советскому правительству» и др.) исполнены Ратушинской (т. 12, лд. 94—112). Согласно заключению технико-криминалистической экспертизы стихотворения и документы, изготовленные Ратушинской, размножались путем печатания на пишущей машинке «Оптима-Электрик» и «Москва», изъятых соответственно при обыске по месту жительства Ратушинской и Остромогильского (т. 12, лд. 47—92), а также с помощью фотоаппарата «Практика» и использованием в качестве экрана доски от кадрирующей рамки, которые изъяты у Остромогильского при обыске на квартире (см. заключение судебно-технической экспертизы — т. 12, лд. 120—130). Свидетель Рыбак А. Ф. подтвердил, что в 1979—1982 гг. в пользовании Ратушинской находились пишущие машинки «Оптима-Электрик» и «Москва». При личном обыске Ратушинской 11 декабря 1981 года у нее был изъят черновой вариант «Открытого письма» в защиту Сахарова, а свидетель Гаевская В. П. подтвердила то, что Ратушинская принимала участие лично в его изготовлении. Протоколами осмотров от 30 сентября, 6, 10 и 28 октября, 15 и 22 ноября 1982 года установлено, что в стихотворениях и документах, изготовленных Ратушинской и изъятых по месту ее проживания и других лиц в г. г. Москве и Киеве, содержатся клеветнические измышления, порочащие советский государственный и общественный строй, что Ратушинская активно проводила антисоветскую агитацию и пропаганду, направленную на подрыв и ослабление Советской власти.

(т. 4, лд. 121—243

т. 5, лд. 24—69, 167—224

т. 6, лд. 31—38, 58—71)

Подсудимая Ратушинская, нигде не работая с апреля 1979 года, установила и поддерживала путем переписки и личных контактов преступные связи с впоследствии привлеченными к уголовной ответственности за антисоветскую деятельность, распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй, жителями г. Москвы Сендеровым В. А., Каневским Б. И. и другими отщепенцами, а также с причастным к зарубежным сионистским организациям Пачевским Т. М., проживающим в Израиле. Она с одобрением относилась к использованию закордонными антисоветскими организациями и буржуазными пропагандистскими центрами в подрывных акциях против Советского Союза ряда изготовленных ею враждебных документов, оказавшихся на Западе.

Из протоколов обысков по месту жительства Гришиной М. К., Варвака Л. П. и Варвак Л. В., Остромогильского М. Л. (г. Киев), Сендерова В. А., Каневского Б. И., Кулинской Е. В. и др. (г. Москва) усматривается, что в ходе их проведения были обнаружены и изъяты стихотворения и документы антисоветского содержания, изготовленные Ратушинской.

(т. 1, лд. 30, 35—36, 41—44, 53—57

т. 5, лд. 156—166; т. 6, лд. 27—28)

Допрошенная в суде свидетель Сергеева Л. М. показала, что она неоднократно была очевидцем сходов, где Ратушинская активно проводила антисоветскую агитацию и пропаганду, распространяя среди своего окружения злобные клеветнические измышления на советский государственный и общественный строй, вовлекая в преступную деятельность и других лиц.

Эти обстоятельства подтверждаются и показаниями свидетелей Каневского Б. И., Варвак Л. В., Мельгорского В. И. и других.

Свидетели Остаповский В. И., Лебедев В. Г. и Сергиенко А. П. показали, что Ратушинская с помощью транзисторного радиоприемника систематически прослушивала передачи зарубежных радиостанций, в том числе таких, как «Свобода», «Голос Америки» и «Немецкая волна».

О том, что подсудимая Ратушинская в мае 1979 года просила Окондзу Т. И. вывезти на Запад ее стихи, подтвердил свидетель Остаповский В. И. Свидетели Лебедев В. Г. и Леженин Ф. Ф. показали, что со слов Ратушинской им известно, что она передавала за границу свои стихотворения и они были опубликованы на Западе.

Из приобщенных к материалам уголовного дела копий листов из зарубежного журнала НТС «Грани» № 123 за 1982 г. усматривается, что на его страницах было опубликовано стихотворение Ратушинской «А мы остаемся...». Факт публикации названного стихотворения подтверждается протоколом осмотра копий этого журнала (т. 6, лд. 43—46, 47—49).

Справкой (т. 12, лд. 223) удостоверено, что журнал «Грани» издается в ФРГ зарубежной антисоветской организацией НТС и специализируется на публикации враждебных СССР произведений.

Приобщенными к делу вещественными доказательствами — 2-мя экземплярами письма Ратушинской в адрес жителя Израиля Тальмона Пачевского подтверждается ее связь с этим лицом, при этом в указанных письмах она утверждает, что действительно подписывала документы клеветнического характера под названием «Обращение к советскому правительству» и «открытое письмо» в защиту Сахарова.

(т. 7, лд. 140

т. 10, лд. 2—3)

Из приобщенных к материалам уголовного дела электрографических копий так называемого бюллетеня СМОТ № 32 и № 34 за 1982 год видно, что пасквиль под названием «Административный арест — борьба с хулиганством или потребность экономики?» и документ под названием «Обращение к мировой обще-

ственности» были помещены в этих нелегальных антисоветских изданиях.

(т. 11, лд. 263—275, лд. 398—412)

Документально также подтверждено, что:

Тальмон Пачевский в 1974 году выехал из СССР на постоянное жительство в Израиль и в настоящее время причастен к сионистским организациям Израиля, ведет активную обработку советских граждан, склоняя их к проведению антисоветской деятельности и к выезду из нашей страны;

(т. 12, лд. 227)

6 ноября 1981 года и 23 ноября 1982 года зарубежная радиостанция «Свобода» осуществила передачи клеветнического документа под названием «Бейлисовский юбилей в Киеве» и текст документа «К положению в Польше», автором и соавтором которых является Ратушинская и в которых содержатся клеветнические измышления, порочащие советский государственный и общественный строй.

(т. 6, лд. 10—15, 16—20

лд. 53—55, 56—57)

Таким образом, проверив и оценив собранные по делу доказательства, судебная коллегия считает полностью доказанным, что Ратушинская И. Б. на протяжении 1977—1982 годов, с целью подрыва и ослабления Советской власти, систематически проводила антисоветскую агитацию и пропаганду путем изготовления, хранения и распространения документов, содержащих клеветнические измышления, порочащие советский государственный и общественный строй. Свою преступную деятельность она проводила активно и целенаправленно, занималась длительное время, несмотря на объявленное ей 15 августа 1981 года органами власти официальное предостережение в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 декабря 1972 года о недопустимости действий, наносящих ущерб государственной безопасности СССР. (т. 1, лд. 117)

О том, что Ратушинская находится на антисоветских позициях и намерена продолжать свою враждебную

деятельность против СССР, она указывает в своих письмах к Пачевскому и др., заявляла о своем намерении и в дальнейшем бороться против существующего в СССР строя, и об этом свидетельствует ее поведение и отношение к содеянному в ходе судебного разбирательства.

(т. 2, лд. 93—108, 199—214, 215—231

т. 6, лд. 114—115; т. 7, лд. 140

т. 10, лд. 2—3, 508; т. 11, лд. 2—3)

Совершенное Ратушинской преступление правильно квалифицировано по статье по ст. ст. 62 ч. 1 УК СССР, 70 ч. 1 УК РСФСР, поскольку она проводила анти-советскую агитацию и пропаганду в целях подрыва и ослабления Советской власти и эти ее преступные действия были совершены на территории двух союзных республик — РСФСР и УССР.

При избрании Ратушинской наказания судебная коллегия учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ею преступления, отношение к содеянному, что она, совершая антисоветскую агитацию и пропаганду, нигде не работала с апреля 1979 года.

Предусмотренных ст. 40 УК УССР обстоятельств, смягчающих ответственность Ратушинской, не имеется.

Судебная коллегия считает, что наказание Ратушинской следует избрать в виде лишения свободы и определить отбывание ее в соответствии с требованиями ст. 25 УК УССР в исправительно-трудовой колонии строгого режима, т. к. она совершила особо опасное государственное преступление. Суд также считает необходимым с учетом характера совершенного преступления применить и дополнительное наказание в виде ссылки.

Вещественные доказательства: пишущая машинка «Оптима-Электрик» № 105433, пишущая машинка «Москва» № 114545, фотоаппарат «Практика» № 136300 и доска от кадрирующей рамки, как орудия преступной деятельности, следует конфисковать в доход государства, стихотворения и другие документы — оставить на хранение при деле.

Судебные издержки по делу в сумме 61 руб. необходимо взыскать с Ратушинской в доход государства. На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 323, 324 УК УССР, судебная коллегия

Приговорила:

РАТУШИНСКУЮ Ирину Борисовну

— по ч. 1 ст. 62 УК УССР к 7 годам лишения свободы и 5 годам ссылки после отбытия основной меры наказания, по ч. 1 ст. 70 УК РСФСР к 5 годам лишения свободы и 3 годам ссылки после отбытия основной меры наказания.

На основании ст. 42 УК УССР считать осужденной Ратушинскую И. Б. путем поглощения менее строгого срока более строгим к 7 (семи) годам лишения свободы в исправительно-трудовой колонии строгого режима со ссылкой на 5 (пять) лет после отбытия основной меры наказания.

Срок отбытия назначенного наказания в виде лишения свободы исчислять с 17 сентября 1982 года, меру пресечения Ратушинской И. Б. до вступления приговора в законную силу оставить содержание под стражей в следственном изоляторе КГБ УССР.

Взыскать с Ратушинской И. Б. в доход государства 61 руб. судебных издержек по делу.

Вещественные доказательства: пишущие машинки «Оптима-Электрик» № 105433 и «Москва» № 114545, фотоаппарат «Практика» № 136300 с объективом № 5405-430 и доской от кадрирующей рамки размером 37 x 30 — конфисковать в доход государства; стихотворения и другие документы — оставить на хранение при деле.

Приговор может быть обжалован в Верховный Суд УССР осужденной в течение семи суток с момента вручения ей копии приговора, а остальными участниками судебного разбирательства в тот же срок с момента провозглашения приговора.

Председательствующий — Зубец Г. И.

Народные заседатели — две подписи

Верно: председательствующий Г. И. Зубец

ИРИНА РАТУШИНСКАЯ  
СЕРЫЙ — ЦВЕТ НАДЕЖДЫ  
Документальная проза, стихи

Игорь Геращенко,  
автор-составитель

Татьяна Полянская,  
научный редактор-консультант,  
старший научный сотрудник  
Музея истории ГУЛАГа,  
кандидат исторических наук

Алена Сханова,  
редактор

Александр Макеев,  
специалист Центра документации  
Музея истории ГУЛАГа

Инна Кроль,  
корректор

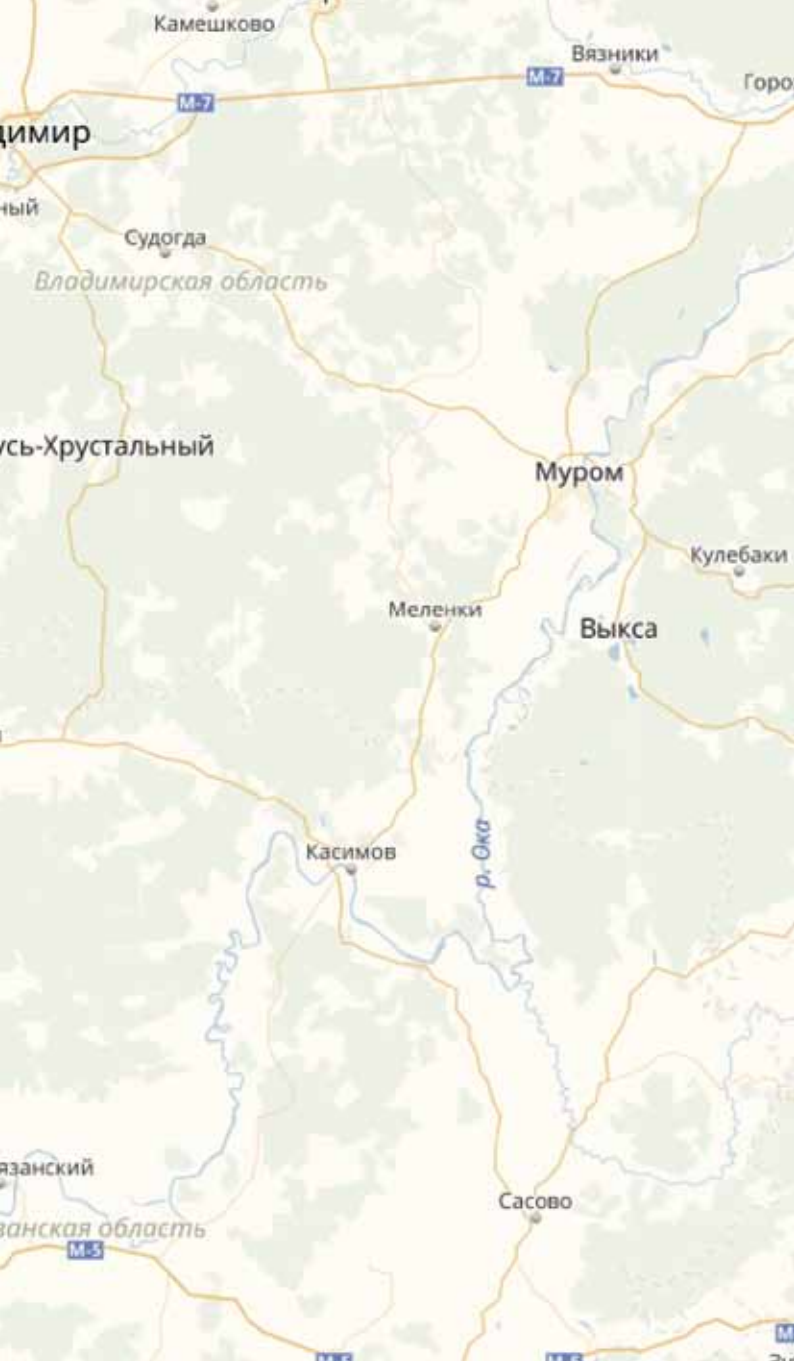
Игорь Гурович,  
дизайн, arbeitskollektiv

Дмитрий Криворучко,  
верстка, arbeitskollektiv

Светлана Пухова,  
куратор издательской программы  
Музея истории ГУЛАГа

Музей истории ГУЛАГа  
127473, Москва  
1-й Самотечный переулок, 9, стр. 1  
+7 495 681-88-82,  
+7 495 621-73-10  
[www.gmig.ru](http://www.gmig.ru)

Отпечатано в типографии  
«Август Борг»  
+7 495 787-06-77  
[www.augustborg.ru](http://www.augustborg.ru)  
Печать офсетная  
Тираж 500 экз.



Камешково

Вязники

Городец

M-7

M-7

Владимир

Судогдский

Судогда

Владимирская область

Сус-Хрустальный

Муром

Кулебаки

Меленки

Выкса

р. Ока

Касимов

Нижегородский

Нижегородская область

M-5

Сасово

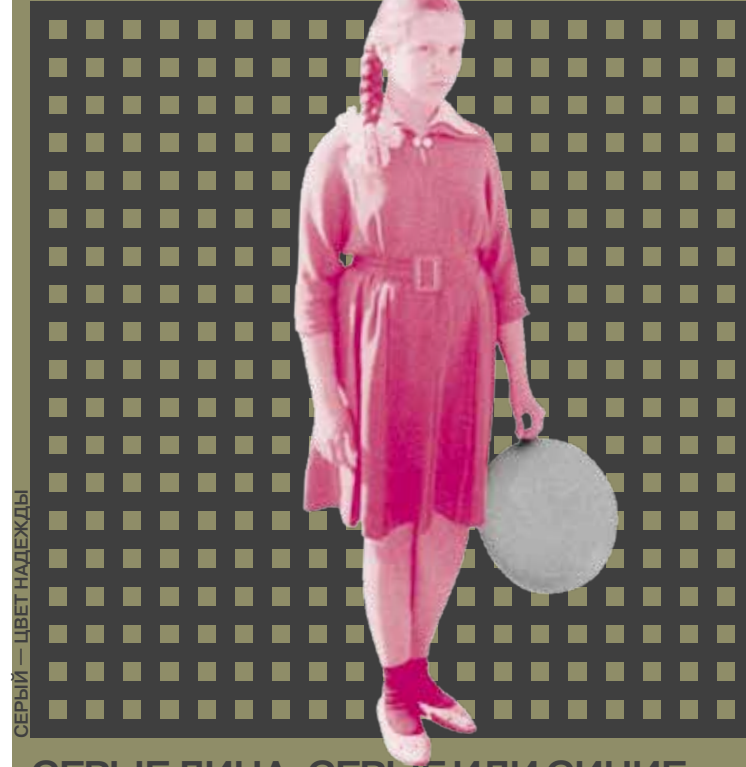
M-7

M-5

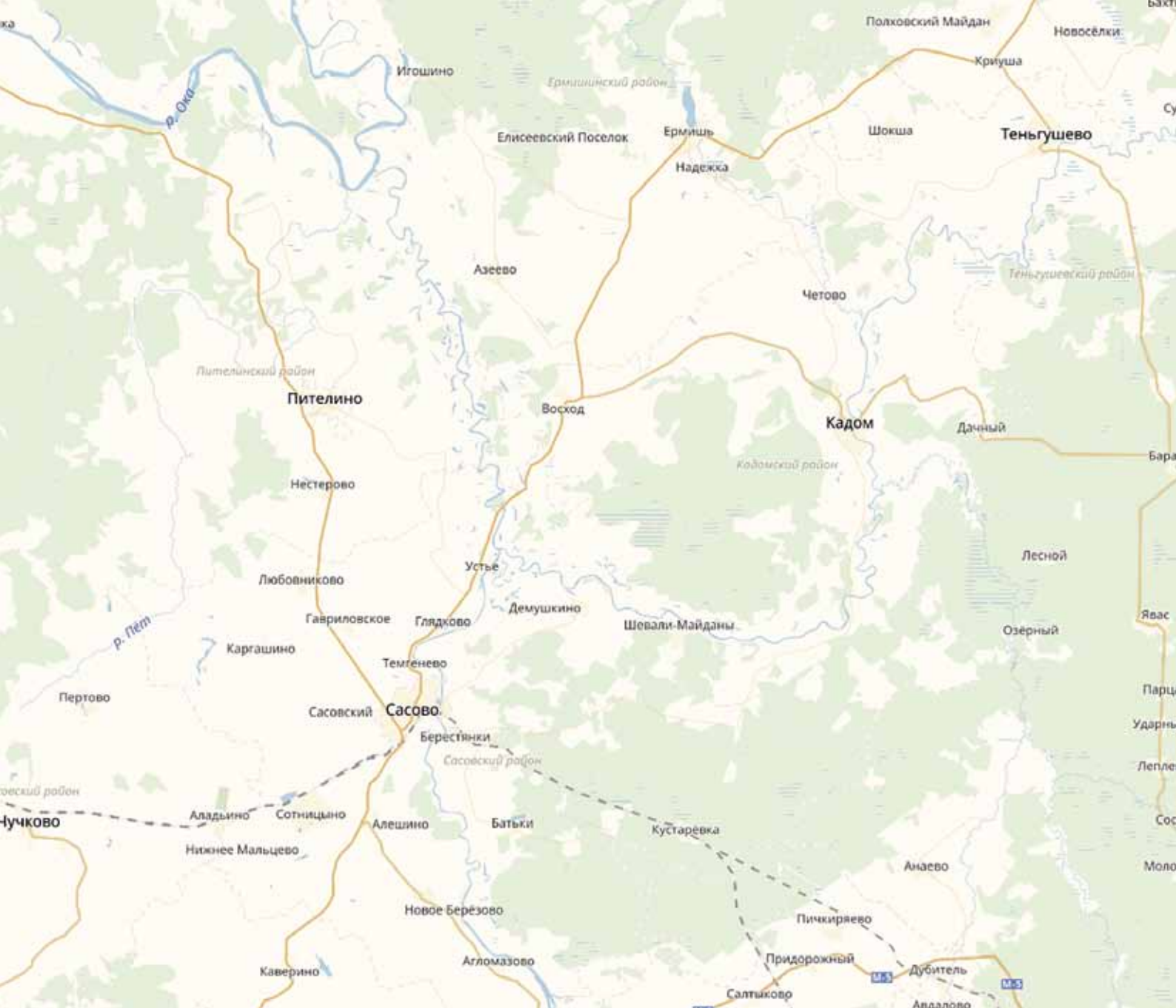
M-5

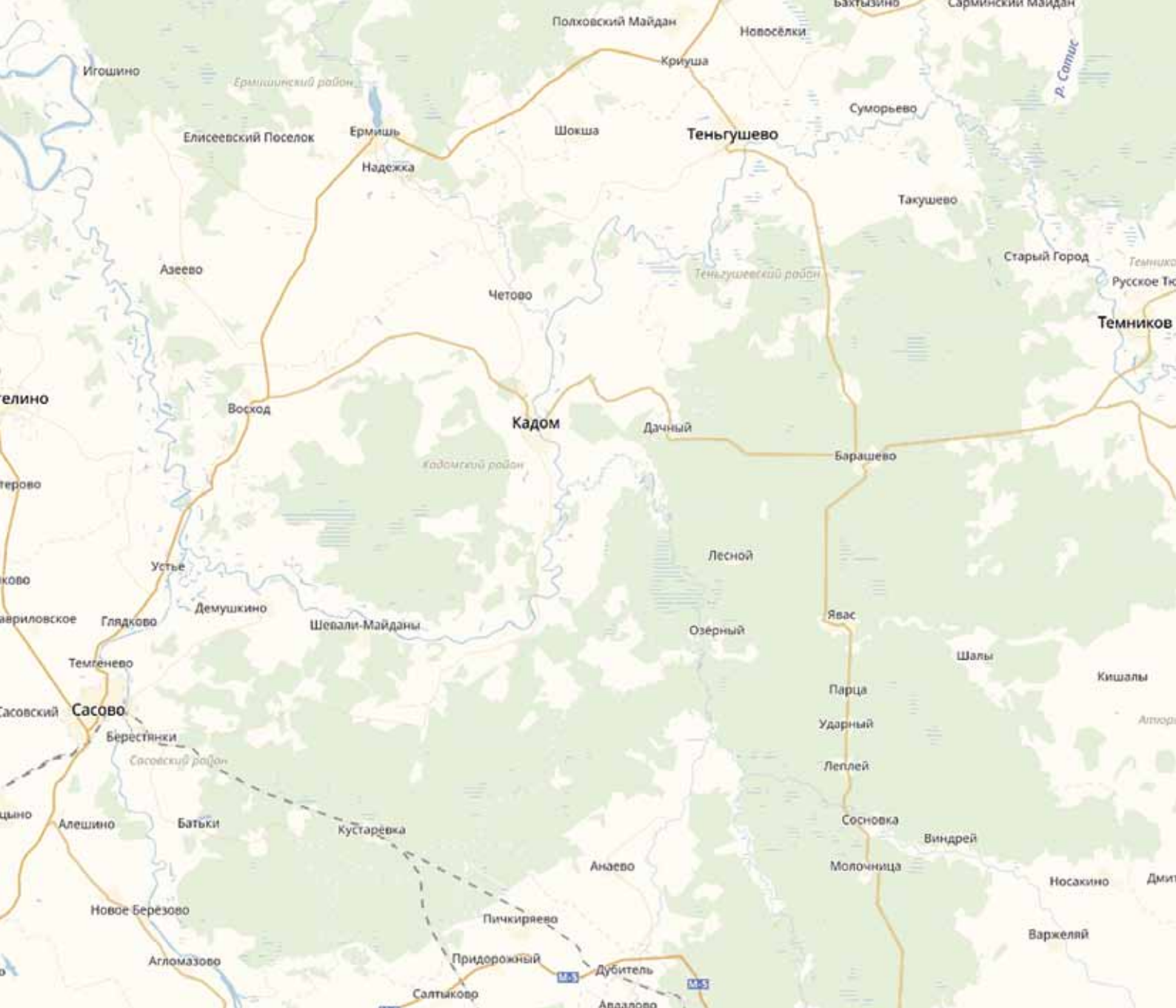
СКОЛЬКО ЖЕ ИХ, БОЖЕ МОЙ?  
СЛЕДОВАЛО БЫ ПЕРЕСЧИТАТЬ,  
ВЕДЬ ДАЛА ЖЕ Я СЕБЕ СЛОВО,  
ВХОДЯ В САМУЮ МОЮ ПЕРВУЮ  
КАМЕРУ, НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬ!  
НАБЛЮДАТЬ, ЗАПОМИНАТЬ —  
ВСЕ ДО КАПЛИ! КОГДА-НИБУДЬ  
ЭТО ВСЕ ПРИГОДИТСЯ —  
НЕ ОДНИ ГОЛЫЕ ЭМОЦИИ,  
А ФАКТЫ И ЦИФРЫ. ОДНАКО  
МНЕ СЕЙЧАС НЕ ДО ЦИФР:  
СЕРЫЕ ЛИЦА, СЕРЫЕ ТЕЛОГРЕЙКИ.  
ТОЛЬКО ГЛАЗА РАЗНЫЕ.  
КО МНЕ ЗАГЛЯДЫВАЮТ ВСЕ:  
ПОЛИТИЧЕСКАЯ — ВЫСОКИЙ  
ТИТУЛ!  
«СЕРЫЙ — ЦВЕТ НАДЕЖДЫ»,  
СТР. 39

МЫ ДЫШАЛИ СТИХАМИ СВОБОДЫ,  
МЫ ДРУЗЬЯМ ОСТАВАЛИСЬ ВЕРНЫ,  
НАС КРЕСТИЛИ ХОЛОДНЫЕ ВОДЫ  
ОТВЕРГАЮЩЕЙ БОГА СТРАНЫ.  
ИЗБРАННЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ,  
СТР. 359



СЕРЫЕ ЛИЦА, СЕРЫЕ ИЛИ СИНИЕ  
ТЕЛОГРЕЙКИ. СЕРЫЕ БАРАКИ,  
СЕРЫЕ ЗАБОРЫ. ДАЖЕ СНЕГ,  
ПРИПОРОШЕННЫЙ УГОЛЬНОЙ  
ПЫЛЬЮ, УТРАТИЛ СВОЮ БЕЛИЗНУ.  
«СЕРЫЙ — ЦВЕТ НАДЕЖДЫ», СТР. 198





Полковский Майдан

Новосёлки

Игошино

Ермишинский район

Криуша

Суморьево

Елисеевский Поселок

Ермишь

Шокша

Теньгушево

Надежка

Такушево

Азево

Четово

Теньгушевский район

Старый Город

Темников

Темников

елино

Восход

Кадом

Дачный

Барашево

терово

Устье

Кадомский район

Лесной

ково

Демушкино

Шепали-Майданы

Озерный

авриловское

Гладково

Темнево

Явас

Шалы

Сасовский

Сасово

Кишалы

Алтор

Берестянки

Сасовский район

цно

Алешино

Батьки

Кустаревка

Анаево

Сосновка

Виндрей

Носакино

Дмит

Новое Березово

Агломазово

Пичкиряево

Придорожный

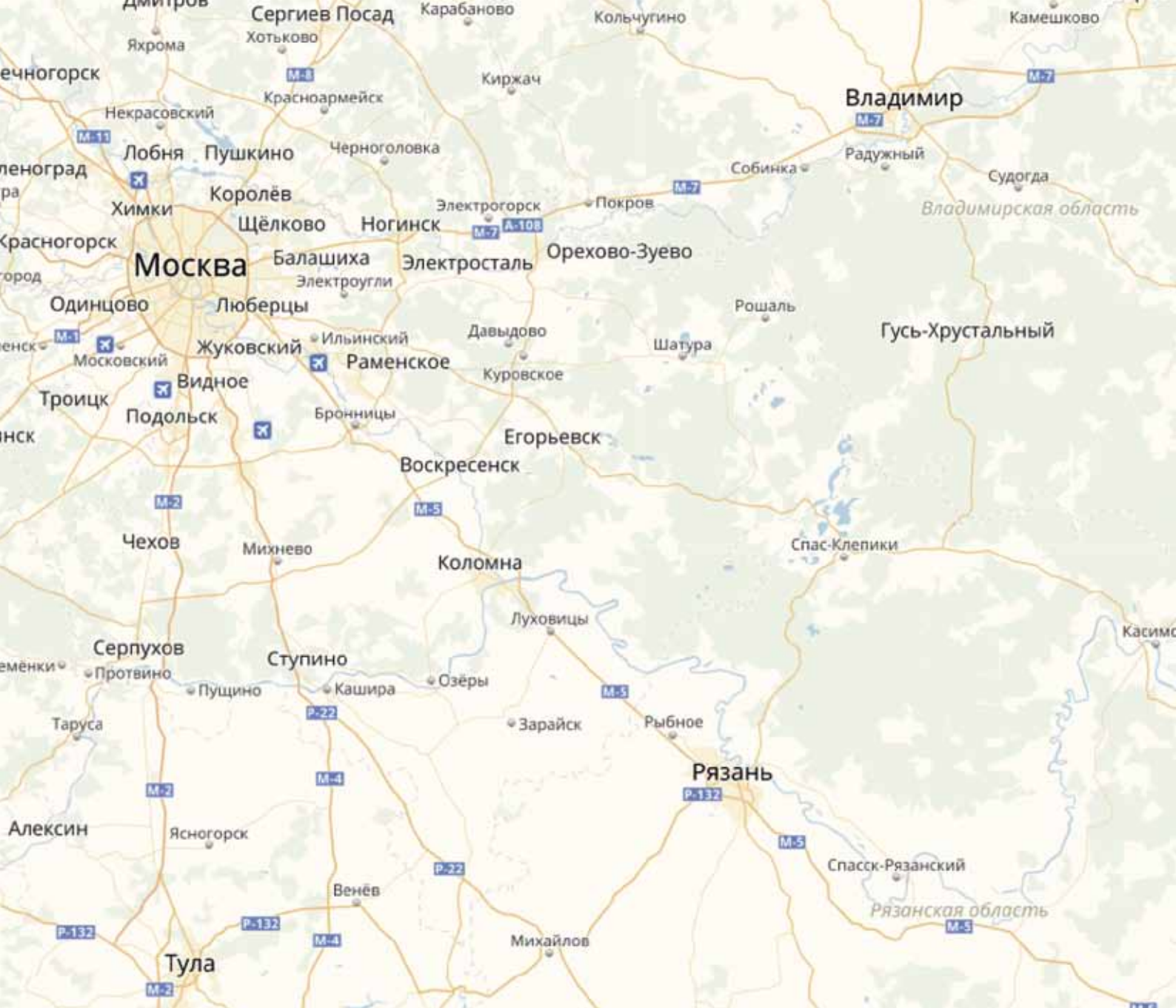
Салтыково

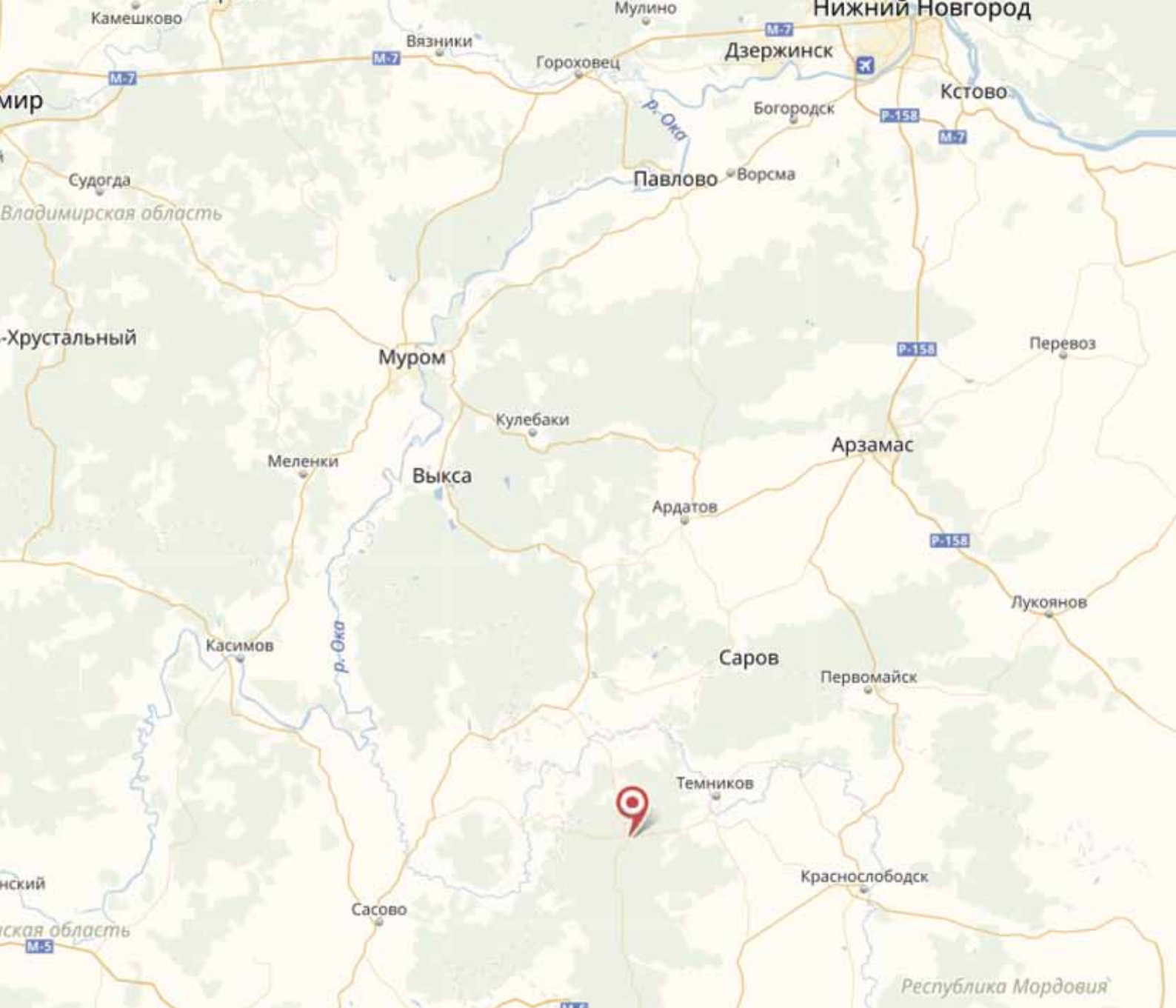
Авалово

Дубитель

Молочница

Варжелай





Нижний Новгород

Камешково

Вязники

Гороховец

Дзержинск

Богородск

Кстово

мир

Судогда

Владимирская область

Павлово

Ворсма

-Хрустальный

Муром

Кулебаки

Арзамас

Перевоз

Меленки

Выкса

Ардатов

P-158

Лукоянов

Касимов

р. Ока

Саров

Первомайск

нский

ская область

M-5

Сасово

Темников

Краснослободск

Республика Мордовия